

СИМВОЛЫ ВРЕМЕНИ

СИМВОЛЫ



ВРЕМЕНИ

БОРИС ЭЙХЕНБАУМ



МОЙ
ВРЕМЕННОК
•
МАРШРУТ
В БЕССМЕРТИЕ

БОРИС
ЭЙХЕНБАУМ



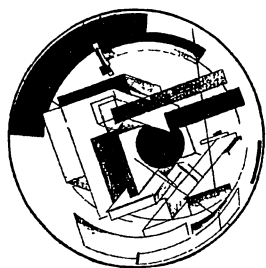


СИМВОЛЫ

ВРЕМЕНИ

СИМВОЛЫ ВРЕМЕНИ

Борис Эйхенбаум



МОЙ ВРЕМЕННОК



МАРШРУТ В
БЕССМЕРТИЕ

///ГРАФ

МОСКВА

2001

ББК 84.2
Э 342

Оформление серии художника
З.Ю. Буттаева

Печатается по изданиям:

Эйхенбаум Б. Маршрут в бессмертие. - М.: Советская литература, 1933.

*Эйхенбаум Б. Мой современник: Словесность. Наука. Критика. Смесь. - Л.:
Издательство писателей в Ленинграде, 1929.*

В большинстве случаев сохранены орфография и пунктуация автора.



Информационный спонсор —
радиостанция «Эхо Москвы»

**Эйхенбаум Б.М. Мой современник. Маршрут в
бессмертие. — М.: Аграф, 2001. — 384 с.**

Э 342

В книгу известного и блестящего филолога и литературоведа Б.М. Эйхенбаума (1886—1959) вошли две забытые его работы. «Мой современник» — книга, изданная в 1929 году по образцу авторского журнала и включавшая в себя как критические и литературоведческие, так и автобиографические и мемуарные произведения (в последних повествуется о родословной автора, его детстве, содержатся воспоминания о Петербургском университете 20-х годов).

«Маршрут в бессмертие» (1933) — это остроумное и увлекательное жизнеописание известного составителя словарей и писателя-графомана второй половины XIX века Н.П. Макарова. В предлагаемой читателям книге выдающийся ученый Б. Эйхенбаум предстает и талантливым прозаиком, и поэтом.

Адресована широкому кругу читателей.

ББК 84.2

ISBN 5-7784-0141-8

© Издательство «Аграф», 2001

ПИСАТЕЛЬ БОРИС ЭЙХЕНБАУМ

Писатель — понятие универсальное. Это человек, умеющий сочинять и стихи, и прозу, и критические статьи. Таким было представление о писателе в пушкинскую эпоху, таким оно было и во время становления русского модернизма (известного еще под именем «серебряный век»), когда Аннинский, Блок, Брюсов, Гумилев, Ходасевич, Мандельштам, Хлебников, Маяковский выступали не только как «практики» словесного искусства, но и как его теоретики. В свою очередь крупнейшие теоретики литературы, начавшие свою деятельность в момент грандиозного новаторского скачка литературы, были людьми творчески одаренными.

Юрий Тынянов (1894—1943), Виктор Шкловский (1893—1984), Борис Эйхенбаум (1886—1959) — три титана литературоведческой мысли нашего столетия, лидеры легендарного Опояза (Общества по изучению поэтического языка), создатели новой теории поэзии и прозы — теории, исходящей не из умозрительной схемы, а из самой природы творческого процесса. Это научное направление получило название «формального метода», или «формализма». Название было не совсем удачным (о чем как раз писал Эйхенбаум), поскольку советская идеология превратила его в клеймо, в ярлык и долгие годы вела борьбу с «формалистами». Но для мировой культуры сочетание «русский формализм» отнюдь не стало ругательным, его произносят на разных языках с таким же уважением, а порой и с восхищением, как сочетание «русский авангард». Кстати, гениальные научные прозрения «формалистов» во многом опирались на художественные открытия авангардной поэзии. «Для того чтобы быть ихтиологом, необязательно быть рыбой» — это шутивное выражение не стоит понимать слишком буквально, ибо в гуманитарной сфере существует совсем иное соотношение субъекта и объекта исследования. Здесь лучшие «ихтиологи» вполне могут являться «рыбами», каковыми и оказались все трое названных ученых.

Наибольшую известность приобрел в этом творческом качестве Тынянов, чьи романы «Кюхля», «Смерть Вазир-Мухтара» и «Пушкин» знакомы широкому читательскому кругу (добавим только, что Тынянов был и несомненным поэтом — в своих переводах, в шуточных экспромтах). Шкловский преодолел преграду между автобиографическим повествованием и научным исследованием, создав уникальный стиль на границе прозы и свободного стиха (сам Зощенко взял за образец эту короткую фразу с «воздухом»). А что же Эйхенбаум? На этот вопрос и призвана ответить та книга, которую вы держите в руках.

Будущий автор прославленной статьи «Как сделана “Шинель” Гоголя», замечательных книг о Лермонтове и Толстом, первой монографии о поэзии Ахматовой, один из создателей отечественной текстологии, Эйхенбаум в молодые годы писал стихи, близкие к акмеизму и привлёкшие внимание Гумилева. Без этих опытов он, безусловно, не смог бы так проникательно анализировать поэзию, не смог бы исследовать мелодику русского стиха с ее напевной, декламационной и говорной разновидностями. «...Я писал стихи, чтобы присматриваться и прислушиваться к слову... Я упражнял свои мышцы. Стихи были душевной гимнастикой», — напишет потом Эйхенбаум в эссе «Стихи и стихия», вошедшем в «Мой современник». Завершается это эссе не традиционно-метрическими стихами, а своеобразным верлибром, где простые названия событий звучат как поэтические символы: «Война», «Революция», «Октябрьский переворот», «Смерть Блока, гибель Гумилева», «Опояз». Этот переход к свободному стиху закономерен: быть поэтом можно и не выстраивая «столбиков». Поэзия без предупреждения выскакивает в прозаическом рассказе — афористически-иронической фразой: «Россия — страна утомительная», она присутствует в самой интонации и композиции книги «Мой современник». И даря книгу друзьям, автор прибегал к стихотворным экспромтам.

В.А. Каверин, когда мы с ним вместе писали книгу о Тынянове, показывал уникальный экземпляр «Моего современника», надписанный Тынянову: «Дорогому Юре — в коллекцию. Б.Эйхенбаум». И ниже:

Думал: только бы издатели
Как-нибудь не подвели б!
Вот, прочти, что напечатали:
«Эйхенбаум вЛИП».

Здесь обыгрывается аббревиатурный логотип на обложке, где Издательство Писателей в Ленинграде зашифровано вензелем из трех переплетенных прописных букв Л, И, П с маленьким «в» посередине. Литературна была сама идея «Моего современника» — книги, построенной как журнал одного автора. Личностному, писательскому началу подчинено здесь все, включая и научно-познавательное содержание. Вслед за автобиографическим разделом «Словесность» идет «Наука», где в центре внимания всех трех статей стоит проблема писательской личности. Примечательно, что в разделе «Критика» помещены статьи о Гоголе, Тургеневе, Некрасове, Лескове и Л. Толстом, — обо всех этих художниках Эйхенбаум здесь размышляет как о современниках, смотрит на них не как академический ученый, а как литератор, остро ощущающий проблему построения писательской судьбы, «имиджа», как сказали бы теперь. М. Горький, замыкающий этот ряд, также рассматривается с точки зрения его литературного поведения.

Непременное свойство истинного писателя — в отличие от академического «сухаря» — это остроумие. И оно щедро явлено в разделе «Смесь», где продемонстрировано виртуозное мастерство лаконичного портретирования (эссе «О Викторе Шкловском»), даны образцы жесткой, но этически корректной критической полемики. Журнальная форма оказалась для Эйхенбаума оптимальным способом творческого самовыражения. Целое здесь больше суммы частей, и читатель получает от этой уникальной в своем роде книги не только идеи и сведения, но и мощный эмоциональный заряд. Широта и разнообразие — признак истинного таланта, способного предстать человеком-журналом. А вот узкая специализация советских времен, когда все члены Союза писателей были строго поделены на поэтов, прозаиков, драматургов, критиков, переводчиков, — это насилие над творческой природой. В этом смысле «Мой

временник» очень актуален для современной литературной ситуации, когда заново ставится вопрос о гармоничном «писательском облике». Подобно своим друзьям-единомышленникам Тынянову и Шкловскому, Эйхенбаум обратился и к историко-биографической прозе. Тынянов как прозаик начал с того, что извлек из забвения «трогательного», по выражению Л. Толстого, Кюхельбекера. Шкловский писал о непонятом при жизни художнике Федотове. И Эйхенбаум избрал в персонажи фигуру маргинальную, говоря по-нынешнему.

Николай Петрович Макаров (1810 или 1808—1890) — литератор отнюдь не первого и даже не второго ряда, обладатель звучного псевдонима Гермоген Трехзвездочкин, романист, мемуарист, публицист... И еще гитарист, автор пособия «Несколько правил высшей гитарной игры». И еще лексикограф, составитель русско-французского, французско-русского и немецко-русского словарей — в этом качестве Макаров преуспел более всего, удостоившись и государственных субсидий, и ордена Св.Станислава 2-й степени. Эйхенбаум в своем романе сделал его и поэтом, положившись на версию, согласно которой Макаров сочинил текст романса «Однозвучно гремит колокольчик...» (композитор Гурилев), однако в новейших справочных изданиях эта версия оспаривается с ссылкой на утверждение самого Макарова о том, что он «не мог написать складно двух стихов».

Роман «Маршрут в бессмертие» (1933) написан в изысканной саркастической манере. Перед нами постепенно выстраивается образ энергичного и изобретательного чудака, отдающего щедрую дань предрассудкам своего времени, мечущегося в поисках главного и большого дела, но способного, скорее, к занятиям ремесленным и прикладным. Макаров — человек сумбурной судьбы, пуганик и эклектик, каких в России всегда было предостаточно, каких немало и по сей день. Само слово «бессмертие» по отношению к нему звучит с неизбежной иронией, вызывая тревожное ощущение тщетности человеческих усилий в этом мире. Чисто профессионально Эйхенбаум с задачей романиста справился вполне, но привлечь общественно-культурное внимание к фигуре Макарова ему все же не уда-

лось. Может быть, еще и потому, что не возникло необходимого пересечения между персонажем и автором: фигура Макарова не давала Эйхенбауму каких-либо возможностей для энергичного «самовыражения». Литературным героем, символизирующим судьбу всех троих великих «формалистов» и их нелегкий «маршрут в бессмертие», оказался прежде всего тыняновский Грибоедов. Автор «Смерти Вазир-Мухтара» писал в 1927 году Шкловскому: «Горе от ума у нас уже имеется. Смею это сказать о нас, трех-четырех людях. Не хватает только кавычек и в них все дело. Я, кажется, обойдусь без кавычек и поеду прямо в Персию». А еще Тынянов размышлял о новых формах соединения науки и литературы: «Я думаю, что беллетристика на историческом материале теперь скоро вся пройдет и будет беллетристика на теории. У нас наступает теоретическое время. Не устали ли мы?» Это из письма Шкловскому от 31 марта 1929 года. А пятнадцатым июня того же года датировано авторское предисловие к «Моему современнику», явившемуся, быть может, первой конкретной реализацией тыняновской идеи и прообразом нового и свободного филологически-философского романа.

Тыняновский прогноз оказался верным, хотя несколько поспешным. Мировая и отечественная история в тридцатые—сороковые годы ознаменовалась такими трагическими испытаниями, которые надолго приковали творческое внимание беллетристов. «Теоретическое время» наступило позже и продолжается поныне. «Беллетристикой на теории» занялись профессиональные филологи Умберто Эко, Милорад Павич, Дэвид Лодж, создавшие новый тип романистики, утонченно-интеллектуальной и в то же время увлекательной, «читабельной». В России сходную творческую задачу решает Андрей Битов в романе «Пушкинский дом» и в своей эссеистике на грани литературоведения и прозы. Да и историческая проза все более приобретает теоретический «акцент». Достаточно вспомнить книгу Юрия Лотмана «Сотворение Карамзина», обозначенную автором как «роман — реконструкция». Симптоматично, что автор целого ряда историко-биографических романов Юрий Давыдов сегодня обобщает свой житейский и творческий опыт в субъективно-эссеистическом произведении «Бест-

селлер», где ассоциативное движение мысли доминирует над хронологической фабулой.

Двадцатый век завершается всемирным писательским и читательским диспутом об общих закономерностях развития социальной и культурной истории человечества. Эйхенбаум был среди тех, кто раньше других затеял этот разговор, — потому именно сейчас его очень стоит перечитать.

Вл. Новиков

МОЙ ВРЕМЕННОК

Словесность

Наука

Критика

Смесь

СЛОВЕСНОСТЬ

ПО МОСТАМ И ПРОСПЕКТАМ *Из автобиографии*

«ГАКРАБ» *Отрывки из родословной*

В 1924 году в магазинах появилась маленькая анонимная книжка под названием: *«Древняя поэма о шахматной игре»*. Эта самая «древняя поэма» памятна мне с детства. В подлиннике она написана по-древнееврейски. Об ее авторе я разыскал любопытное сказание, написанное забавным эпическим слогом и уводящее в глубь еврейской экзотики XVIII века. Вот отрывки из него.

«Моисей Гельбер, рожденный в 1744 году в местечке Тышовце недалеко от Замосця, был любимым сыном своих родителей. Он был человек редких способностей, но, по неодолимой силе условий времени и тогдашней жизни еврейского народа, он не получил европейского образования и занимался исключительно лишь изучением Талмуда и Библии. Зато в этом отношении он достиг необыкновенного совершенства. Слава о редкой учености молодого человека разнеслась по всей окрестности: отцы ставили его в пример своим детям; старые раввины и опытные талмудисты платили дань удивления глубоким познаниям юноши. Благодаря этой славе один богатый человек из местечка Христианполя Жолкевского округа в Галиции некто Гирш (фамилии, как известно, в то время не везде еще были введены между польскими евреями) выдал за Моисея свою старшую дочь, принял его к себе в дом и обеспечил все его нужды и потребности, чтобы молодой человек мог беспрепятственно продолжать свои ученые

занятия и сделаться со временем светилом во Израиле, что в былое время ставилось выше почетного гражданства. Полтора года после свадьбы жена Моисея, постигнутая тяжкою болезнью, умерла. Гирш, гордившийся славою своего ученого зятя, не хотел выпустить Моисея из своего семейства и женил его на своей младшей дочери, Гитель, несмотря на то, что последней было не более 11 лет от роду. Вторая жена Моисея на втором году супружеской жизни, в сентябре 1796 года, подарила мужу сына Якова. Молодая жена, родивши еще дочь и сына, умершего тотчас после рождения, подверглась — вероятно по причине слишком раннего замужества — продолжительной болезни и 21 года от роду скончалась на руках отца и нежно любившего мужа.

Яков был щедро наделен от природы необыкновенными дарованиями и уже в самом раннем детстве удивлял всех знавших его своим необычайным развитием. Двух лет от роду он уже читал по-еврейски. Здесь мы считаем излишним упомянуть об одном, в сущности незначительном, но при всем том весьма замечательном факте. На втором году жизни маленький Яков заболел натуральною оспою и указывал изумленному отцу в случайной группировке сыпи различные пунктуации еврейских письмен (*segol*, *zereh* и т.д.)... Четырех лет от роду он знал уже *Пятикнижие* и читал в каждую пятницу сидру (отдел) с соответственною интонацією; на шестом году он изучил уже 20 листов Гемары. Около этого времени отец показал и объяснил мальчику первые три правила арифметики, которыми ограничивались его собственные математические познания. Знакомые отца не совестились мучить шестилетнего ребенка арифметическими задачами; кроме того, сам мальчик, по врожденной любознательности, предлагал себе разные численные вопросы; вследствие этого маленький Яков разгадал, так сказать, *деление* и даже начальные правила *дробей*, сам собою, без помощи учителя или книги.

О необыкновенном мальчике стали рассказывать по околотку разные чудеса, и счастливому отцу начали предлагать выгодные *партии* для сына, между которыми одна, именно с дочерью одного деревенского арендатора, показалась старику наиболее сходною. Таким образом,

осьмилетний Яков, за полгода до смерти матери, был обручен с девятилетней девочкой, родители которой жили недалеко от русской границы, в Волынской губернии. Когда мальчик лишился матери, родители крошечной невесты пригласили его к себе на праздник Пасхи. Во время этого праздника Яков первый раз явился в синагоге *кантором* (chasan). Он имел прекрасный сопрано, и его заставили произнести пред Кивотом молитву “Галэл” (аллилуйя).

С тех пор он стал функционировать во многих синагогах в качестве кантора. После праздника Яков остался уже у родителей своей невесты, которые оставили его у себя окончательно на жительство, держали попеременно то в своем доме, то в близлежащем местечке Орхове у одного тамошнего талмудиста, который был чрезвычайно силен в каббале и считался в то же время каким-то полусвятым. У этого-то учителя молодой человек продолжал начатое учение и оказывал всевозможные успехи.

Мы, конечно, пропустили бы все эти подробности, если бы с воспоминанием об этом учителе не соединялось воспоминание об обстоятельстве совершенно случайном, которое однако ж имело решительное влияние на судьбу и всю будущность Якова. Полусвятой учитель имел брата Иосифа, который, оставив семейный очаг, в продолжение целых одиннадцати лет скитался неизвестно где по разным странам и наконец во время пребывания Якова в Орхове возвратился домой; брат принял скитальца с распростертыми объятиями, уважая в нем непомерную талмудическую и каббалистическую ученость. Реб-Иосиф еженедельно по субботам держал в доме брата проповеди, или вернее, читал некоторого рода лекции каббалистического содержания. Все жители Орхова считали долгом и даже честью для себя — быть на этих чтениях, так что “аудитория” реб-Иосифа бывала всегда многочисленна. Способности и быстрая понятливость Якова обратили на себя внимание ученого гостя; он полюбил от души любознательного мальчика, пускался с ним часто в разговоры и прения и, стараясь поставить его в тупик, все более и более удивлялся быстро развивающимся умственным способностям дитяти. Между прочим, реб-Иосиф однажды рас-

сказал мальчику, что есть на свете одна весьма умная игра, отличающаяся глубокомыслием и трудностью — шахматы. Для Якова достаточно было только пронюхать существование чего-нибудь нового, чтобы сейчас же пожелать узнать это новое поближе. Он пристал к реб-Иосифу и до тех пор мучил его, пока тот должен был наконец уступить его просьбам и объяснить ему устройство, правила и законы шахматной игры. Чувствовал ли бедный реб-Иосиф, что он дал первый урок одному из первых шахматистов нашего времени? Предвидел ли этот безвестный труженик неблагодарных наук, что ему, может быть, мы обязаны за явившуюся впоследствии поэму, за творение — единственное в своем роде, а может быть и во всех литературах!

Одиннадцати лет от роду Якова женили. Но и после свадьбы он по большей части находился у своего полусвятого учителя в Орхове, продолжал там брать уроки и продолжал свое *самоучение*. Вдруг одно обстоятельство произвело перемену в его образе жизни. Тесть его потерял свою аренду и должен был оставить деревню и перейти на жительство в близлежащее местечко Берестечко, где он имел свой собственный дом. Само собою разумеется, что он взял с собою и Якова, для которого держал учителей дома.

В то время дед Якова, Иосиф Гельбер, умер, завещавши своему любимому внуку шесть отделов Мишны, с тем чтобы он читал за упокой души деда по одной главе ежедневно в продолжение целого года. Яков, почитая сердечно память усопшего, рачительно исполнял его приказание и читал ежедневно не только одну главу Мишны с комментариями *Бартенура*, но следил также за прибавлениями, называемыми *Tofoth Iomtob*. Надобно заметить, что в этих прибавлениях, в первой книге, находятся две главы геометрических вычислений. Все, изучавшие Мишну, по большей части пропускают эти места, не дерзая даже взглянуть на строки, ведущие прямо ко временной и вечной гибели. Яков осмелился однако ж прочесть эти ужасающие места, счастливо прошел их и увидел, как все это полезно. С тех пор единственным стремлением, самым заманчивым предметом желаний и помыслов молодого человека сделалась математика. Изучить ее с возможною

полнотою — вот была цель, о которой он мечтал денно и ночью.

Но увы! между ним и этой вожделенною целью лежала пропасть, ничем для него невыполнимая, — недостаток учебников. Исправить этот недостаток для него, в его тогдашнем положении, было вдвойне невозможно: как и откуда, во-первых, возьмутся математические учебники в таком захолустье, как Берестечко? а, во-вторых, еврей с научною книгою в руке — это было в то время (пожалуй, даже и теперь) *пугало*, которым няньки стращали плачущих детей. Еврей, занимающийся наукой, т.е. не Талмудом и не Каббалою, был чем-то в роде Навуходносора, Аманы, Гонты... Сколько ни старался Яков укрывать от завистливого ока любимые помыслы свои, однако ж прозорливые очи аргуса-тестя все-таки умели проникнуть в *sanctorium* молодого человека... Арендатор с невыразимым ужасом увидел, что зять жестоко обманул его заветные ожидания; он убедился, что давно лелеянная им надежда увидеть со временем своего зятя в лучезарном сиянии каббалистической славы на каком-нибудь духовном троне во Израиле лопнула, как мыльный пузырь... Тесть увидел это, говорим мы, и душа его вскипела негодованием, а негодование перешло вскоре в неумолимую ненависть. Озлобленный старик изливал поминутно свою желчь на бедного юношу и на жену его, свою дочь, которая, — почти ребенок еще, — не смея и думать, что ее отец станет понапрасну преследовать зятя, поневоле привыкла разделять в отношении к мужу чувства отца. Следствием этого было то, что Яков принужден был после семилетней супружеской жизни развестись с молодою женой и возвратиться в дом отца.

Здесь нашел он сочинения из новоеврейской литературы, на которые бросился с такою жадностью, с какою бросается голодный на пищу после продолжительного поста. Молодая литература произвела на Якова могущественное впечатление: с того времени он начал писать по-еврейски. Мы видим, что судьба и обстоятельства вели молодого человека на путь, к которому стремилась его душа. Около 1815 года Яков Моисеевич женился опять на молодой, хорошенькой девушке, дочери бывшего раввина, жив-

шего в Замосце. Тут случай столкнул юношу с хорошим знатоком еврейской грамматики и Св. Писания; в постоянных беседах с ним Яков изучил почти без руководств еврейскую грамматику и тогда уже начал писать очень недурные стихотворения, из которых одно, написанное в 1818 году, как первое произведение молодого таланта, помещено в начале изданного после “Kol-Zimra”.

Около 1818 года издано для Польши постановление, в силу которого каждый еврей обязан был принять какую-нибудь фамилию; до того времени евреи по большей части назывались только по имени и отчеству: Берковичи, Мошковичи и пр., с прибавлением названия места жительства. Кроме того, постановление это позволяло каждому еврею принимать новую фамилию, если бы даже он до того имел уже какую-нибудь. Яков Моисеевич, которому его фамилия казалась не довольно благозвучною, воспользовался этим случаем и переименовал свое имя *Гельбер* на фамилию *Эйхенбаум*. “Я это сделал, — говорил нам не раз наш многоуважаемый поэт, — уступая наущениям ребяческого тщеславия. Отец мой был этим весьма недоволен, и я сам не раз раскаивался в этом шаге, который совершенно отчуждает меня от родственников моего покойного отца”.

В начале 1830 года смерть похитила из объятий Эйхенбаума молодую, горячо любимую жену, после которой ему осталось трое детей, девочек; из них самой старшей было 11 лет, а самой младшей 11 недель от роду. Долго он не мог утешиться от удара, и только вид бедных беспомощных малюток, нуждавшихся в материнском попечении, мог его заставить вступить снова в брак.

В 1836 году книгопродавец Куммер, в Лейпциге, издал собрание еврейских стихотворений Эйхенбаума под заглавием “Kol-Zimra”, о котором многие газеты отозвались с величайшими похвалами. Легкость стиха и необыкновенная свобода, с какою автор владеет языком, возбудили клики изумления всех еврейских ученых и публицистов. В этом собрании заключаются многие переводы из Лангбейна (*Der Vatermörder*), Шиллера (*Der Ring des Polikrates*, *Die Burgschaft* и пр.), много оригинальных стихотворений, из которых самое замечательное по содер-

жанию и по самой даже форме (оно состоит из 30 шестистрочных стансов) *“Видение Соломона”*. Далее в этой книжке заключаются многие так называемые *Gelegenheitsgedichte*, и в заключение (прозой) *“История Андрокла со львом”* и два письма автора.

В 1840 году была издана в Лондоне иждивением одесского негоцианта, покойного Соломона Гуровича, поэма Эйхенбаума на еврейском языке: *Nakrab*¹, воспевающая шахматную игру. Сочинение это, замечательное как творение поэтическое и отличающееся особенным искусством изложенной в нем шахматной партии, уже знакомо русской публике в прекрасном переводе (1847 г.) О.А. Рабиновича. Многие немецкие, французские, английские и русские журналы поместили весьма лестные отзывы об этой поэме.

Около этого времени истолкование одного места в *Iesod Mora* соч. *Ibn-Esra* вовлекло Эйхенбаума в спор с знаменитым С.Д. Луцатто, давшим спорному месту обширное и отдаленное объяснение, которого несообразность Яков Моисеевич доказал в журналах. Это доставило ему громкую известность в еврейском ученом мире.

В 1844 году Яков Моисеевич определен был на должность смотрителя при Кишиневском училище, где оставался шесть лет, а в 1850 году переехал в Житомир на должность инспектора раввинского училища, которую занимает и поныне»².

У нас в семье от деда осталась только поэма *«Гакраб»*. Она много лет лежала в письменном столе у отца, потом перешла в мой письменный стол. Это было старое одесское издание — с портретом автора и предисловием переводчика. Теперь к нему присоединилось другое — новенькое, московское, без портрета, изданное по анонимной рукописи, случайно найденной в архиве поэта Слепушкина.

В предисловии к одесскому изданию 1897 г. было

¹Битва.

²*Барон Тарнегаль*. Яков Моисеевич Эйхенбаум. Канва для биографии. «Рассвет. Орган русских евреев». Год первый, 1860–61. Одесса, № 51 и № 52.

сказано: «Предлагаемая поэма сочинена назад тому семь лет Я. Эйхенбаумом, известным в литературном мире евреев своим прекрасным поэтическим талантом. Она в свое время наделала много шума между занимающимися еврейской литературой, потому что оригинальность идеи поэта, представляющего в виде битвы шахматную игру, со всеми ее правилами и подробностями, неожиданная развязка этой битвы и прекрасный язык, которым поэт владеет в совершенстве — подлинно поразительны».

В предисловии к московскому изданию 1924 г. сказано: «Предлагаемая вниманию читателей древняя поэма о шахматной игре появилась приблизительно в начале минувшего столетия в виде рукописи. Когда и кем она была написана, а также издавалась ли она в России, нам установить не удалось. Помимо красоты и звучности изложения поэма чрезвычайно богата своим внутренним содержанием, заключающимся в показательной партии, разыгранной двумя героями поэмы».

Жанр предисловия мало изменился, но язык его ухудшился. Что же касается автора самой поэмы, то он превратился в научную проблему. Не так ли возникают многие научные проблемы? Не развивается ли наука на основе забвения?

Два года назад я возвращался из Одессы в Ленинград через Житомир. Чистенький, тихий, недавно выстроенный вокзал. Я постоял на платформе, купил у бабы фруктов и поехал дальше.

О «древней поэме» и ее авторе спросить было не у кого.

ПОБЕГ

Об уездном городе Красном (Смоленской губернии) пишут все историки 1812 года.

Что же касается губернского города Воронежа, то он знаменит тем, что в 1812 г., за несколько дней до Бородинского сражения, там покупал лошадей, танцевал в доме

губернатора и ухаживал за чужими женами гусарский офицер Николай Ростов.

В Красном я родился, но знаю о нем только то, что, изучая «Войну и мир», читал в книгах. На семейной фотографии, снятой в Красном, я сижу на руках у бонны-немки, с которой гулял к какому-то памятнику. Помню анекдот, которого нет в исторических сочинениях. Когда мать ждала приезда бонны, ей сказали, что привезли «немку» на трех возах. Она ужаснулась. Оказалось, что «немкой» в Красном называют какие-то овощи — кажется репу.

В городе Воронеже я, как и Николай Ростов, танцевал и ухаживал; но лошадей не покупал, танцевал не в доме губернатора, ухаживал не за чужими женами и носил не гусарский, а гимназический мундир — синий, с светлыми пуговицами и с серебряным галуном на воротнике. Наши враги и соперники, превосходившие нас в математике, но уступавшие нам в познании древних языков — «реалисты»¹ — носили черные мундиры с золотым галуном и с такими же пуговицами. Кроме этих двух пород были кадеты, в ненависти к которым мы объединялись с реалистами, но превосходство которых должны были признавать. Итак, молодежь г. Воронежа делилась на три партии: кадеты, реалисты и гимназисты (идеалисты?). Взрослое население официально не делилось тогда ни на какие партии.

Толстому Воронеж понадобился для того, чтобы подготовить женитьбу Николая Ростова на княжне Марье. Он и не описывает, а только говорит: «Общество, собранное у губернатора, было лучшее общество Воронежа».

Мне Воронеж понадобился не для фабулы, а для детства. Если он теперь кажется мне фабулярным, то только потому, что всякое прошлое само по себе сюжетно. Пыль времени делает музейными самые обыкновенные вещи.

Я очутился в Воронеже через 75 лет после Николая Ростова и не гусарским офицером, а двухлетним мальчиком. Целых 17 лет Воронеж жил и рос вместе со мной. Я ни разу не побывал в доме губернатора, но проходил мимо него два раза в день — в гимназию и обратно. Сначала Во-

¹Мы дразнили их тем, что на их поясах стояли буквы: ВРУ (Воронежское реальное училище). История подшутила надо мной — в моей расчетной книжке стоят теперь буквы: ЛГУ (Ленинградский Государственный Университет).

ронез был для меня совсем маленьким, домашним, хотя и это пространство казалось обширным. Постепенно пространство раздвигалось. Оказалась булочная Глазкова, от которой не очень трудно было дойти до дома. Потом обнаружили разные улицы. Оказалось, что Воронеж не заполняет всего мира, а стоит на горе, по верху которой тянется Большая Дворянская улица. По ней ходит конка с одной лошадей, ездят извозчики, стоит высокая пожарная каланча.

Эта улица — как спина зверя. Вниз, с одного бока, идут крутые спуски, а внизу река. В марте по этим спускам, как оголтелая, несется вода и наполняет весь город журчащим шумом.

Лошади, которыми интересовался Николай Ростов, мне были безразличны: они бегают запряженными, как и во всех других городах. Лошадь вне экипажа — редкое явление в городе. Городскому ребенку, с точки зрения его игрушечного мира, такая лошадь, лошадь сама по себе, кажется «разломанной» — потому что среди его игрушек есть такие отломавшиеся от экипажа лошади. Николай Ростов закупал этих разломанных лошадей для армии, а мне они были не нужны.

Я помню не столько лошадей, сколько огромные мельницы, пугавшие меня шумом и паром.

В этом городе я очнулся от детства и начал жить жизнью провинциального гимназиста.

Воронеж — город хлебный, с мешками и купцами. Здесь крепко устоялись люди и фамилии. Самый богатый в городе человек — купец Самофалов: на Большой Дворянской стоят подряд его дома, в одном из которых — Центральная гостиница. Спустив очки на кончик носа, он выходит на улицу и посматривает, все ли в порядке в его городе.

Фамилии окрашивают язык города в особый местный цвет, создают нечто вроде диалекта. Язык города Воронежа звучит фамилиями, среди которых моя кажется странной: Тюрины, Халютины, Черемисиновы, Чертковы, Ключковы, Малинины, Чигаевы, Селивановы, Хрущевы, Федосеевские, Перелешины. Есть, правда, аптека Вольпьян, аптекарский магазин Мюфке, колбасная Гехта, но это не столько фамилии, сколько названия — как кондитерская «Жан».

У нас не только фамилия, но и жизнь странная: ни цветов на окнах, ни кошек, ни бутылей с наливками, ни вечернего сиденья у самовара, ни гостей, ни сплетен — ничего, что полагается в Воронеже и создает уют. В доме власть матери, постоянно занятой и нервной. Отец живет на линии, железнодорожным врачом. В комнатах слишком строго и чисто. Кабинет матери с медицинскими инструментами; гостиная, в которой сидят больные дамы. Никаких лишних вещей — нет даже на стенах олеографий с заходящим солнцем и лодкой. Во всем какой-то надрыв, какая-то неудача, обернувшаяся гордостью. Мать требует, чтобы мы оба с братом были первыми учениками.

По вечерам — тишина. Зайдет иногда доктор Мартынов, спросит: «Что у вас было сегодня к обеду?.. А вчера что было?», и уйдет домой.

Мы живем не по-воронежски, и фамилия у нас не воронежская, и детство мое не воронежское.

Я вижу во сне другие города. «Петербург» звучит для меня волшебно. В Воронеже жизнь моя не ладится.

Главный месяц в Воронеже — март. Зима исчезает сразу, чуть не в один день. Город шумит водой и мальчишками. Я завидую мальчишкам, воде и Воронежу — веселому ребенку, играющему солнцем и лужами.

У нас в квартире так же строго, чисто и надрывно. Я не выдерживаю. Начинаю красть яблоки, лгать. Появляются странности, от которых мать делается еще строже и еще надрывнее. Я отдыхаю в гимназии — шалю и нахожу друзей. 11 лет я уже влюблен. Первые ландыши я подношу Лидуше. Ложь, любовь, уроки, весна, домашние надрывы и сцены — все это образует такой мучительный узел, что я не могу его распутать.

В один из мартовских дней, шумевших водой и мальчишками, я, выйдя из гимназии, не пошел домой. Мне было 12 лет. На спине был ранец с книгами. Я стал бродить по улицам, сам не зная, чем это кончится. Домой я решил не возвращаться. Мне, вероятно, казалось, что если так бродить, то можно вдруг превратиться во что-нибудь другое и начать новую жизнь — стать водой, солнцем или вот таким мальчишкой, пускающим по луже кораблики.

Но ничего такого не случилось. День кончился — настала ночь. В городе стихло. Утихомирилась вода, мальчишки ушли по домам спать. Маленький гимназист, с книгами за спиной, ходил по городу, присаживаясь на скамейки. Ночь, дышавшую остатками зимы, он провел на улице, прислушиваясь к городу и ожидая чего-то. Все Самофаловы, Ключковы, Тюрины и их дети спали...

Да, в нашей семье что-то не так, как у людей! Пустой Воронеж смотрел на меня лунным глазом и оглушал визгом кошек. Это уже не был веселый ребенок — он пугал меня и издевался, он гонял меня по улицам, завывал, взвизгивал и смеялся. Мы не понимали друг друга.

Что ж, утопиться?

Глубокой ночью я подошел к дому, в котором некогда жил. Там, в чистой комнате, стоит кровать. Где же я буду спать?

Дом стоит на углу. Выступ подъезда образовал выемку с каменным забором — пустой треугольник. Если перелезть, там можно устроиться. Я перелезаю. Земля уже сухая. Лежит как-то попавший сюда лошадиный череп. Меня это не пугает — о смерти я уже не думаю. Длинный, плоский, с вытянутым хоботом череп — подходящая для меня вещь. Я кладу на него свой ранец, покрываюсь гимназической шинелью и засыпаю...

Спят птицы в острых елях,
Спят дети в колыбелях.

Я проснулся в своем треугольнике — так, как просыпаются настоящие воронежские мальчишки на своих постелях. Так, да не так. Что же я за мальчик? И что мне делать дальше?

Надо было решать проблему жизни и поведения.

Я перелез и опять пошел по улицам. Раннее утро. У меня кружится голова. Я — все тот же гимназист с книгами в ранце. Город не обращает на меня никакого внимания. Если ночью он меня пугал, то теперь презирает.

Я у своего дома. Никуда не выйти из этого круга. У подъезда. Табличка: «Женщина-врач Н.Д. Эйхенбаум. Прием»... Только нажать кнопку...

Поворот ключа, двери распахиваются. Мать. Я стою неподвижно. Проблема решена.

Со мной не разговаривают. Я — выродок. Луна, кошки, череп. Ладно. Я не воронежский мальчик.

ВОЛШЕБНАЯ АНАТОМИЯ

В каждом городе есть что-нибудь одно, чего нет ни в каком другом.

В Петербурге — в полдень пушечный выстрел¹.

Город вздрагивает и хватается за жилетный карман. Приезшему кажется, что люди бледнеют от ужаса. Раздается вой гудков — город смертельно ранен и орет, как издыхающий зверь.

Приезжий ждет смятения и паники. Но медный Петр показывается в эту минуту на скале: вздернув голову и удержав коня, он простирает руку над городом. Вой утихает. Жизнь восстанавливается. Таков обряд.

Один петербургский мальчик был спокойно убежден, что эта ежедневная пушка стреляет с крепости «по врагам». Такая была у него концепция города и государства. И раз он забеспокоился: «ведь пушка может не попасть в кучу врагов, как же тогда?»

Впрочем, разговор этот происходил с моим сыном уже в Ленинграде, после революции. Дореволюционные мальчишки имели, конечно, другую концепцию.

Я застал Петербург накануне смятения, накануне «врагов». Волшебный город встретил меня дождем, наводнением и 1905 годом.

В 12 часов я вздрогнул и проверил часы. Это было у Биржи. Петр с того берега протянул свою колдовскую руку. Я поехал снимать комнату на Петербургской стороне.

Вода стояла высоко. Город вздрагивал всю ночь. Цитатой из Пушкина торчал на скале Петр. К утру все было спокойно. Вторично поэма не удалась.

¹Говорят, что 26 октября 1917 г. пушка по случаю революции не выстрелила.

Но не удалась и моя студенческая поэма или повесть. Едва я успел облачиться в форму студента Военно-Медицинской Академии (офицерская шинель, на боку сабля — ночью иной солдат отдаст честь, а потом ругается), как начались «беспорядки». Прямо с лекций по анатомии и гистологии (профессор Максимов, нафиксатуаренный и надушенный, любил слово «колоссально» и искусно рисовал на доске клетки цветными карандашами) я попал на митинги в большой химической аудитории, расположенной амфитеатром. Внизу, у стола, эсдеки спорили с эсерами. Идеи насыщали воздух и теплым туманом поднимались к потолку. Я устраивался наверху, чтобы быть независимым судьей. Пенсне запотевало от идей и от дыханий толпы.

Пенсне я завел в Петербурге. Оказалось, что мое воронежское зрение здесь недостаточно. Это меня смущало. Я, может быть, человек, не созданный для этих масштабов? Мне, может быть, не только зрение не хватает?

Я стал робким. На митингах, вместо того чтобы быть судьей, я чувствовал себя подсудимым. Меня судили за то, что я не думаю о государстве, за то, что я близорук, что я — человек маленьких, провинциальных масштабов.

В Воронеже государства не было. Губернатор Слепцов иногда танцевал на балах в женской Мариинской гимназии, а полицмейстер Клокачев лихо проезжал по Большой Дворянской: рыжая пристяжная скакала, свернув голову набок, а полицмейстер, распустив светлые усы по воздуху, стоял в коляске, как будто позируя перед художником. Вот и все. Совсем маленький Петр, в треугольной шляпе, пеший, стоял в сквере, никому не приказывая, не мешая и даже не зная о своем столичном грозном двойнике. Никакой пушки, никаких наводнений.

На меня нападала тоска. Петербург — не город, а государство. Здесь нельзя жить, а нужно иметь программу, убеждения, врагов, нелегальную литературу, нужно произносить речи, слушать резолюции по пунктам, голосовать и т.д. Нужно, одним словом, иметь другое зрение, другой мозг.

А я хочу просто жить. Не хочу ни вздрагивать, ни показывать кулак и кричать: «Ужо, строитель чудотворный!»

И вот, в этом городе-государстве — с пушкой, Петром, эсдеками и эсерами — я остался один, в маленькой комнатке на Кронверкском проспекте: с тупой саблей, в военно-медицинском сюртуке, в пенсне — и без всякого дела. Против меня — Народный дом. К 6 часам я забираюсь наверх, в бесплатные места. Внизу Тангейзер проклинает Рим. Пенсне запотеваает от дыханий толпы. Но здесь я — не судья и не подсудимый. Вагнером я борюсь с обступившим меня государством. Я голосую за музыку.

Вольная Высшая Школа. Под таким французским названием, на Английском проспекте, в 1906 г. открылось новое учреждение. Во главе его — хорошо известный курсисткам 70-х годов учитель моей матери (когда она была еще Гловой), Петр Францевич Лесгафт.

Я поступаю на биологическое отделение. Этого требует мой медицинский сюртук, грустно висящий на деревянных плечах и завешанный простыней.

Рано утром я с Кронверкского проспекта бегу на Английский. Мы делаем поперечные разрезы кости и трем их, чтобы получить тонкий препарат, пригодный для микроскопа. Это трудно, потому что в последний момент препарат ломается — надо начинать сначала. Экзерсис на упрямство и терпение — нечто вроде человеческой жизни. Одному этого не выдержать. Девушка с локонами образует со мной «группу». Мы достигаем успеха и молча понимаем, что нам уже не расстаться. Экзерсис приобретает новый смысл и становится похожим не только на человеческую жизнь, но и на роман второстепенного писателя (реалистической школы).

В аудитории собирается до 200 человек. Маленький старичок — вместо тела наглухо застегнутый черный сюртук особого покроя; живые, неуспокоенные, вспыхивающие упрямством и властью глаза; голова несколько наклонена, как будто мозг перевешивает. Мелкая, быстрая походка — так он входит в аудиторию.

Никакой кафедры — старичок гуляет по аудитории и читает курс анатомии, обращаясь то к одному, то к другому. Иногда он останавливается и, нахохлившись, выкрикивает неясные слова, — громко, каким-то петушиным голосом. Мы долго не можем понять, что это за таинственные выкрики. Голова приподнята, шея вытянута, плечи

напряжены. Трижды прокричав и откашлявшись, старичок начинает опять расхаживать по аудитории. Только привыкши к старческой дикции, мы разгадываем, что он кричит: «всем ясно?»

Так, крича и волнуясь, он добирается до самых основных вопросов человеческой жизни — до вопросов человеческого поведения. Он стыдит, насмехается, требует. Он все чаще и пронзительнее кричит: «всем ясно?» В аудитории тишина. Волшебный старик, жестикулируя и крича по-петушиному, строит перед нами, как архитектор природы, весь человеческий организм. Он хватает со стола кусок кости и торжествуя, как изобретатель, носит его по аудитории и сует нам в глаза: «Смотрите хорошенько. Всем ясно?»

Человек построен по законам механики — как мост. Ничего неясного. Все можно вывести *a priori*. Вот вам внутреннее строение кости: те же, что в мостовых арках, «кривые сжатия» и «кривые растяжения». Еще немного — и этот старик сам, своими жилистыми склеротическими руками построит человека. Дайте ему только материал и не вмешивайтесь.

Он насмехается над официальной наукой, над государством, над Медицинской Академией, над моим форменным сюртуком. «Господин доктор» дразнит он меня, или — «господин классик». Отбежав к столу и приняв опять петушиную позу, он насмешливо выкрикивает латинские названия, которые звучат позорно и неприлично. Аудитория хохочет.

Он проклиная и волнуется, как Тангейзер. Кроме Вагнера у меня теперь для борьбы с петербургским государством есть этот старик с его волшебной анатомией.

Я сдаю всю остеологию. Ощупью, с закрытыми глазами я определяю мельчайшие косточки по бугоркам и бороздам. Мне ясно, *как* построен человек, но есть другой вопрос — *для чего?*

Я не могу вернуться в Академию и заучивать латинские названия. Я брожу по городу, взволнованный и полусонный. Человек построен как мост — но для чего?

Я двигался по фантастическому мосту. Подо мной качались «кривые сжатия» и «кривые растяжения». Мост

шатался. Я шел ощупью, с закрытыми глазами, с чужим черепом в руках. Издалека, с того берега, доносился до меня петушиный крик, но его заглушал хор странников из «Тангейзера». Надо мной взвизгивали скрипки и хроматические гаммы, надавливая на мозг; стремительно скользили вниз.

Я ступаю на другой берег, останавливаюсь и швыряю череп в пространство. Мост проваливается. Я присоединяюсь к хору странников.

Остеология была мостом на другой берег. Волшебная анатомия Лесгафта привела меня к музыке. Юность шла напролом и не слушалась ни медной руки Петра Великого, ни жилистых рук Петра Лесгафта.

Мне нужно освободиться и от государства и от человеческого костяка. Сабля продана. Чужой череп, построенный по законам механики, удален. От прошлого осталось одно пенсне.

Я — не воронежский мальчик, но и петербургским студентом, имеющим научное мировоззрение, я не хочу и не могу быть.

Я вступаю в дикую область ветра и гармонии.

РОМАНТИЧЕСКИЕ НЕУДАЧИ

Музыка была задумана в детстве, но неудачно.

Военный капельмейстер Печников обучал меня на скрипке. Маленькая детская скрипка пищала и хныкала под моим смычком, раздражая меня своим диким упрямством. Когда я вырос, ее заменили настоящей и даже почтенной, сделанной в XVIII веке немецким мастером Клоц. Она была хорошего дерева, хорошего тона, с изящной шейкой. Я любил укладывать ее в футляр и покрывать одеяльцем. Но голос ее мне не нравился — не нравилось, что нет аккордов, нет полнозвучия. Не нравилось мне и то, как нужно с ней обращаться: класть под подбородок, изворачивать руку, водить смычком. Что-то противоестественное казалось мне в этой позе.

Мы раздражались друг на друга — как неудачные любовники. Она, тирольская светская дама, привыкла, очевидно (я это чувствовал), к гораздо более ловким, опытным и страстным объятиям. Ей вспоминалась родина и XVIII век. И в самом деле — куда закинула ее судьба? Воронежский гимназист неумело и робко трогает ее пальцами, которые почти не вибрируют. Он даже не умеет сразу попадать — мадам Кюц взвизгивает и фальшивит. Это был явный мезальянс.

Настоящей моей любовью был рояль, но у нас был задуман семейный дуэт с братом. Меня, как скрипача, к роялю не пускали, чтобы я грязными руками не марал клавиш. В доме была сверхъестественная, гордая чистота.

Оставался путь обмана и измены. Когда мать уходила и скрипка лежала в футляре, покрытая одеяльцем и крепко запертая крючками, я пробирался к роялю и при свете уличного фонаря ласкал белое тело его клавиш. Он отвечал мне из глубины полнозвучными аккордами. Этот голос волновал меня подлинной страстью. Я опускал голову на клавиши и плакал. Раздавался звонок — я захлопывал крышку (иногда забывал) и бросался в постель, притворяясь спящим.

На другой день скрипка взвизгивала еще раздраженнее. Смычок был как палка. Я не играл, а бил им почтенную тирольскую даму.

Было одно лето, когда мы с ней временно примирились — явилось что-то похожее на любовь. Главной причиной такой перемены, как это часто бывает, была обстановка.

Я попал в южную степную усадьбу. Одна сторона дома выходила в большой сад, заросший абрикосовыми и вишневыми деревьями; другая — в ровную, бесконечную степь. Днем носился по ней с тонким свистом горячий, душистый ветер, а ночью, медленно, ошупью, как слепая, проплывала над ней бледная, высокая луна.

Днем я носился по степи верхом или лежал в саду; ночью мы зажигали свечи у пианино и открывали все окна. Моя тирольская дама приходила в романтическое настроение. Сонаты Бетховена и Грига уплывали через окна в степь — в тишину. Это было нечто вроде медового месяца.

В Воронеже отношения опять испортились. Я и потом, позже, несколько раз старался вернуть то романтическое настроение, но — напрасно. Она мечтала о другой жизни. Разрыв был неизбежен. В голодные годы, в Петербурге, я ее «съел», т.е. продал какому-то инструментальному мастеру, чтобы получить деньги на «продукты питания». Она последовала за словарем Брокгауза и Ефрона...

Где-то она теперь, бедная? Впрочем, быть может, она вернулась в свой Тироль, и какой-нибудь опытный немецкий артист нежно обнимает ее тоненькую шейку? Что ж, я не ревную.

Тирольская дама мстила мне неудачами. Я сделался скитальцем — как все неудачные любовники. Простившись с анатомией, я бросился к роялю, но здесь меня ожидали муки сомнения и новые соблазны.

Я живу в мансардах, в 7 этаже, на Фонтанке. У меня стол без ноги, один стул, старая скрипучая кровать. Из окна — порывевшие черепа крыш, химеры труб и петербургский ветер. Я совсем один.

Рядом со мной, за тонкой перегородкой — китаец-шофер. Днем он носится по городу в автомобиле и молчит; ночью он стонет и задыхается от страсти, сжимая в своих мускулистых, налитых желтой кровью руках розовую европейскую проститутку.

Мы с ним изредка встречаемся в темном коридоре и молча здороваемся — не то как соседи, не то как представители разных национальностей. Он насмешливо косит на меня глаза и скалит зубы. Если не жить в Китае, то надо или управлять автомобилем, или, по крайней мере, владеть им. Моя жизнь ему непонятна.

У меня в комнате — огромный концертный рояль. Мне подняли его из второго этажа — из богатой купеческой квартиры, где я даю уроки. Там их было двое — они стояли рядом и молчали. Иногда, в дни семейных праздников или на Рождестве, какая-нибудь тетушка дубасила вальсы и польки — другой музыки они не знали.

Мне принесли его расстроенным и мрачным, с отвинченными ногами. Ноги привинтили. Он угрюмо рас-

пластался по всей комнате, точно готовясь к сопротивлению. Будущее не предвещало ему ничего хорошего. Там он хоть отдышал — тут, очевидно, его заставят звучать, но что за жалкая обстановка! По своей природе он создан для обширного светлого зала, для концертной эстрады, для тысячной толпы, для изумительных рук европейского виртуоза. О нем сообщали бы в афишах — «рояль Бехштейна». Куда он попал? Что это за бледный юноша?

Я вдвинул его большое, черное, блестящее тело в угол и настроил как умел.

Моя жизнь наполнена безумием и упрямством. У меня нет ни автомобиля, ни проститутки. Я — представитель особой национальности, не встречающейся ни в Китае, ни в Европе. Я — русский юноша начала XX века, занятый вопросом, для чего построен человек, и ищущий своего призвания. Я — странник, занесенный ветром предреволюционной эпохи, эпохи русского символизма, из южных степей в петербургские мансарды.

Я совсем один. Мне нужен друг, посвященный в мои тайные замыслы и надежды и сочувствующий им. Около меня нет никого, кроме черного концертного рояля.

Я ежедневно утром подхожу к нему, поднимаю крышку и дотрагиваюсь пальцами до клавиш. Он отвечает мне безразличным, холодным, металлическим голосом. Его костяные клавиши, несколько пожелтевшие от времени, шевелятся медленно. Я извожу его гаммами и инвенциями Баха, а ему вспоминается спокойная дремотная жизнь у купцов, где остался его двойник. Если не стоять на эстраде, то лучше дремать в купеческой гостиной.

Не только человек и животное, но и вещи привыкают к духу обстановки. Да, в моем рояле есть что-то купеческое, мещанское. «Мещанин Бехштейн» — называю я его мысленно. Он меня не понимает и не верит в мое будущее. Он сопротивляется каждому моему порыву. Он беспол и бездушен.

Я возвращаюсь из Музыкальной школы Рапгофа вечером — взволнованный, ободренный, уверенный. Быстро взбежав по лестнице мимо крепко запертых парадных дверей (II этаж — мои купцы-табачники, III — какой-то

доктор-венеролог, какой-то инженер, потом — юрист, зубной врач, потом просто какой-то Лившиц), я, музыкант, вхожу в свою комнату и запираю дверь на ключ.

Мы вдвоем с Бехштейном. Сегодня я его расшевелю и заставлю отвечать мне настоящим голосом — тем, которым отвечало мне наше старое воронежское пианино (да, да — то было пианино, а не рояль), добродушное и явно мне сочувствовавшее.

Нахохлившись и точно сгорбившись, он мрачной черной птицей ждет меня в своем углу. Кругом тихо. Китаец еще носится на автомобиле — там, внизу. За окном темно. Не видно ни земли, ни воды, ни неба. Я со своей огромной птицей заперт в какой-то клетке, подвешенной к потолку ночной Европы.

Я зажигаю свет и подхожу к роялю. В черном зеркале его спины я вижу свое собственное отражение. Это насмешка и ирония. Мещанин Бехштейн не признает никаких порывов. Он знает, что я все равно не могу ничего сыграть, кроме инвенций Баха, «Фантазии» Моцарта да «Роете erotique» Грига — школьный репертуар. В будущее он не верит — он скептик. Ведь в его природе заложены лучшие музыкальные возможности — Лист, Шопен, Скрябин. А что получилось?

Он крепко стоит на своих трех коротких толстых ногах — безразличный, сумрачный, сгорбленный, старый. Наши отношения неблагополучны. Он не дает мне разойтись — гаммы идут хуже, пальцы соскальзывают с черных клавиш на белые. Я отчаиваюсь, ударяю кулаком по клавишам и бросаюсь на постель. Бехштейн рычит и скалит зубы.

В соседней комнате хлопнула дверь. Сейчас Китай будет душить Европу.

Я зарываюсь в подушку.

И вот ночь. Китайская душная ночь. Огромным черным крылом растянулся рояль по всей комнате.

Потом все меняется. Обширный светлый зал с белыми колоннами, высокая эстрада. На эстраде — рояль Бехштейна с поднятым кверху крылом. Он — мой друг, он ждет меня. Я подхожу и дотрагиваюсь до клавиш. Он отвечает мне взволнованным, нежным, волшебным голосом.

Его клавиши изящны, упруги и теплы, как женские пальцы. Я играю Листа, Шопена, Скрябина...

Я просыпаюсь — усталый, счастливый, с ощущением музыки и любви во всем теле. В комнате — туман раннего петербургского утра. Мещанин Бехштейн скалит на меня свои желтые зубы. Так жить нельзя.

Музыкой я залечивал воронежскую обиду. На петербургских мансардах, как в оранжерее, искусственно дозревало, превращаясь в юность, мое воронежское детство. Теперь нужно сделать усилие и шагнуть в жизнь.

И вот — я опять на мосту. Опять иду на другой берег. Но мост уже не фантастический, а настоящий, через Неву, на Васильевский остров. Нева — осенняя, серая, грозящая наводнением.

Я возвращаюсь в Петербургское государство.

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЕВРОПЕ

Петербургский университет — продолжение Невского проспекта. Главное в нем — коридор: крытый проспект, уводящий в глубину Васильевского острова. Весь остров — система параллельных и перпендикулярных проспектов. Население живет здесь по законам начертательной геометрии. По ее же законам совершается движение трамваев. Только на набережной, и именно около Университета, рельсы образуют неожиданный и непонятный выгиб. Получается толчок, по которому даже спящие пассажиры легко соображают: Университет.

Коридор шумит общественными и житейскими аксиомами. Здесь — светло илюдно. Наука заперта в темных аудиториях — они, как дома на улице, тянутся по одной стороне. После коридора — здесь жутко. Сквозь грязные, покрытые пылью петровского времени окна видны черные сучья деревьев. Старинное, тоже петровского времени небо — одного цвета с серо-желтым потолком. Наука обозначена кафедрами и рядами скамеек.

Да, я — в старом Петербурге, в центре Петербургского государства. Здесь шумел и распорядился «Отец Отечества». Университет не входил в его систему — ему нужно было здание для 12 коллегий. Оно было построено так же просто, быстро и прямолинейно, как все государство. Как и все государство, оно вышло не совсем так, как было нужно, — повернулось к Неве узкой, боковой стенкой в 4 окна. Жизнь, где и как могла, сопротивлялась. Чиновники с чисто выбритыми подбородками днем кричали императору «виват», а ночью клали под подушку бороду и просыпались в поту от страшных государственных кошмаров.

Каждый день появлялись новые указы, грозившие бедами и разореньем. Помещики и вотчинники должны были застраивать геометрически разлинованное пространство Васильевского острова: «а кто не зачнет, лишен будет всего движимого и недвижимого имения, и дабы каждый дом пришел в отделку под кровлю в предбудущем 1726 году... тако ж, пока совершат дома, не съезжали отнюдь под лишением всего, как выше писано, никуда».

До предбудущего года, к радости испуганных вотчинников и помещиков, не дожил сам Строитель. Он лишился движимого и недвижимого и съехал в «никуда». Петербургское государство осталось без отделки и без кровли. По Васильевскому острову стали шагать немецкие академики и российские поэты. Незастроенные домами проспекты застраивались глубокомысленной наукой и возвышенными одами. Здесь, на набережной, недалеко от здания 12 коллегий, родилась российская словесность, превратившаяся потом в русскую литературу.

Литература в детстве не была задумана. «Древняя поэма о шахматной игре» лежала у отца в письменном столе как семейная реликвия. Мы с братом иногда разыгрывали описанную в поэме шахматную партию. На синей обложке стояло: «*Такраб*. (Битва). Сочинение Я. Эйхенбаума. Перевел с еврейского О. Рабинович. Издание второе. Одесса. В русской типографии Р. Бейленсон. 1874». Далее следовал портрет невиданного нами дедушки: сурового вида бритый старик, в форменном виц-мундире; левой рукой он облокотился на круглый столик, в правой держит полу-

раскрытую книгу. Затем идет что-то на древнееврейском языке, чего мы не понимаем (эпиграф, посвящение). Текст поэмы напечатан слева по-русски, справа по-еврейски. Мы читаем только левые страницы.

Перевод неудачен: строфическое построение не соблюдено; сжатость, стремительность и остроумие языка не переданы; в основу положен какой-то ходячий пушкино-лермонтовский шаблон, осложненный особенностями одесского наречия. Но тогда мы всего этого не понимали (формальный метод еще не был открыт) и, забывая о шахматах, прислушивались к словам и к ритму:

В стране поэзии, цветов,
Где всходит солнце золотое,
Где неба щедрого даров
Повсюду море разлитое,
Где людям шлет на круглый год
Весну цветущую природа,
И кровь неистово течет
По жилам пылкого народа;
Где аромат в вечерний час
Волной по воздуху несется;
В стране, которая от нас
Востоком искони зовется —
Там, в той стране, в прекрасный день
(Гласит старинное преданье)
В саду заброшенном, под тень
Зеленых лип, на состязанье
Сошлись два доблестных врага:
Один Хебер, другой Кора;
Как первый, в бранях зачерствелый,
Гроза и бич врагов своих,
Так и другой — воитель смелый,
Краса товарищей лихих.

Хебер — предводитель белых, Кора — черных. Сложными перифразами описаны сначала все правила шахматной игры, потом — вся партия, кончающаяся неожиданной, эффектной победой белых. Началу самой битвы предшествуют строки, которые особенно нам нравились:

Вперед, вперед, не унывай
Рассказ мой, скромный сын преданий!
Развейся смело, не скрывай
Подробностей невинной брани.
Читай нам повесть старины,
Куда кто шел, за кем гонялся;
Как жребий кончился войны,
Кто пал со славой, кто остался.
Не унывай, когда упрек
Нечистых уст тебя коснется:
Тебя лишь слушает знаток,
В его душе лишь отозвется
Понятный звук твоих речей
И чудный смысл иносказаний;
Так лейся ж плавно, как ручей,
Рассказ мой, скромный сын преданий!

В сущности говоря, это была своего рода пародия на романтику восточных поэм. Традиционные приемы этого жанра перенесены на неожиданный материал, все время играющий двумя смыслами. Финал подчеркивал традицию. На пир в честь Хебера является молодой певец; он воспевает битву:

Как сильный сильным побежден,
Как с хитростью боролся гений.
И вся толпа рукоплескала;
А между тем невдалеке
Рука искусная писала
Слова поэта на доске,
С тех пор живет в устах народа
Рассказ глубокой старины:
О нем твердили в род из рода
Востока пылкие сыны;
И к нам через многие лета,
Как быль исчезнувших времен,
Рассказ восточного поэта
Седым преданьем занесен.

В том же 1840 году, когда поэма деда впервые издавалась в Лондоне, Лермонтов заканчивал в Петербурге своего «Демона».

Для нас Пушкин и Лермонтов, вместе со всей русской литературой, были литературой «гимназической» — мы ее «проходили» по учебнику Незеленова. Другой литературы дома не было. В книжном шкафу стояли книги по медицине и обширный словарь Брокгауза и Ефрона, постепенно получавшийся из Петербурга, — тот самый, который я потом увез для справок обратно в Петербург и, в конце концов, променял на «продукты питания». Сейчас он, вероятно, лежит у букиниста на Литейном и с упреком смотрит на меня, а я прохожу мимо и, замедляя шаги, думаю: не купить ли?

Закон наследственности, о котором почему-то не думали мои родители (Лесгафт отрицал его категорически), привел меня в здание 12 коллегий — на историко-филологический факультет Петербургского университета.

Напрасно историю смешивают с хронологией. История — реальность: она, как природа, как материя, неподвижна. Она образуется простым фактом смерти и рождения — фактом природы, никакого отношения к времени не имеющим. Хронология и время — абстракция, выдумка, условность, регулирующая семейную жизнь и государственную службу.

В здании Петербургского университета я застал ту же борьбу, которая шла в здании 12 коллегий. Хотя и профессора и студенты усиленно носили бороды, но здесь продолжалась та же старинная борьба двух культур: славяно-русской и романо-германской. Так и назывались два враждующие отделения историко-филологического факультета. Первая культура строилась на церковнославянском языке и памятниках древне-русской письменности; вторая — на провансальских трубадурах, немецких миннезингерах и на заветном имени Данте.

Их поместили по краям коридора: в 11-й аудитории было славянофильство, в 4-й — западничество. В промежутке, как области нейтральные, приютились философия, история, античность. Петр с того берега, не то иронически, не то гневно, показывал пальцем — не то на запад, не то на Университет, не то на меня.

Славяно-русская культура не пришлась мне по душе. Даже «Слово о полку Игореве» меня тогда не взволновало — это была все та же воронежская «гимназическая» литература, а я уже забывал о Воронеже и не хотел к нему возвращаться. Мы учили это «Слово» наизусть в 4-м классе и долго потешались над первой фразой: «Не лепо ли ны бяшеть, братие».

Да, нелепо, нелепо. Я не чувствовал в себе никаких склонностей к славянофильству. Даже лекция академика Шахматова о судьбе Ъ меня не увлекла — я был все еще поглощен собственной судьбой. Это было в темный, желтый, октябрьский день. Маленький человек взволнованным и тихим голосом описывал изменения звуков и приводил примеры из летописей. К лингвистике я не был подготовлен своим прошлым, а будущее мне было неясно. Я ушел расстроенный. Через много лет я пришел к Алексею Александровичу Шахматову с работой по мелодике стиха, построенной на основах немецкой науки. Тогда я понял, что славяно-русская культура бывает разная.

Судьба меня преследовала. Я уже опять бродил — не по улицам, а по университетскому коридору. И вот, не выходя на улицу, я вдруг попал в Европу — т.е. в 4-ю аудиторию. Я попал в атмосферу немецкого романтизма, провансальской лирики, старофранцузского эпоса, «Божественной комедии» Данте. Мои поиски кончились. Петр недаром указывал мне пальцем. Смесь еврейской крови с русской образует, очевидно, особое химическое соединение, имеющее сродство с кровью романо-германских народов.

Итак, я пустился в путешествие по всей Европе — средство старинное и, по-видимому, действительно, полезное. Хотя оно осталось путешествием воображаемым (реально я до сих пор дальше Финляндии так и не уехал), но в молодости достаточно и этой возможности. Моими спутниками были петербургские юноши, из которых одни впоследствии совсем переселились в Европу, другие остались пропагандировать европейскую литературу на русской почве.

Среди них был юноша, с первой встречи поразивший меня своим видом. Он был совсем мальчик — тонкий,

очень смуглый, с глубокими семитическими глазами и подетски чувственным, точно припухшим ртом. Я смотрел на него как влюбленный. Мы сдружились, и мое путешествие по Европе приобрело совсем романтический характер. Новалис, Тик, бр. Шлегели, английские прерафаэлиты — все это я узнал и полюбил благодаря нашей дружбе. Он был романтик, расцветший в садах петербургского символизма. Вместе с цветами символизма увял и он, превратившись в классического ученого. Меня спасало от символизма воронежское детство.

Университетская романо-германская культура, ведущая свое происхождение от Александра Веселовского, и, конечно, буржуазная была тогда на высоте. Мы еще не знали тогда, как она называется. Главное — эпоха была нами заинтересована и помогала нам. Это чувствовалось не столько в самой 4-й аудитории, сколько за ее пределами. Мы были в струе — какой-то исторический гольф-стрем обтекал нас, согревая и вдохновляя.

Мы путешествовали кружком, который объединялся не идеологией, а умственным и душевным стилем. Среди нас была одна женщина, не только умственно, но и душевно богато одаренная. Она переводила песни провансальских трубадуров, «Новую жизнь» Данте и с большим музыкальным и словесным изяществом пела старинные французские романсы. Профессор Ф.А. Браун, давно сжившийся с Россией, но физиологически оставшийся европейцем, был нашим учителем и старшим другом. Он молодец и вместе с нами увлекался немецким романтизмом. Многие писали стихи; я — тоже.

Правда, я иногда начинал тосковать среди этой изящной европейской культуры. Меня окружали юноши петербургской крови, а во мне сидело провинциальное дикарство. У меня память была другая. Я тянулся к Европе, но не хотел и не умел стилизоваться. Впереди была все еще неизвестность. Я отдыхал от детства и от петербургских неудач.

Россия — страна утомительная. Я набирался сил.

Через два года я вернулся на родину другим человеком. Родина тоже несколько изменилась. Символизм перерождался в акмеизм. Славяно-русская культура явно

передвинулась в XIX век. Славянофильство стало («вторично в третий раз») мириться с западничеством. Центром славяно-русского отделения сделался Пушкинский семинарий Семена Афанасьевича Венгерова. Он мелкими шажками ходил по коридору, окруженный бородой и студентами. О нем шутили: «Семен просеменил в просеминарий».

На одном из заседаний семинария попросил слова юноша, резко похожий на Пушкина. Еще не установившись, но бойким голосом он возражал докладчику. Это был голос не европейца, но и не «славяно-русского» студента. За время моего путешествия явилось, очевидно, новое поколение. Я запомнил этого пушкиниста — и подарком.

Путешествие по Европе и прогулки по коридору Петербургского университета кончились. Я покинул его крытый проспект и вышел на открытый, незащищенный от дождя, холода и ветра проспект жизни.

СТИХИ И СТИХИЯ

Литература, как и музыка, требует своих гамм и инвенций.

Некоторая подготовка, кроме закона наследственности, у меня была; обширные гимназические сочинения, статья о Пушкине, выскочившая еще среди занятий анатомией, студенческие доклады, секретарская работа у М.К. Лемке, несколько статей в журналах и газетах и, наконец, стихи.

Когда я приехал в Петербург, он был засян символистами. Публика называла их иногда всех вместе «декадентами», но начинала уже привыкать к существованию Александра Блока. Потом по мостам и проспектам стали ходить акмеисты и футуристы. Приближалось время неожиданностей и перемен. Андрей Белый издал свою библию о символизме. Петербургские белые ночи, казавшиеся раньше постановкой Мейерхольда, стали выглядеть стихотворением Гумилева или Анны Ахматовой.

Я ходил по мостам и проспектам начинающим литератором неопределенной партии. В противоположность юношам петербургской крови, к 30 годам превращающимся из романтиков в классиков, я под 30 лет чувствовал себя еще совсем юношей.

Самое главное в жизни выглядит случайным, потому что совершается по стихийным законам истории. Человек молод до тех пор, пока он живет чувством исторической стихии и на нем строит свою жизнь. Самая неверная деятельность, обыкновенно кончающаяся крахом, — дипломатическая. История презирает дипломатов не только от политики, но и от литературы.

Я не спешил и ждал случайностей. Жизнь шла пока тихо, замкнуто, семейно. Я занимался словесными гаммами и инвенциями.

Стихи развивают словесный слух. Чтобы прослышать смысловые тембры слов, надо поставить слова рядом, но так, чтобы они оставались выделенными. Это достигается ритмом. Чтобы сделать слово вещью (а в этом — все дело литературы), надо поместить его так, как помещают вещи на выставке.

Стихи рождаются из потребности задержаться на слове, рассмотреть его, поиграть с ним. В обычном употреблении слова несутся беспорядочным, мутным потоком — стихи замораживают их и превращают в прозрачные льдинки, играющие на солнце цветами радуги.

Итак, я писал стихи, чтобы присматриваться и прислушиваться к слову. Н. Гумилев звал меня в акмеисты и напечатал два моих стихотворения в «Гиперборее». Я не был ни символистом, ни акмеистом, потому что жил чувством исторической случайности и ждал неожиданностей. Приближалось время восстаний и кризисов. Неподвижная во времени история делала мышечные движения, как поворачивающийся в берлоге зверь. Против культуры шла природа.

Я упражнял свои мышцы. Стихи были душевной гимнастикой.

*

Медленно падает
Дождевая сеть.
Сердце, угадывай —
Долго ли гореть.
Небесные воды
Льются от века;
За годами годы
Ведут человека.
Каждое слово —
От тысячелетий;
Все старое — ново,
Мы все — дети.
Застилает гуще
Дождевая сеть;
Жизни предыдущей
Не разглядеть.

*

Прошла гроза, стемнел закат,
Деревья тихо шелестят,
Спят птицы в острых елях,
Спят дети в колыбелях.
Всю ночь над теплою землей,
Обнявшись белою толпой
Проходят сны — людские,
И птичьи, и другие.
Колеблют детские сердца
И вокруг планетного кольца
Бескрылые летают
И тихо, тихо тают.

*

Каждый день шумят лесные бури
И грохочет майская гроза.
Каждый день, глаза свои прищурив,
Ты глядишь в мои глаза.

Ввечеру ко мне садись ближе,
И глаза твои, я знаю, зелены;
Ждешь и знаешь — будет падать ниже
Голос мой, звучать из глубины...

Волосы твои густые русы,
Губы влажны, сердце не стучит,
И янтарные сверкают бусы
На груди, как драгоценный щит.

Поутру чиста лазурь над лесом,
Но чуть стало жарче — посмотри:
Зашумел под грозовым навесом
Майский гром, бушует до зари.

Солнце опускается умытым,
Сосны пьют вечернего огня...
Ты пришла — и рукавом расшитым
Заслонила солнце от меня.

*

Зеленый день звенит,
Звенит лазурь от зноя,
Душа, ища покоя,
В тени зеленой спит;
Но лишь закатный дым
Прольется над землею,
Она встает луною
Над озером ночным.

Чуть слышен шум воды,
Вдали чуть видны челны,
И тонкий луч звезды
Пронизывает волны.

*

Над побледневшею землею
Полупрозрачный светит шар;
Струится тонкой кисеею
Вечерний розоватый пар;

Лес неподвижен, люди странны,
Как крылья — облака легки,
И очертания туманны
Твоей поднявшейся руки.

Жизнь предстает как сновидение,
И сновиденьем смотришь ты
На это лунное свечение
Среди прозрачной темноты.

•

Едет кто-то там вдали,
Скачет кто-то там в пыли.
Это — всадник безголовый,
Это — конь белоголовый,
Знаю эту я страну:
Клонит голову ко сну,
И в тумане над горами
Кони мчатся табунами.

•

Вот город мой: он тот же самый,
Зимой и летом тот же край,
Где хроматические гаммы
Поет по улицам трамвай.

Мистерия домов и храмов,
Неумолкающих страстей,
Из рая изгнанных Адамов
И тихо плачущих детей.

Под солнцем — неподвижный камень,
Дома — над мертвою рекою...
Какими гневными руками
Тебя строитель строил твой!

*

Над Невой завывает сирена,
И тучи близко к земле.
Чугунные вижу колена
У царя на серой скале.

По земле — это тень моя бродит,
Я давно окаменел;
В неизвестном и диком роде
Остался мой царский удел.

И там, над застывшей водою,
Где нет ни людей, ни огня,
Я тоже железной уздою
Удерживаю коня!

*

Как странно сидеть у себя за столом в кабинете
И слушать, как снизу шарманка визгливо поет.
Страница идет за страницей, а песенки эти
Круженьем разгульным словесный ведут хоровод.

Слова начинают плясать, и трагический шопот
Доходит до слуха, как старый, изношенный смех;
Забыто, что было — желанье, привычка и опыт,
И так для меня, для тебя, для него и для всех.

Фальшиво и жалобно стонет шарманка больная,
Чахоточный вальс бесконечно поет об одном:
Я «Смерть Валленштейна» читаю, а волны Дуная
То в комнату лезут, то бьются в бульжное дно.

И так надрывается голосом диким гадалка,
И голосом каменным так отвечает стена,
Что ни Валленштейна, ни Шиллера мне уж не жалко;
Душа — как шарманка: протяжна и холодна.

*

Убийственные дни!
Под грохот урагана
Колеблются огни
И трубы у органа.

Торжественная мша
Свершается в костеле:
Ксендз ходит не спеша,
И нежно пенье полек.

Но светлый купол пуст,
И слишком гулок мрамор,
Когда из тонких уст
Латынь вещает «Амог».

И внемлет ей народ,
Не зная, где отчизна:
Давно из рода в род,
Поется эта тризна!

И этот органист,
Приученный к хоралам,
Глядит на нотный лист
Недвижно и устало;

И это свысока
Звенящее сопрано —
Как давняя тоска,
Как ноющая рана.

*

Кони огненные сорвались
С заповеданной им цепи
И ликующие помчались
По открывшейся вдруг степи.

Перед этим бешеным бегом
Расступаются города;
Одичавшим коньям неведом
Крик отчаянья и труда.

Человек стоит безнадежно,
Оплакивая свой дом;
Этих буйных коней невозможно
Испугать никаким бичом!

И летят табуны огневые —
Их никто еще не победил!
Извиваются вольные выи,
Не знающие удил.

Война (за месяц до нее — смерть матери).
Революция (за месяц — смерть отца).
Октябрьский переворот.
Голод, холод, смерть сына.
Жизнь у окопной печки.

Мясо из Дома ученых, ковчег Дома литераторов.
Каюты и палубы Гиза, черный ледяной дом Ин-
ститута истории искусств.
Смерть Блока, гибель Гумилева.

Виктор Шкловский, остановивший меня на улице;
Юрий Тынянов, запомнившийся еще в Пушкинском семи-
нарии.
«Опояз».

Это все были исторические случайности и неожида-
нности.

Это были мышечные движения истории. Это была
стихия.

Настало время тратить силы.

НАУКА

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ БЫТ

1

Мы видим не все факты сразу; не всегда видим одни и те же и не всегда нуждаемся в раскрытии одних и тех же соотношений. Не все, что мы знаем или можем знать, связывается в нашем представлении тем или другим смысловым знаком — превращается из случайности в факт известного значения. Колоссальный материал прошлого, лежащий в документах и разного рода мемуарах, только частично попадает на страницы (и не всегда один и тот же), поскольку теория дает право и возможность ввести в систему часть его под тем или другим смысловым знаком. Вне теории нет и исторической системы, потому что нет принципа для отбора и осмысления фактов.

Однако всякая теория — рабочая гипотеза, подсказанная интересом к самим фактам: она необходима для того, чтобы выделить и собрать в систему нужные факты, и только. Самая нужда в этих или других фактах, самая потребность в том или другом смысловом знаке диктуется современностью — проблемами, стоящими на очереди. История есть, в сущности, наука сложных аналогий, наука двойного зрения: факты прошлого различаются нами как факты значимые и входят в систему, неизменно и неизбежно, под знаком современных проблем. Так одни проблемы сменяются другими, одни факты заслоняются другими. История в этом смысле есть особый метод изучения настоящего при помощи фактов прошлого.

Смена проблем и смысловых знаков приводит к перегруппировке традиционного материала и к вводу новых фактов, выпадавших из прежней системы в силу ее естественной ограниченности. Включение нового ряда фак-

тов (под знаком того или другого соотношения) является как бы их открытием, поскольку существование вне системы («случайность»), с научной точки зрения, равносильно небытию.

Перед литературной наукой (а отчасти и перед критикой, поскольку их связывает теория) встал сейчас именно такой вопрос: литературная современность выдвинула ряд фактов, требующих осмысления, включения в систему. Иначе говоря, требуется постановка новых проблем и построение новых теоретических гипотез, в свете которых эти выдвинутые жизнью факты окажутся значимыми.

Внимание исследователей литературы и критиков было в последние годы направлено, главным образом, на вопросы литературной «технологии» и на уяснение специфических особенностей литературной эволюции — внутренней диалектики стилей и жанров. Это было естественным следствием пережитого нами литературного подъема, закончившегося литературной революцией (символизм и футуризм). Подъем этот и закреплён огромной теоретической литературой, появившейся в течение последних 15 лет. Знаменательно и характерно, что *история* литературы в собственном смысле этого слова была оставлена в стороне, более того — самая ее научная ценность была взята под подозрение. Это понятно, если учесть, что актуальными, требующими анализа и обобщений, были вопросы: «как писать вообще» и «что писать дальше». Технологическое и теоретическое (в смысле изучения самых эволютивных тенденций) устремление литературной науки было подсказано самим положением литературы: нужно было подвести итоги пережитому подъему и осветить вопросы, стоявшие перед новым литературным поколением. Наблюдение над тем, «как сделано» или как может быть сделано литературное произведение, должно было ответить на первый вопрос; установление собственных, конкретных «законов» литературной эволюции — на второй.

И то и другое выполнено в той мере, в какой это было необходимо поколению, вступавшему в литературу 10 лет назад, и стало теперь, в значительной степени, уже достоянием университетской науки, предметом «учебы». История пе-

редала эти вопросы (как это всегда бывает) эпигонам, которые с отличным усердием (и часто на отличной бумаге), но без темперамента занимаются изобретением номенклатуры и показыванием своей эрудиции.

Современное положение нашей литературы ставит новые вопросы и выдвигает новые факты.

Литературная эволюция, еще недавно так резко выступавшая в динамике форм и стилей, как бы прервалась, остановилась. Литературная борьба потеряла свой прежний специфический характер: не стало прежней чисто литературной полемики, нет отчетливых журнальных объединений, нет резко выраженных литературных школ, нет, наконец, руководящей критики и нет устойчивого читателя. Каждый писатель пишет как будто за себя, а литературные группировки, если они и есть, образуются по каким-то «внелитературным» признакам, — по признакам, которые можно назвать литературно-бытовыми. Вместе с тем вопросы технологии явно уступили место другим, в центре которых стоит проблема самой литературной профессии, самого «дела литературы». Вопрос о том, «как писать», сменился или, по крайней мере, осложнился другим — «как быть писателем». Иначе говоря, проблема литературы, как таковой, заслонилась проблемой писателя.

Можно сказать решительно, что кризис сейчас переживает не литература сама по себе, а ее социальное бытование. Изменилось профессиональное положение писателя, изменилось соотношение писателя и читателя, изменились привычные условия и формы литературной работы — произошел решительный сдвиг в области самого литературного быта, обнаживший целый ряд фактов зависимости литературы и самой ее эволюции от вне ее складывающихся условий. Произведенная революцией социальная перегруппировка и переход на новый экономический строй лишили писателя целого ряда опорных для его профессии (по крайней мере в прошлом) моментов (устойчивый и высокого уровня читательский слой, разнообразные журнальные и издательские организации и пр.), и вместе с тем заставили его стать профессионалом в большей степени, чем это было необходимо прежде. Положение писателя приблизилось к положению ремес-

ленника, работающего на заказ или служащего по найму, а между тем — самое понятие литературного «заказа» оставалось неопределенным или противоречило представлениям писателя о своих литературных обязанностях и правах. Явился особый тип писателя — профессионально действующего дилетанта, который, не задумываясь над существом вопроса и над самой своей писательской судьбой, отвечает на заказ «халтурой». Положение осложнилось встречей двух литературных поколений, из которых одно, более старшее, смотрело на смысл и задачи своей профессии не так, как другое, младшее. Случилось нечто, напоминающее нам положение русской литературы и русского писателя в начале 60-х годов, но в гораздо более сложных и незнакомых формах.

Естественно, что при таком положении особую остроту и актуальность получили именно вопросы литературно-бытового характера, и самая группировка писателей пошла по линии этих признаков. На первый план выступили факты не столько эволюции (как она, по крайней мере, понималась прежде), сколько *генезиса*, а тем самым перед литературной наукой встала новая теоретическая проблема — *проблема соотношения фактов литературной эволюции с фактами литературного быта*. Проблема эта не входила в построение прежней историко-литературной системы просто потому, что самое положение литературы не выдвигало этих фактов. Теперь их научное освещение стоит на очереди, потому что иначе самый процесс литературной эволюции в том виде, как он совершается на наших глазах, не может быть понят.

Иначе говоря, перед нами заново стоит вопрос о том, что такое историко-литературный факт. История литературы должна быть заново оправдана как научная дисциплина, необходимая для уяснения современных литературных проблем. Бессилие сегодняшней критики и ее частичный возврат к старым изношенным принципам объясняется в значительной мере бедностью историко-литературного сознания.

Традиционная историко-литературная система строилась без принципиального различения самых этих понятий — эволюции и генезиса, принимая их за синонимы, как она обходилась и без установления того, что такое историко-литературный факт. Отсюда наивная теория «преемственности», «влияния», отсюда же наивный индивидуально-психологический биографизм.

Преодолевая эту систему, исследователи последних лет отказались от традиционного историко-литературного материала (в том числе и биографического) и сосредоточили свое внимание на общих проблемах литературной эволюции. Тот или другой историко-литературный факт служил, главным образом, иллюстрацией к общим теоретическим положениям. Историко-литературные темы, как таковые, отошли на второй план. Если старые работы историков литературы часто отличались беспринципным смешением разнородных, неизвестно чем между собой связанных фактов, то в новых мы видим обратное явление: принципиальное отбрасывание всего того, что не имеет непосредственного отношения к проблеме литературной эволюции, как таковой. Это было не только полемикой, но и необходимостью, более того — историческим долгом: таков должен был быть научный пафос нового поколения, прошедшего путь от символизма к футуризму.

Эволюционирует не только литература, но вместе с ней и литературная наука. Научный пафос меняет свое направление соответственно тому, как меняются самые соотношения живых литературных фактов и проблем. Настал момент, когда пафос должен быть направлен на перегруппировку старого материала и ввод в историко-литературную систему новых фактов. История литературы заново выдвигается — не просто как тема, а как научный принцип.

Обращение к литературно-бытовому материалу вовсе не означает отхода от литературного факта или от проблемы литературной эволюции, как это кажется некоторым. Это означает только включение в эволюционно-

теоретическую систему, как она была выработана в последние годы, фактов генезиса — по крайней мере тех, которые могут и должны быть осмыслены как исторические, связанные с фактами *эволюции и истории*. Для изучения общих законов литературной эволюции, особенно в их приложении к проблемам технологии, вопрос о значении многообразных исторических связей и соотношений был второстепенным или даже посторонним. Теперь именно этот вопрос является центральным.

Литературно-бытовой материал, столь ощутимый в наши дни, лежит неиспользованным, хотя, казалось бы, именно он должен был лечь в основу современных литературно-социологических работ. Дело в том, что до сих пор в этих работах не поставлена проблема самого историко-литературного факта, а тем самым не сделана ни перегруппировка старого материала, ни ввод нового. Вместо использования под новым смысловым знаком сделанных прежде наблюдений над специфическими особенностями литературной эволюции (которые ведь не только не противоречат подлинной социологической точке зрения, но поддерживают ее) наши литературные «социологи» занялись метафизическим отыскиванием *первопричин* литературной эволюции и самых литературных форм. Перед ними оказались две возможности, которые уже достаточно использованы и никакой новой историко-литературной системы не создают: анализ произведений, с точки зрения классовой идеологии писателя (путь чисто психологический, для которого искусство — самый неподходящий, самый нехарактерный материал), и причинно-следственное выведение литературных форм и стилей из общих социально-экономических и хозяйственных форм эпохи (напр., поэзия Лермонтова и хлебный вывоз в 30-х годах) — путь, который неизбежно лишает литературную науку и самостоятельности, и конкретности и менее всего может быть назван «материалистическим». Недаром еще Энгельс в своих письмах 1890 г. предостерегал от этого пути и негодовал на такого рода попытки: «Материалистическое понимание истории имеет теперь множество таких друзей, для которых оно является предлогом не изучать истории...

фразеология исторического материализма (а *все* можно сделать фразой) служит многим немцам из молодого поколения только для того, чтобы возможно скорее сконструировать свои собственные, относительно весьма небольшие, исторические знания и далее храбро двигаться вперед... Чего всем этим господам не хватает, так это диалектики. Они постоянно видят здесь причину — там следствие. Они не видят, что это пустая абстракция, что такие метафизические полярные противоречия в действительном мире существуют только во время кризисов, что весь великий процесс происходит в форме взаимодействия».

Неудивительно, что литературно-социологические попытки последних лет не только не привели ни к каким новым результатам, но явились даже шагом назад — возвращением к историко-литературному импрессионизму. Никакое изучение генезиса, как бы далеко оно ни шло, не может привести нас к первопричине, если только имеются в виду научные, а не религиозные задачи. Наука, вообще, не объясняет, а только устанавливает специфические качества и соотношения явлений. История не может ответить ни на одно «почему», а только на вопрос — «что это значит».

Литература, как и любой другой специфический ряд явлений, не *порождается* фактами других рядов и потому *несводима* на них. Отношения между фактами литературного ряда и фактами, лежащими вне его, не могут быть просто причинными, а могут быть только отношениями соответствия, взаимодействия, зависимости или обусловленности. Отношения эти меняются в связи с изменениями самого литературного факта (см. статью Ю. Тынянова — «Литературный факт» в «Лефе», 1925 г., № 2)¹, то вклиняясь в эволюцию и активно определяя собою историко-литературный процесс (зависимость или обусловленность), то принимая более пассивный характер, при котором генетический ряд остается «внелитературным», и, как таковой, отходит в область общих историко-культурных факторов (соответствие или взаимодействие).

¹Вошло в книгу статей «Архаисты и новаторы» (Л., Газ., 1929).

Так, в одни эпохи журнал и самый редакционный быт имеют значение литературного факта, в другие такое же значение приобретают общества, кружки, салоны. Поэтому самый выбор литературно-бытового материала и принципы его включения должны определяться характером связей и соотношений, под знаком которых совершается литературная эволюция данного момента.

3

Поскольку литература несводима на другой ряд и не может быть простым его порождением, нельзя думать, чтобы все ее конструктивные элементы могли быть генетически обусловлены. Историко-литературный факт представляет собой сложное образование, в котором основную роль играет сама *литературность* — элемент настолько специфический, что его изучение может быть плодотворным только в плане собственно эволюционном. Четырехстопный ямб Пушкина, например, невозможно (не только в причинном плане, но и в плане обусловленности) связать ни с общими социально-экономическими условиями николаевской эпохи, ни даже с особенностями ее литературного быта; но переход Пушкина к журнальной прозе и, таким образом, самая эволюция его творчества в этот момент обусловлены общей профессионализацией литературного труда в начале 30-х годов и новым значением журналистики как литературного факта. Связь эта, конечно, не причинная; это — использование новых литературно-бытовых условий, отсутствовавших прежде: расширение читательского слоя за пределы придворного и аристократического круга, появление рядом с книгопродавцами особых профессиональных издателей (как Смирдин), переход от альманахов, имевших «любительский» характер, к периодическим изданиям коммерческого типа («Библиотека для чтения» Сенковского) и т.д. В связи с этим историко-литературное значение получает и страстная полемика вокруг вопроса о писательской профессии и о «торговом направлении нашей новой словесности» (знаменитая статья Шевырева «Словесность и торговля», где речь идет, выражаясь нашими совре-

менными терминами, о «заказе» и «халтуре»). Эти факты ведут нас к более раннему моменту — к неожиданному для книгопродавцев коммерческому успеху альманаха «Полярная Звезда» (1823 г.) и поэмы Пушкина «Бахчисарайский фонтан» (1824). Вокруг этой поэмы явилась даже целая «внелитературная» полемика, в которой приняли участие и литераторы (Булгарин, Вяземский) и книгопродавцы. В журналах еще в 1826 г. гонорар представлял редкое исключение. Булгарин, узнав, что в «Московском Вестнике» Погодин собирается платить гонорар, писал ему: «Объявление ваше, что вы будете платить по сту рублей за лист, есть несбыточное дело». Пушкин точно характеризует перемену в положении литературы и писателя, когда в 1836 г. пишет Баранту: «Литература стала у нас значительной отраслью промышленности всего около 20 лет. До этих пор она рассматривалась только как занятие изящное и аристократическое...»

Вместе с этим выходом в «промышленность» писатель 30-х годов выходит из прежней зависимости от стоящего у власти класса и делается профессионалом. Журналы 50-х и 60-х годов — определенные формы профессиональной организации писателей, влияющие на самую эволюцию литературы. Они стоят в центре литературной жизни, их редакторами-издателями становятся сами писатели. Отношение к вопросу о литературном профессионализме приобретает принципиальное значение и отделяет одни писательские группы от других. Характерным и значительным в литературном смысле оказывается теперь обратный процесс: выход из литературной профессии во «вторую профессию», как это было у Толстого, у Фета. Ясная Поляна, в которой замкнулся Толстой, противостояла тогда редакции «Современника», с кипевшей в ней литературной жизнью, как резкий бытовой контраст, как вызов писателя-помещика писателю-профессионалу, «литератору» (каким стал, например, Салтыков). Можно сказать, что роман «Война и мир» явился вызовом не только по отношению к журнальной беллетристике того времени, но и по отношению к «журнальному деспотизму», на который в 1874 г. И. Аксаков жалуетса Н. Лескову: «Полагаю, что довольно только знако-

мить читателей посредством журналов с началом труда, а потом подавать его отдельно. Так сделал граф Лев Толстой с своим романом».

Вот отдельные иллюстрации к понятию литературного быта и к вопросу о соотношении его с фактами эволюции. Формы и возможности литературного труда как профессии меняются в связи с социальными условиями эпохи. Писательство, ставшее профессией, декласирует писателя, но зато ставит его в зависимость от потребителя, от «заказчика». Развивается мелкая пресса (как это и было в 60-х годах), выдвигается фельетон, снижаются высокие жанры. В ответ на это литература, по законам своей эволюционной диалектики, делает обходное движение: рядом с Некрасовым оказывается Фет, «классовость» которого является способом литературной борьбы с журнальной поэзией; рядом с Салтыковым или Достоевским — Толстой, о «классовости» которого в начале 60-х годов свидетельствует Фет: «Сама дворянская литература дошла в своем увлечении до оппозиции коренным дворянским интересам, против чего свежий, неизломанный инстинкт Льва Толстого так возмущался». Для истории литературы понятие «класса» важно не само по себе, как в экономических науках, и не для определения «идеологии» писателя, которая часто не имеет никакого литературного значения; оно важно в своей литературной и литературно-бытовой функции и, следовательно, тогда, когда самая «классовость» выдвигается в этой своей функции. Для русской поэзии XVIII века, насквозь служебной, «классовость» писателя нехарактерна, как, с другой стороны, она нехарактерна или безразлична для русской литературы конца XIX в., развивавшейся в среде «интеллигенции». Как социальный заказ не всегда совпадает с литературным, так и классовая борьба не всегда совпадает с литературной борьбой и литературными группировками. С терминами и понятиями чужих, хотя бы и близких наук надо обращаться осторожно и честно. Не для того литературная наука с такими усилиями освобождалась от обслуживания истории культуры, философии, психологии и т.д., чтобы стать служанкой юридических и экономи-

ческих наук и влачить жалкое существование прикладной публицистики.

Современность привела нас к литературно-бытовому материалу, но не с тем, чтобы увести от литературы и поставить крест на сделанном в последние годы (я разумею литературную науку), а с тем, чтобы заново поставить вопрос о построении историко-литературной системы и понять, что значат совершающиеся на наших глазах эволюционные процессы. Писатель сейчас нащупывает свои профессиональные возможности. Они неопределенны потому, что спутаны в сложный узел самые функции литературы. Вопрос стоит остро: рядом с сугубым профессионализмом, уводящим писателя в мелкую прессу и в «переводничество», растет тенденция освободиться от него развитием «второй профессии», не только чтобы зарабатывать хлеб, но чтобы чувствовать себя профессионально независимым. Мы, исследователи литературы и критики, должны помочь распутать этот узел, а не запутывать его еще крепче, придумывая искусственные группировки, загоняя в тупик «идеологии» и навязывая публицистические требования. Пути и средства такой критики исчерпаны, пора заговорить о литературе.

ЛИТЕРАТУРА И ПИСАТЕЛЬ

Как же ты не видишь, что дух нашей словесности отчасти зависит от состояния писателей?

Пушкин – Рылееву, 1825 г.

1

Вопрос, заданный Пушкиным, как и весь спор его с Бестужевым и Рылеевым, злободневен для нас. Современность поставила перед нами целый ряд подобных вопросов, послуживших темой для диспутов и газетных статей: «писатель и читатель», «писатель и издатель», «литература и социальный заказ», «литературная профессия» и т.д. — все это части одного большого вопроса, одной большой темы: *литература и писатель*.

Нет единой литературы, устойчивой и односоставной, имеющей свою постоянную химическую формулу. Литературный факт и литературная эпоха — понятия сложные и изменчивые, поскольку изменчивы соотношения элементов, из которых строится литература, и их функций. Сегодня литература — это кружок дилетантов, собирающихся для чтения своих стихов или вписывающих их в альбомы «прекрасных соотечественниц», завтра — это толстый «литературно-общественный» журнал, с редакцией и бухгалтерией; сегодня — это высокое «служенье муз», строго охраняемое от уличного шума, завтра — это мелкая пресса, злободневный фельетон, очерк. Бывают, наконец, моменты, когда вместо литературы остается только знак ее и вопрос «как писать» заслоняется вопросом «как быть писателем».

Как разнообразно и изменчиво самое понятие литературы, так разнообразны по своему историческому смыслу и так называемые «литературные кризисы». При желании можно всю литературную эволюцию понимать как непрерывную серию кризисов, поскольку непрерывно меняется и переходит с одних элементов на другие самый *знак литературности*, но эволюционное значение этих кризисов всегда разное.

Если мы и переживаем сейчас один из таких кризисов, то он отличается новыми и особенными историческими чертами. Кризис литературы осложнен сейчас кризисом литературного быта и, прежде всего, — литературной профессии. Перед современным писателем стоит вопрос о самом «*деле литературы*» (выражение Юголя): должен ли писатель быть профессионалом, и если да — то в каком смысле; как относиться к разным формам «заказа» и как понимать этот термин; в каком смысле писатель должен быть «независим» и т.д., и т.д. Книжка В. Шкловского «Техника писательского ремесла» открывается характерным лозунгом: «Не делайтесь профессиональным писателем слишком рано».

Вопросы эти сами по себе не новые, они поднимались и обсуждались много раз на протяжении хотя бы одного XIX века; нова обстановка, в которой они встают теперь, нова их эволюционная роль. Литература начала XX века как

будто не встречалась с этими вопросами лицом к лицу — так, как встретились мы. Если о них и говорили, то в плане академическом. Писатель этой эпохи склонен был смотреть на себя не как на профессионала, а как на высшего представителя «интеллигенции», как на вольного философа. Он не заботился о привлечении к себе читателей — литература занимала высокое положение и довольствовалась небольшим кругом избранных. Журналы пробалялись «вторым сортом» и не имели литературного значения — литература сосредоточилась в сборниках стихов и в альманахах. Социальная проблема литературной профессии («состояние», по выражению Пушкина) разрешалась тесной связью писателя с интеллигенцией, а экономическая — поддержкой со стороны характерных для того времени просвещенных меценатов.

Еще до революции положение это стало заметно изменяться. Футуризм был нарушением не только литературных, но и литературно-бытовых традиций. Писатель вышел «на улицу», литературные выступления стали носить характер общественных скандалов, печатное воздействие уступило место устному. Новый писатель явился под каким-то другим социальным знаком — он не был и не хотел быть «интеллигентом». Самое это слово получило иронический смысл. Футурист — это был, прежде всего, человек нового поведения, новых манер. Он выходил на эстраду с тем, чтобы оскорбить привычные вкусы читателя, демонстрировать ему свое презрение. Вопрос о профессионализме как будто совсем отпал — футуристы действовали сначала как новые дилетанты, пришедшие осмеять «жрецов искусства» и поклоняющуюся им «интеллигенцию».

Значение этого литературно-бытового сдвига, произведенного ранним футуризмом, огромно. Уже в эту начальную пору наметились вопросы, теперь столь злободневные, — революция придавала им только особую социально-экономическую остроту и соответственно изменила их постановку. Уже тогда заложены были основы будущей «производственной» теории искусства, которая потом, в упрощенном виде, стала главным пунктом программы «Лефа». Главный, хотя и скрытый смысл и пафос

этого пункта — литературно-бытовой: им писатель утверждал свою новую профессиональную позицию и оправдывал свой труд — «дело литературы».

Такое решение было естественно для первых лет революции, когда самое существование литературы оказалось под вопросом. Теперь он звучит архаично. Теперь надо уже не спасать литературу, а строить ее. Теперь речь идет не о приспособлении, не об обороне, а о завоевании литературных позиций.

Перед нами — новая теоретическая проблема, выдвинутая жизнью: проблема значения литературно-бытовых фактов в эволюции литературы. Проблема эта уже достаточно затемнена полемикой и диспутами, а между тем она требует серьезного к себе отношения — надо собрать материал, надо сопоставить факты. На материале современности трудно сделать обобщения — необходимо привлечь прошлое и найти в нем аналогии. Проблема эта, по самому своему существу, требует тщательного исторического обследования — именно потому, что литература есть явление не индивидуальное, а социальное.

В этой статье я ограничиваюсь вопросом о литературном профессионализме и выбираю два исторические момента, наиболее богатые аналогиями и потому особенно актуальные для нас: переход от 20-х годов к 30-м и начало 60-х годов. В центре первого стоит Пушкин, в центре второго — Толстой. Материал этих эпох должен помочь нам если не прямо в решении современных вопросов, то по крайней мере в их постановке.

2

Пушкин писал в своем проекте докладной записки в 1831 г.: «Десять лет тому назад литературою занималось у нас весьма малое число любителей. Они видели в ней приятное, благородное упражнение, но еще не отрасль промышленности». То же он повторяет в более позднем письме к Баранту (1836 г., по-французски): «Литература стала у нас значительной отраслью промышленности всего около 20 лет. До этих пор она рассматривалась только как занятие изящное и аристо-

кратическое». Г-жа де-Сталь говорила в 1811 году: «В России несколько дворян занимаются литературой».

Надо, однако, отметить, что в конце XVIII в. была сделана попытка освободить литературу от придворной зависимости и придать ей более самостоятельный профессиональный характер. Я имею в виду Карамзина, который стремился к упрочению «авторства» как профессии, перенося на русскую почву формы западных журналов и альманахов и настойчиво пропагандируя их в тогдашней, очень ограниченной читательской среде. Но все это было непрочно, неопределенно — и ему пришлось, в конце концов, отказаться не только от издания журналов, но и от самой литературы. «Московский Журнал» продержался всего 2 года (1791–92) при 300 подписчиках. В особом обращении к читателям Карамзин жалуется на свое положение: «Если бы у меня было на сей год не 300 субскрибентов, а 500, то я постарался бы на тот год сделать наружность журнала приятнее для глаз читателей... Но как 300 субскрибентов едва платят мне за напечатание двенадцати книжек, то на сей раз не могу думать ни о выписке литер, ни об эстампах». Он переходит от одного плана к другому, от журнала к альманаху, занимается даже одно время составлением «смеси» (фельетона) для «Московских Ведомостей» и наконец разочарованный своими неудачами пишет Дмитриеву (в 1798 г.): «Я рассмеялся твоей мысли жить переводами. Русская литература ходит по миру с сумою и с клюкою: худая пожива с нею!.. Если бы экономические обстоятельства не заставляли меня иметь дело с типографией, то я, положив руку на алтарь Муз и заплакав горько, поклялся бы не служить им более ни сочинениями, ни переводами. Странное дело! У нас есть Академия, Университет, а литература под лавкою...»

Литература уходит в быт — становится делом интимным, домашним, сосредоточивается в письмах, в альбомных посланиях, в *petits jeux*. Это есть та форма, о которой вспоминает Пушкин. Интересно, что даже журналы этой эпохи приобретают оттенок семейной фамильярности и своеобразной беззастенчивости. Таков, например, типичный журнал этого времени — «Благонамеренный» А.Е. Измайлова, интересный именно как особая литера-

турно-бытовая форма. Это было совершенно домашнее предприятие, нечто вроде мелочной лавочки, хозяин которой смотрел на нее как на свое частное дело и подсовывал читателю всякий товар, какой придется: стихи Хвостова, над которыми сам потешался, трагедии купца Ганина, которого дурачил и заставлял подписываться на 50 экземпляров. С читателями Измайлов изъяснялся совершенно по-домашнему; в объявлении о подписке он, например, оправдывался так: «Кто знает опытом, сколь трудно одному человеку, имеющему, кроме литературных, и другие занятия, как, например, целое отделение на руках в одном из министерских департаментов, да жена с детьми и много родных и друзей — издавать в месяц от 8 до 10 печатных листов, тот верно простит, если между многими дельными статьями найдет несколько слабых, помещенных не для личного угождения, а по необходимости». Если номер запаздывал, Измайлов ссылался на масленицу или на то, что дочку надо было отдавать в институт, или провожать родственников на житье-бытье в далекую губернию, и т.д.

К середине 20-х годов положение начинает меняться. Литературный дилетантизм проявляет тенденцию выйти за пределы домашних кружков и салонов — возникают новые планы журналов и альманахов по образцу европейских, являются вопросы о привлечении читателей, встает вопрос о литературном гонораре. Альманах Рылеева и Бестужева «Полярная Звезда» (1823 г.) имеет большой коммерческий успех, а вышедший через год «Бахчисарайский фонтан» Пушкина вызывает бурную полемику не только о романтизме, но и о гонораре, и об отношениях между писателем и издателем или книгопродавцем. Дело в том, что за «Бахчисарайский фонтан» Пушкин получил от книгопродавцев 3000 р., между тем как «Кавказский пленник» (1822 г.) был куплен у него Н.И. Гнедичем всего за 500 руб. Шум поднялся при самом выходе поэмы. «Русский Инвалид» сообщал, что московские книгопродавцы «купили новую поэму *Бахчисарайский фонтан*, сочинение Пушкина, за 3000 рублей. Итак, за каждый стих заплачено по пяти рублей. Доказательство, что не в одной Англии и не одни англичане щедрою рукою платят

за изящные произведения поэзии». Журнал Булгарина «Литературные Листки» объявлял: «*Бахчисарайский фонтан*, поэма А. Пушкина, привлекает в книжные лавки множество покупателей. Этот *фонтан* оживит басню о золотом дожде Юпитера, с тою только разницею, что вместо прекрасной Данаи русские книгопродавцы пользуются драгоценными каплями оною. Вероятно вскоре вовсе не будет в продаже сего прелестного сочинения». Далее выступили и книгопродавцы — началась своеобразная полемика «о Бахчисарайском фонтане не в литературном отношении», которая теперь имеет для нас и литературный интерес. «Молодой книгопродавец» в споре со «старым» рисует обычные для этого времени кустарные отношения между писателем и книгопродавцем: «книгопродавцы наши, которых в целой России очень немного, весьма редко имеют коммерческие отношения с *производителями*, т.е. писателями, покупают сочинения в рукописи весьма редко, а довольствуются продажей книг по комиссии. Лишь только вышла в свет новая книга и покупатели начинают спрашивать ее в лавках, тотчас один из наших собратий является к сочинителю или издателю и предлагает ему *выгодное условие*, дать в лавку на комиссию десяточек экземпляров с уступкою двадцати процентов за труд, т.е. за переноску книги из дома сочинителя в лавку книгопродавца. Деньги уплачивают сочинителю тогда только, когда еще понадобится пяточек экземпляров; в противном случае вырученная сумма поступает на другой оборот» («Лит. Листки», 1824, № 11–12).

1825 год решительно выводит литературу из ее прежнего замкнутого положения. В Москве начинает выходить новый журнал — «Московский Телеграф», при ближайшем участии П. Вяземского; в Петербурге — «Северная Пчела» Булгарина. Определяются литературные группировки, развивается полемика, которая часто касается вопросов литературно-бытового характера. Именно к этому году относится и спор Пушкина с Бестужевым и Рылеевым на тему о «состоянии» писателя в России или, говоря современным языком, о литературной профессии.

Пушкин решительно и один из первых вступает на путь литературного профессионализма, но понимает его

несколько иначе, чем Булгарин и его партия («лавочники литературы», по его выражению). Главный вопрос для него — как добиться «независимости». Его положение сложное: он борется на два фронта — и против литературных торгашей, прислушивающихся ко вкусам публики, и против придворных вельмож, продолжающих смотреть на литературу как на «приятное упражнение». Слово «независимость» то и дело мелькает в его письмах 1823–25 гг. Особенно характерны письма к Казначееву (черновые), правителю канцелярии гр. Воронцова (1824 г.), от прихотей которого в значительной степени зависела в это время судьба Пушкина: «7 лет я службою не занимался, не написал ни одной бумаги, не был в сношении ни с одним начальником. Эти 7 лет, как вам известно, вовсе для меня потеряны. Жалобы с моей стороны были бы не у места. Я сам заградил себе путь и выбрал другую цель. Ради Бога, не думайте, чтоб я смотрел на стихотворство с детским тщеславием рифмача или как на отдохновение чувствительного человека: оно просто мое ремесло, отрасль частной промышленности, доставляющая мне пропитание и домашнюю независимость. Думаю, что граф Воронцов не захочет лишить меня ни того, ни другого». В другом черновике (французском) — еще определеннее: «Так как мои литературные занятия могут дать мне больше денег, то совершенно естественно с моей стороны жертвовать ради них моими служебными занятиями. Вы мне говорите о покровительстве и о дружбе (очевидно — со стороны Воронцова) — два понятия, по-моему, несовместимые... Я стремлюсь только к независимости». В это же время он пишет Вяземскому: «То, что ты говоришь насчет журнала, давно уже бродит у меня в голове. Дело в том, что на Воронцова нечего надеяться. Он холоден ко всему, что не он; а меценатство вышло из моды. Никто из нас не захочет великодушного покровительства просвещенного вельможи. Это обветшало вместе с Ломоносовым. Нынешняя наша словесность есть и должна быть благородно-независима».

Интересно, что в споре с Бестужевым и Рылеевым Пушкин, с чисто профессиональной точки зрения, защищает систему покровительства или «ободрения», но в дру-

гих социальных условиях, при ином соотношении классов. Возражая на статью Бестужева, в которой с большим пафосом и в обычной своей витиеватой манере доказывает, что «ободрение может оперить только обыкновенные дарования», Пушкин приводит факты: «Державин, Дмитриев были в *ободрение* сделаны министрами. Век Екатерины — век ободрений: от этого он еще не ниже другого. Карамзин кажется ободрен; Жуковский не может жаловаться, Крылов также... Из неободренных вижу только себя да Баратынского — и не говорю слава Богу». Далее он ссылается на факты покровительства в отношении Тасса, Ариоста, Шекспира («по заказу Елизаветы»), Мольера, Вольтера. «Державину покровительствовали три царя». Суть вопроса, по мнению Пушкина, не в самом покровительстве, а в характере соотношений: «У нас писатели взяты из высшего класса общества — аристократическая гордость сливается у них с авторским самолюбием, мы не хотим быть покровительствуемы равными. Вот чего подлец Воронцов не понимает. Он воображает, что русский поэт явится в его передней с посвящением или одою, — а тот является с требованием на уважение, как шестисотлетний дворянин — дьявольская разница». В ответ на упреки Рылеева («Ты сделался аристократом; это меня рассмешило. Тебе ли чваниться пятисотлетним дворянством?») Пушкин пишет: «Ты сердисься за то, что я хвалюсь шестисотлетним дворянством (NB. мое дворянство старее). Как же ты не видишь, что дух нашей словесности отчасти зависит от состояния писателей? Мы не можем подносить наших сочинений вельможам, ибо по своему рождению считаем себя равными им. Отселе — гордость etc. Не должно русских писателей судить как иноземных. Там пишут для денег, а у нас (кроме меня) — из тщеславия. Там стихами живут, а у нас граф Хвостов прожился на них. Там есть нечего — так пиши книгу, а у нас есть нечего — так служи да не сочиняй. Милый мой! Ты — поэт и я — поэт, но я сужу более прозаически и чуть ли от этого не прав».

В этом споре обращает на себя особенное внимание то, что выдвигание своего «дворянства» интерпретируется Пушкиным как необходимый, в конкретных условиях тогдашнего писательского «состояния» в России,

принцип профессиональной самозащиты. Он настаивает на том, что, в отличие от других, пишет «для денег» и что судит «более прозаически», т.е. более профессионально. Разница по сравнению с «лавочниками литературы» в том, что под профессионализмом он не понимает обслуживания публики, а требует как неперемennого условия «независимости». В позднейшей статье, уже после ожесточенной борьбы Булгарина с «литературной аристократией», Пушкин прямо заявляет о том, что предпочитает систему покровительства (patronage), как она сохранилась в обычаях английской литературы (Кребб, посвящающий свои поэмы to his grace the Duke etc.), торгашеской системе русских журналистов. Он здесь возвращается к прежнему спору и дополняет свой ответ новыми соображениями: «У нас писатели не могут изыскивать милостей и покровительства у людей, которых почитают себе равными, и подносить свои сочинения вельможе или богачу в надежде получить от него пятьсот рублей или перстень, украшенный драгоценными камнями. Что же из этого следует? Что нынешние писатели благороднее мыслят и чувствуют, нежели мыслили и чувствовали Ломоносов и Костров? Позвольте в том усомниться». Следует картина русских литературных нравов (особенно интересная в черновом тексте), полная желчи и негодования, после чего Пушкин заявляет: «К тому ж, с некоторых пор литература стала у нас ремесло выгодное, и публика в состоянии дать более денег, нежели его сиятельство такой-то или его высокопревосходительство такой-то. Как бы то ни было, повторяю, что формы ничего не значат» (Мысли на дороге, гл. III).

Весь этот материал (а я здесь привожу только частицу его) показывает, какую огромную роль в эту эпоху (примерно в десятилетие 1825–35 гг.) играют литературно-бытовые вопросы и отношения и, в частности, вопрос о том, что такое литературный профессионализм. Литературно-бытовые явления внедряются в самый процесс эволюции и определяют собой многое в литературной борьбе, а иногда и в произведениях. Партия Булгарина, и он первый, шла простым путем «халтуры» — навстречу читательскому «заказу», а основным читателем тогда было «среднее сословие», низкое по своему культурному

уровню. Книгопродавец Овсянников говорит о 20-х годах: «Одна только мода иметь в аристократических и богатых домах библиотеки исключительно поддерживала торговлю. Зажиточное купечество ничего не читало, среднее сословие читало мало, а аристократия читала исключительно иностранные книги». Булгарин употреблял все средства, чтобы заманить читателей и таким способом победить своих врагов, литературных «аристократов», для которых понятие «заказа» было гораздо более сложным. Характерно, что деление на эти два лагеря совпадало с делением тогдашней литературы на прозу и стихи: в булгаринской партии, ориентировавшейся прямо на читателя, царила проза, в группе «аристократов» — стихи. Пушкин видел упадок интереса к стихам и понимал значение прозы как средства укрепить самое положение литературы (недаром он постоянно говорит о прозе в письмах к Вяземскому, Бестужеву, Погодину), но считал, что русский литературный язык еще не дорос до той точности и краткости, какой должен обладать язык прозы.

В этом отношении характерен 1829-й год — год появления «Ивана Выжигина» Булгарина, «Полтавы» Пушкина и «Юрия Милославского» Загоскина. «Выжигин» имеет огромный коммерческий успех — его читают все. В водевиле А. Шаховского «Еще Меркурий, или Романый Маскарад» (1829 г.) перед зрителями проходят главные герои модных тогда русских и переводных романов — в том числе и Выжигин, который рекомендует себя в следующих словах:

Я Выжигин Иван, к услугам всех,
От бар до слуг и от дворян до дворней:
Я вмиг схватил финансовый успех;
Но авторский дается поупорней.

Погодин пишет в это же время Шевыреву: «Полтава Пушкина вышла, но принята холоднее, чем заслуживает... Гораздо больше шуму в Петербурге сделал Выжигин Булгарина. Как литературное произведение — он ничтожен... Несколько статей о нравах, на живую нитку сметанных вместе... Относительное достоинство он имеет для нашей публики, и автор чрез семь дней начал второе изда-

ние». Пушкин сам пишет: «Полтава не имела успеха». Между тем есть основания полагать, что «Полтава» (как отчасти и «Борис Годунов») писалась с некоторым расчетом на «заказ» и потому с надеждой на успех. Пушкин писал ее быстро, но не потому, что был особенно увлечен ею: «Полтаву написал я в несколько дней; далее не мог бы ею заниматься и бросил бы все». Учитывая литературное положение Пушкина в 1829 г., можно утверждать, что работа над «Полтавой» была предпринята с намерением противопоставить «халтуре» Булгарина вещь, достойную литературы и вместе с тем отвечающую «социальному заказу» момента. Любопытно еще, что «Юрий Милославский» Загоскина был встречен Пушкиным приветливо — это был, по-видимому, тактический шаг в борьбе с тем же Булгариным.

Итак, центральный для Пушкина вопрос — вопрос о профессиональной независимости, о сохранении писателем своего достоинства, об обязанности его учитывать «заказ» не читательский (характерно в этом смысле его презрение к современной французской словесности, влияние которой на общество он приписывал «старанию принаравливаться к господствующему вкусу, к мнениям “публики”»); ср. в черновом: «Как бесстыдно ползают они перед господствующими людьми!»), а заказ литературный. В связи с этим выдвинутый Пушкиным около 1825 г. и настойчиво, несмотря на упреки близких друзей, поддерживаемый и подкрепляемый им принцип — отстаивание своего «дворянства» — получает особый литературный смысл. Дело тут вовсе не в «классовом самосознании» самом по себе¹, а в том, что Пушкин в борьбе за профессиональную независимость мобилизует все средства: для борьбы с Булгариным — журнал, прозу, фельетон и т.д., для борьбы с Воронцовыми — свое дворянское достоинство. Иначе говоря, «дворянство» приобретает для него в этот момент значение орудия в борьбе за «дело литературы», становится своего рода профессиональным лозунгом. Именно в этом отношении характерен спор его с Бестужевым и Рылеевым («я сужу более прозаически»), и именно с этой стороны «классовость» Пушкина важна для историка литературы. Надо учитывать, при каких литературно-бы-

¹Д. Благой. Классовое самосознание Пушкина. М., 1927.

товых условиях Пушкин заговорил о своем «дворянстве». Понятие литературной профессии не связывалось у него ни с положением деклассированного литератора, приносившегося к вкусам публики, ни с положением покровительствуемого «просвещенным вельможей». В борьбе за такое положение писателя Пушкин шел и на компромиссы, и на уступки — и в конце концов погиб в ней, повторив почти карамзинский путь, но в более трагическом ракурсе.

Литература пошла иначе — мимо пушкинских принципов. Явилась «Библиотека для чтения» Сенковского — журнал совершенно «коммерческий», ориентированный на провинциального читателя. Булгаринская линия в этом смысле победила — писатель превратился в профессионала-ремесленника. Никакой «Современник» Пушкина, никакой «Московский Наблюдатель», никакие усилия «аристократов» (в том числе и Гоголя — см. его письма к московским литераторам и его статью в «Современнике», 1836 г., № 1) не могли ничего изменить. Старое поколение устами Шевырева прокричало свою анафему (см. его статью «Словесность и торговля» в «Моск. Набл.», 1835, № 1) — и отошло. Воцаряется «торговое направление». Гоголь эмигрирует, а традиции «высокой» литературы поддерживаются в среде новых дилетантов, каким был, например, Лермонтов, каким стал потом сознательно Фет. Приближается эпоха журналистики, фельетона, очерков, эпоха соревнования публицистов, эпоха борьбы редакторов между собой и с сотрудниками — эпоха профессиональная в полном смысле этого слова.

3

В 1840 г. Полевой пишет брату: «Журналов время кончилось, мой любезнейший, по крайней мере в той форме, началом которой был “Телеграф”, а концом будут “Отечественные Записки”. Иные дни, иные годы!»

Начало сороковых годов в литературе — время итогов. Беллетристика — неуверенная, оглядывающаяся назад; поэзия — еще более робкая. Это — время философских кружков, развития новой «интеллигенции», время теории,

критики, время Станкевича, Белинского, время людей со сложной духовной жизнью и еще более сложными разговорами о ней, людей с «судьбой», но без «биографии», время «рефлексии», надрыва. В литературе — заминка. Так, по крайней мере, продолжается до 1846–47 гг., когда обнаруживаются признаки какого-то нового движения.

Вдруг является решение — порвать с прошлым, освободиться от гипноза «высокой» литературы, отойти и от Пушкина и от Гоголя. «Иные дни, иные годы». Русский писатель делается профессиональным литератором и издателем. В обход традиционным журналам, идущим вслепую, возникают новые сборники и альманахи — вроде «Физиологии Петербурга» или «Петербургского Сборника». В своем «вступлении» к «Физиологии» Белинский, объединившийся с Некрасовым, выдвигает характерный лозунг — необходимость создания *«легкой литературы»*, потребность в «обыкновенных талантах», по образцу французской словесности. Перечислив имена наших «гениальных» писателей и названия их главных произведений («творения строгого искусства»), Белинский пишет: «Высокий талант, особенно гений, действует по вдохновению и прихотливо идет своею дорогою; его нельзя пригласить в сотрудничество по изданию книги, ему нельзя сказать: “Напишите нам статью, которой содержание касалось бы петербургской жизни, а то, что вы предлагаете для нашей книги, нейдет к ней, и нам этого не надо”. Притом же слишком много нужно было бы гениев и великих талантов, чтоб публика никогда не нуждалась в литературных произведениях, удовлетворяющих потребность ее ежедневных досутов. Иногда в целое столетие едва ли явится один гениальный писатель: неужели же из этого должно следовать, что иногда целое столетие общество должно быть совсем без литературы? Нет! Литература, в обширном значении этого слова, представляет собою целый живой мир, исполненный разнообразия и оттенков, подобно природе, произведения которой делятся на роды и виды, классы и отделы, и от громадных размеров слона доходят до миниатюрных колибри. Бедна литература, не блистающая именами гениальными; но не богата и литература, в которой все — или произведения

гениальные, или произведения бездарные и пошлые. Обыкновенные таланты необходимы для богатства литературы, и чем больше их, тем лучше для литературы. Но их-то — повторяем — у нас всего меньше и оттого-то публике и нечего читать».

Итак, ставка на «обыкновенные таланты» и на обыкновенную публику. Статья Белинского — это целая программа, манифест. Своего рода манифестом или программой является и весь сборник. Из этой новой программы рождается в 1847 г. и новый журнал — «Современник». Писатели, вступившие в литературу раньше (в начале 40-х годов) и оглядывавшиеся назад, на «классиков», были смущены. Так было, например, с Тургеневым, который вспоминает, как он «возымел твердое намерение вовсе оставить литературу; только вследствие просьб И.И. Панаева, не имевшего чем наполнить отдел смеси в 1-м номере “Современника”, я оставил ему очерк, озаглавленный “Хорь и Калиныч”. (Слова: “Из записок охотника” были придуманы и прибавлены тем же И.И. Панаевым, с целью расположить читателя к снисхождению.) Успех этого очерка побудил меня написать другие; и я возвратился к литературе».

Но это было только начало того процесса, который определился к середине 50-х годов и поставил перед писателем все те сложные вопросы, которые в иной форме стояли перед Пушкиным и которые заново стоят перед нашим поколением — что такое «дело литературы», как быть писателем.

Призыв Белинского и Некрасова осуществлялся на деле в большей степени, чем они сами, вероятно, ожидали. Литература потекла из всех углов — образовалось настоящее половодье, в котором можно было захлебнуться. Эпоха «мастеров» кончилась — литература стала не только общественным, но и общим делом. Место «повестей» заняли очерки, фельетоны. Пришел новый писатель, для которого словесная культура 20–30-х годов была не только чужда, но и неизвестна. Такова была историческая необходимость.

Журналы плодились и размножались в невероятном количестве. Н. Лейкин вспоминает: «Маленькие жур-

налы тогда возникали быстро, приостанавливались, переходили из рук в руки и так же быстро погибали в новых руках. Издатели почему-то думали, что начать издавать журнал можно без затраты, что подписчики на него тотчас так и посыплются и журнал сейчас же будет окупать себя, но на деле это было не так». Издателями делались люди самого разнообразного положения и типа — и граф Кушелев-Безбородко («Русское Слово»), и откуда-то вынырнувший Лев Камбек («Петербургский Вестник»), увековеченный Достоевским в «Бесах» и кончивший свою карьеру в увеселительном заведении «Хуторок» (на Каменноостровском проспекте), распорядителем которого он был. Разнообразны были и писатели, если не ограничиваться редакциями «Русского Вестника» или «Современника», где все-таки сосредоточился тогдашний литературный «генералитет». Можно без преувеличения говорить о «гостинодворской» литературе конца 50-х годов — и литература эта не оставалась за прилавком, а попадала в печать («Русский Мир», «Иллюстрированная газета», «Петербургский Вестник» и др.); из нее вышел Лейкин. Некоторые лавки Гостиного Двора, или Мариинского рынка, превратились в литературный клуб — профессии перепутались. У А. Иванова (псевдоним — «Классик», поэт) была суконная лавка в Чернышевском переулке — тут собирались литераторы и актеры поговорить о литературе и купить себе на брюки. «В лавке Иванова (вспоминает Лейкин) только и говорили что о литературе, так что присутствующие при этом истинные покупатели и те просвещались». Поэт-юморист Жулев и драматург Чернышев (они же — молодые актеры Александринского театра) знакомятся с Лейкиным в лавке букиниста Терского: узнав, что Лейкин служит в Гостином Дворе, Жулев говорит Чернышеву: «Стало быть, теперь у нас есть трое знакомых купцов-гостинодворцев: парфюмер Михаил Иванович Пыляев, суконщик Алексей Федорович Иванов и оптовик Лейкин, помимо книжника Рыкушина... мы у Пыляева покупаем духи, помаду и фиксажур, а у Иванова трико на брюки. Суконщик и поэт. Стихи пишет. Познакомьтесь».

А под стихами тогда понималось многое. В стихи, например, перелагали... Салтыкова («Рассказ арестанта» А. Ро-

зенштрема, из «Губернских Очерков» — «Петербургский Вестник», 1861 г.) — и получалось:

Я в деревне своей работал и гулял,
Только пьяницей я никогда не бывал!
Беззаботно я жил, ни о чем не тужил,
И с семьею своей заработки делил.
Полюбилась мне у солдата жена,
Да и правду сказать ведь была не дурна,
Ну и муж-то притом был в отлучке у ней;
Обращалась она с мужиками вольней

и т.д.

А в других углах, далеко от Гостиного Двора, писали и погибали «разночинцы», проклиная издателей и редакторов — в том числе и Некрасов. Н. Успенский вспоминает о Левитове: «А.И. был озлоблен на весь мир, особенно на издателей и редакторов, которых называл эксплуататорами. Энергия его к труду и литературная производительность заметно слабели с каждым днем, хотя имя его пользовалось такою громкою известностью, что каждый новый издатель считал долгом пригласить автора “Степных очерков” к себе в сотрудники; в свою очередь, Левитов считал необходимым “заполучить авансу”, как он выражался, с нового “эксплуататора”...» — «Да с ними иначе и нельзя, — пояснял А.И. — Они строят себе дома, ездят в каретах, а наш брат ходит чуть не на голенищах... Вон Некрасов купил себе огромное имение и соорудил винокуренный завод, — это поэт-то, оплакивающий меньших братьев». Другая сцена — Помяловский у Н. Успенского: «Слушай, Успенский, вдруг обратился ко мне с вопросом Помяловский: ведь мы с тобой сила... не правда ли? Давай бросим литературу!.. Ведь ты очень хорошо знаешь, что ее судьбами заправляют эксплуататоры, которые высасывают из нас кровь... — Ну, а чем же мы с вами будем заниматься? — Во-первых, откроем булочную... Это, я тебе скажу, очень выгодно... потому, тут главную роль играет припек... затем, сами будем издавать какой-нибудь дневник или газету...» Достаточно прочитать эту книжку воспоминаний¹ (сцены с Некрасовым, Толстым, Тургеневым),

¹Н. Успенский. Из прошлого. Воспоминания. М., 1889.

чтобы понять сложность и напряженность литературно-бытовых отношений в эту эпоху. А разрешались они жутко — Н. Успенский, всеми забытый уже к концу 60-х годов, жил еще 20 лет, собирая подаяние игрой на гармонике и рассказами народных сцен в вагонах, — пока не зарезался в 1889 г.

4

Как же вели себя и как разрешали все эти вопросы другие писатели, для которых литература, хотя и оторванная от пушкинских традиций, была все же «высоким служением»?

Салтыков в начале 60-х годов написал очерк «Литераторы-обыватели», в котором сатирическими чертами изобразил «Корытниковых» — распространенную тогда разновидность («колибри», по схеме Белинского) журналистов-«обличителей». Это, в сущности, не только очерк, но и своего рода практическое руководство, правда, полное иронии. Салтыков рекомендует Корытниковым писать свои статьи так: «Января дня 18... года. Город Полоумнов. Сего числа Удар-Ерыгин в присутствии всех проглотил шпагу, или, точнее сказать, скрал целое дело (имярек); он показал при этом столь замечательное проворство, что никто даже не ахнул». (*Туземец.*) И довольно! Неужели вы думаете, что статья эта, несмотря на свою сухую, летописную форму, менее задерет Удар-Ерыгина, нежели та же статья, разбавленная рассуждениями о том, что «в наше время, когда, казалось бы, воровство преследуется повсюду», или о том, что «в наше время, когда привычки законности мало-помалу проникают во все административные трущобы и т.п.».

Любопытную интерпретацию этому нашумевшему тогда очерку дает в своих мемуарных набросках Г. Елисеев (со слов Н. Михайловского): «Одни усматривали в очерке незаконное, презрительно-аристократическое отношение генерала от литературы к литературной мелкой сошке, которая, однако, делает то же самое дело, что и он. Другие выражали удовольствие, что Щедрин, патриарх и заводчик обличительной литературы, решил наконец

своею насмешкой положить предел потоку назойливых обличений. Елисеев совсем иначе и, конечно, гораздо правильное толкует очерк Щедрина. Он рассуждает приблизительно так. Писатели, начавшие, как Щедрин, работать в сороковых годах, были люди, в большинстве случаев, дворянского происхождения, хорошо, на готовых хлебах воспитанные и иногда блестяще образованные, а это блестящее образование давало широкие горизонты и соответственные требования от жизни. Эти люди тяготились мраком дореформенного режима и страстно жаждали обновления родины, которое представлялось им в не совсем, может быть, определенных, но прекрасных и величавых формах. Но когда в конце пятидесятых годов обновление наступило, некоторые из них даже не узнали его, потому что оно подняло с низших слоев русского житейского моря элементы, оскорблявшие их тонко развитый вкус. Они вполне разделяли лучшие упования нового времени, но с брезгливым изумлением смотрели на нахлынувших разночинных носителей этих упований и подчас заходили очень далеко в этом отношении. Брезгливость доходила до такой степени, что неприглядная форма заслоняла для них самую сущность дела. Салтыков не повинен в этом грехе, но и он был не чужд брезгливости. Она-то и сказала в очерке *литераторы-обыватели*.

Итак — опять знакомые темы, опять разговоры о «литературной аристократии», о «дворянстве», только в еще более подчеркнутой социальными противоречиями форме. И в самом деле — Тургенев, Толстой, Салтыков, Фет, Дружинин, Анненков, Боткин... Для них «дело литературы» — что-то совсем иное, чем для Н. Успенского, Помяловского, Левитова. Некрасов оказался «двойственным» и возбуждал ненависть с обеих сторон.

Тургенев, еще в 1847 г. задумавший бросить литературу, с конца 50-х годов собирается бросать ее почти после каждого своего нового произведения, а в своем очерке «Довольно!» объявляет об этом во всеуслышание. В 1860 г. — какое-то повальное настроение «отставки», повальная паника и бегство. Тургенев пишет Фету: «Работ литературных никаких пока не предпринимаю; да судя по

отзывам так называемых молодых критиков, пора и мне подать в отставку из литературы. Ведь мы попали с вами в число Подолинских, Трилунных и других почтенных отставных майоров. Что, батюшка, делать! Пора уступать дорогу юношам. Только где они, где наши наследники?»

Но больше всех беспокоится, «чудит» и беспокоит других Лев Толстой. После Севастополя он погружается в литературные дела, сходится с Дружининым, принимает участие в организации Литературного фонда, пишет, печатает, собирается организовать журнал. За ним пристально следят писатели и обсуждают каждый его шаг — он моложе их, он почти не знает «сороковых годов». И вдруг — Толстой бросает литературу, «Современник», Петербург и уезжает в Ясную Поляну учить крестьянских детей. Уже в 1857 г. он пишет Боткину: «Слава Богу, я не послушал Тургенева, который доказывал мне, что литератор должен быть только литератор». А Тургенев писал в это время Анненкову, сообщавшему о лесном проекте Толстого: «В ответ на это я у него спрашивал, что же он такое: офицер, помещик и т.д?.. Оказывается, он лесовод. Боюсь только, как бы он этими прыжками не вывихнул хребта своему таланту». Позже, в 1860 г., Тургенев писал Фету опять о Толстом: «А Лев Толстой продолжает чудить. Видно так уже написано ему на роду. Когда он перекувырнется в последний раз и станет на ноги?»

Я ограничиваю здесь материал — он колоссален и может вместиться только в книгу. Все дело в том, что эпоха, о которой я говорю, выдвинула перед писателем типа Толстого, Тургенева, Фета, Салтыкова, Некрасова («аристократия») вопросы литературно-бытового порядка — и прежде всего вопрос о литературной профессии, о писательской «независимости». Для одних этот вопрос решался прикреплением к журналу, со всеми вытекающими отсюда литературными и литературно-бытовыми последствиями. Для других вопрос оказался сложнее и больше всего для Толстого. Журнально-профессиональная атмосфера тяготила его уже в 1856 г. В дневниках этого времени (1856–58 гг.) есть характерные записи: «Был у Дружинина и Панаева, редакция “Современника” противна... Спорили с Боткиным о том, представляет ли себе поэт

читателя или нет... Отвратительная литературная подкладка... Надо писать тихо, спокойно, без цели печатать». Он недоволен тем, что пишет. «Семейное счастье» (1858 г.) после появления в печати приводит его в ужас. И вот — является мысль о «бегстве» от профессионализма, от литературы в «некрасовском» смысле слова. Происходит обратное движение — в свой класс, в помещичье дело, во «вторую профессию». Ясная Поляна — другой литературно-бытовой полюс по отношению к редакции «Современника» со всеми ее литературно-профессиональными дрязгами, ссорами и пр.

В статье Толстого «Прогресс и определение народного образования» (1862) ясно видна подоснова его новых занятий, столь, казалось бы, посторонних литературе: «Для меня очевидно, что распространение журналов и книг, безостановочный и громадный прогресс книгопечатания был выгоден для писателей, редакторов, издателей, корректоров и наборщиков. Огромные суммы народа косвенными путями перешли в руки этих людей. Книгопечатание так выгодно для этих людей, что для увеличения числа читателей придумываются всевозможные средства: стихи, повести, скандалы, обличения, сплетни, полемика, подарки, премии, общества грамотности, распространение книг и школы для увеличения числа грамотных. Ни один труд не окупается так легко, как литературный. Никакие проценты так не велики, как литературные. Число литературных работников увеличивается с каждым днем. Мелочность и ничтожество литературы увеличивается соразмерно увеличению ее органов... Литература так же, как и откупа, есть только искусная эксплуатация, выгодная только для ее участников и невыгодная для народа. Есть *Современник*, есть *Современное Слово*, есть *Современная Летопись*, есть *Русское Слово*, *Русский Мир*, *Русский Вестник*, есть *Время*, есть *Наше время*, есть *Орел*, *Звездочка*, *Гирлянда*, есть *Грамотей*, *Народное Чтение* и *Чтение для народа*, есть слова в известных сочетаниях и перемещениях, как заглавия журналов и газет, и все эти журналы твердо верят, что они проводят какие-то мысли и направления».

И занятия хозяйством, и педагогическая работа были нужны Толстому не сами по себе, а чтобы создать для себя нужную писательскую атмосферу — чтобы написать «Войну и мир». Роман этот насквозь полемичен — и своими 80-ю печатными листами, и своим материалом (не очерки, не крепостное право, не современность), и своей конструкцией. В 1863 г. Толстой с гордым самоудовлетворением пишет Фету: «Я живу в мире столь далеко от литературы и ее критики, что, получая такое письмо, как ваше, первое чувство мое — удивление. Да кто же такое написал Казаков и Поликушку?»

Фет пишет в своих «Воспоминаниях» о конце 50-х годов — по поводу появления разночинцев в журналах и издательствах: «Сама дворянская литература дошла в своем увлечении до оппозиции коренным дворянским интересам, против чего свежий неизломанный инстинкт Льва Толстого так возмущался». Для историка литературы «классовость» Толстого оборачивается особой стороной — той самой, которая обнаружилась и у Пушкина. Деклассированный своим профессионализмом Некрасов проявляет свою «классовость» вне литературы; Толстой, в борьбе против журнального профессионализма, делает свою «классовость» литературно-бытовым фактом и противопоставляет этот литературный путь тургеневскому — компромиссному, беспринципному методу раздраженного литератора «сороковых годов».

Кто вздумает смотреть на эти факты как на индивидуальные, или усомниться в значении этих литературно-бытовых проблем для эпохи, пусть посмотрит журналы 1859–65 годов — они пестрят статьями на тему о литературной профессии, о журналистике, о литературной собственности и т.д. Напомню кое-что. В «Современнике» 1861 г. (т. 89) — статья Т.З. (Н. Шелгунова) «Литературные рабочие». Автор в ужасе от развития периодических изданий — местами статья его почти совпадает со статьей Толстого: «Попробуйте перепечатать “Век” в формате “С.-Петербургских Ведомостей”, шрифтом ведомостей, а внизу подпишите: “редактор Очкин” и “печатано в типографии императорской академии наук” — и поверьте, что ни один из постоянных подписчиков “С.-Петер-

бургских Ведомостей” не заметит подлога. Сделайте то же самое с “С.-Петербургскими Ведомостями”, т.е. напечатайте их в размере и шрифтом “Века”, подпишите “редактор Вейнберг” и “печатано в типографии Безобразова и К”, и ни один подписчик не догадается, что вместо “Века” он читает “С.-Петербургские Ведомости”. Так же точно “Век” можно превратить в “Сын Отечества”, а “Сын Отечества” в “Век”... Зачем же такое множество газет и журналов, зачем же одна Россия издает их до двухсот? Зачем все они хором повторяют одно и то же?» Шелгунов ставит вопрос — какая же разница между таким литератором-ремесленником и обыкновенным фабричным рабочим, и отвечает: «Он принялся за литературу только потому, что нужно же чем-нибудь существовать, — языком владеет, знаком с историей, политикой, подчас может накропать и стишки — отчего же не написать? Разумеется, если бы были деньги, фабрика, что-нибудь обещающее большие выгоды, чем литература, лучше бы заняться фабрикой; а когда ее нет — конечно, и литературный труд недурен... Явилось много охотников-издателей потому, что некоторые прежние редакторы построили себе дома, обзавелись экипажами... Бедные сотрудники, взявшиеся за литературу, за переводы и составление оригинальных статей, потому что труд этот показался им легче другого, превратились в литературных поденщиков, и с каждым новым журналом только плодится число бесполезных людей, воображающих, что переливать из пустого в порожнее — значит делать дело, и втянувшись в эту работу, эти жалкие труженики начинают даже гордиться своим положением: литературный пролетарий не хочет быть ничем, кроме как литератором, жить исключительно литературным трудом». Практическое предложение автора — объединиться журналами в ассоциации, по определенным направлениям.

В ответ на это «Время» (1861 г., т. VI) печатает язвительную статью «Литературные законодатели» (*Я. Коси*, т.е. Страхова), где Шелгунов сравнивается с калифом Омаром, велевшим сжечь александрийскую библиотеку. Пожелания Шелгунова формулируются здесь наглядно: «1) уменьшить число выходящих книг и журналов; 2) уменьшить число

лиц, занимающихся литературою». Страхов высмеивает предложения Шелгунова и кончает полемической остротой: «Пусть все трудятся по мере сил и умения. Самого г. Чернышевского, несмотря на его блистательные дарования, я не решился бы заставить писать о земледелии. Самому г. Т.З., порешившему все вопросы, я не дал бы права сказать кому бы то ни было: тебе незачем писать! Нет, ни за что на свете!»

А в «Современнике» 1862 г. (т. 92) выступил и Чернышевский со статьей «Литературная собственность (Фантазия)». Он поддерживает Шелгунова и, как ни странно такое сочетание имен (это-то и характерно для эволюции литературно-бытовых отношений), заставляет нас вспомнить знаменитую статью Шевырева — «Словесность и торговля». Чернышевский не только против законов о «литературной собственности», но и против «литературной промышленности», против «коммерческого» направления. «Все зло в этом случае именно в том, что литература сделалась торговлей, что на нее смотрят как на средство к существованию... Меркантильный характер литературного дела не обнаруживает вредного влияния только на таланты гениальных и сильно даровитых людей. Но много ли таких писателей? Затем все остальные, пишущие из-за денег, истощают свои последние силы, распуская их в многословии и избытии писания... Нынче все и везде пишут длинно, потому что это выгоднее, чем писать коротко... Выход из этого литературного разврата один: нужно, чтобы литература не служила куском насущного хлеба. Пусть человек добывает его другим путем... Нужно, чтобы не существовало людей, посвятивших себя исключительно литературному труду и незнающих другого занятия, кроме вечного писанья статей и повестей».

Я сопоставлю с этим цитату из современной книжки: «Сейчас несколько тысяч писателей. Это очень много. Современный писатель старается стать профессионалом лет 18-ти и не имеет другой профессии, кроме литературы... Для того чтобы писать, нужно иметь другую профессию, кроме литературы... Писатель должен иметь вторую профессию не для того, чтобы не умирать с голода, а для того, чтобы писать литературные вещи»¹.

¹В. Шкловский. Техника писательского ремесла. М., «Молодая Гвардия», 1927.

Шевырев — Толстой — Шелгунов — Чернышевский — Шкловский. Линия неожиданная? Таковы законы истории и, в частности, истории литературы.

Я здесь не делаю и не хочу делать общих выводов — ни теоретических, ни практических. Статья эта — черновик книги, «брульон», как говорили в старину. Я хочу только показать часть материала, без изучения которого нельзя решать вопросов литературного быта, стоящих перед нами. Я хочу только убедить, что вопросы эти сложны и многообразны и что подходить к ним надо с большой осторожностью — особенно в обстановке и в условиях нашего времени, поставившего их с небывалой остротой.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ДОМАШНОСТЬ

Жизнь литературы не исчерпывается выходом в свет книг и журналов с новыми стихами, романами и рассказами. Прилавок книжного магазина, на который ложится в ожидании покупателя новая книга — это нечто вроде эстрады, на которой является артист перед публикой. Кроме этой «эстрадной» жизни у литературы, как и у других искусств, есть жизнь более интимная, но еще не уходящая в область быта вообще, а только скрещивающаяся с ним. Список всех книг, появившихся за какой-нибудь период времени, еще не дает полного представления о литературной жизни. Не говоря о постоянно существующей и иногда очень характерной рукописной литературе, в этот список не войдет самая история возникновения этих книг, а между тем она иногда очень важна — если не для современников, то для историков. Каждая книга имеет не только свою судьбу, но и свое прошлое.

Писатель работает не в одиночку, а бок о бок со своими единомышленниками, товарищами по ремеслу и т.д. Образуются «кружки», «группы», устраиваются собрания, заседания или просто «вечеринки». Эти формы общения меняются, то приближаясь к наиболее «домашним», то развертываясь в сторону большей общественности или публичности — как меняется самый тип литератора от

поэта-дилетанта до журналиста-профессионала, как меняется и сама литература, от альбомной лирики до газетного фельетона.

Это не значит, конечно, что в каждую эпоху существует только одна из форм. Как всегда в истории, в любую эпоху можно обнаружить сосуществование разных форм и типов — меняются их обличья, их литературные и социальные значения: знак исторической характерности переходит с одних на другие. Формы эти, как и все в истории, соотносительны — ни одна не пропадает вовсе и не возникает совсем заново.

Литературные кружки и салоны особенно характерны для русской культуры начала XIX века. Они существовали в быту, конечно, и до этого, но не имели значения факта. Домашние альбомы наполнялись стихами, но за пределы альбомов стихи эти не шли. В начале XIX в. эти «домашние» формы поэзии, в связи с отходом от придворной оды, используются как литературное новаторство, как новый жанр, а вместе с этим приобретают новое литературно-бытовое значение и самые формы кружкового или салонного общения. Основной стиховой жанр этой эпохи — «альбомная» лирика, а основной тип литератора — поэт-дилетант, не стремящийся уже к положению придворного «певца» и еще не нуждающийся в публичной «эстраде».

«Домашность» как литературно-бытовая позиция принимает у некоторых поэтов этой эпохи особенно резкую и принципиальную форму. Таков, например, Языков. Темами его стихотворений служат мельчайшие факты домашней жизни. Альбом Воейковой или альбом Дириной — вот главные «органы», в которых он «сотрудничает». О своем стихотворении «Каким восторгом ты пылаешь» он сообщает брату: «Восейкова, не знаю каким из духов подземного царства возбужденная, подарила в знак памяти Тютчеву, которого ты знаешь заочно, перчатку: к моему соллобовнику написал я следующие стихи». Печатание стихотворений мало интересует его: «Ежели хочешь, пожалуй, отдай Булгарину стихи о перчатке», — пишет он в ответ на запрос брата. Когда Языкову нужно написать что-нибудь специально для печати, он делает это с трудом и неохотой:

«Мысль, что я должен поэтствовать на заказ для Альманахов, может охладить мою Музу». На новое требование он отвечает: «Жаль, что здесь нет теперь, например, Воейковой: тогда бы я мог даже на заказ написать что-нибудь дельное». Близкие и соотносительные для него понятия — «литература и жизнь семейственная». Получив от сестры подарок, он пишет родным: «Парашу буду благодарить за мешок на табак стиховно: этот подарок такой важности, что требует поэзии для соответствия, а я и рад случаю писать стихи».

Если уж надо печатать свои стихи (пристают издатели и друзья), то Языков предпочитает отдавать их в альманахи, а не в журналы, принципиально и очень определенно различая эти типы изданий. Появление «Полярной Звезды» он приветствует: «Полярная Звезда мне очень понравилась: это большое похищение у журналистов наступившего 1823 года», а о «Московском Телеграфе» говорит с раздражением («Телеграф становится пуще и пуще: какая глупость и непросвещенность в его самонадеянных приговорах!») — и именно тогда, когда Пушкин, порывая с «домашностью», борется за журнал против альманахов. Разница их литературно-бытовых позиций ясно сказывается в характернейшем письме Языкова от 2 января 1827 г.: «Пушкин находится теперь в Москве; пишет мне, что мое Тригорское будет напечатано во 2 номере “Московского Вестника”, и приглашает прочие мои будущие стихи туда же. Он, видно, принимает деятельное участие в сем журнале; не в охулку сказать почтенному поэту, а участвовать в журнале — дело не поэтическое; журнал в быту литературном то же, что почтовая телега в мире вещественном: приятно иногда, даже полезно нашему брату полнокровному на ней проехаться, но совсем другое — ее везти или быть ее конеправителем». О том же он пишет 21 января 1827 г. А.Н. Вульффу: «Он (Пушкин) ко мне писал из Москвы: манит и блазнит меня посылать стихи мои в “Московский Вестник” и хочет, кажется, вовсе втянуть меня в эту единоторговицу словесности русской. Говорит, что пора задуть Альманахи, — и, конечно, этот будущий удушитель сих пигмеев есть “Московский Вестник”. Замечу мимо-

ходом, что едва ли альманахи вредят успехам Парнаса более, нежели журналы»¹.

Это непонимание и несогласие современников — факт исторический. Здесь столкнулись разные литературно-бытовые системы: Пушкин идет к профессионализму, к журналистике, к «эстраде», Языков защищает архаические для конца 20-х годов формы интимной «домашности». В 1826 г. он сообщает брату «абрис» своей будущей жизни: «Я перееду навсегда, навсегда жить в деревню, с книгами, с пылким желанием и крепкими силами далее просвещаться, буду проводить время в занятиях великодушных, в жертвах учению и Музе, совершенно свободный, не имеющий обстоятельств, приличий, забывающий все, кроме высокого и прекрасного». Кстати, в цитированных письмах Языкова уже налицо наши злободневнейшие термины — «заказ» и «литературный быт»: лишнее подтверждение того, что в истории меняются не столько факты и слова, сколько их значения.

«Семейственность» уступила свое место «салонности», которая, в свою очередь, потеряла свое литературно-бытовое значение в эпоху журналистики. Альбом стал опять делом всецело домашним, но самая «домашность», в новых формах, еще не так давно опять явилась в нашей литературе — хотя бы в книгах Розанова. Кружки символистов и самые стихи их, насыщенные, особенно в первые годы, кружковой семантикой, тоже свидетельствовали о своеобразном вырождении старых литературно-бытовых традиций. У акмеистов была тенденция воскресить альбомные жанры и создать «домашнюю» лирику (Анна Ахматова).

Революция принесла с собой не только новые жанры оды, но и широкие организации профсоюзного типа; однако потребность в создании иных литературно-бытовых форм резко ощущается. Этим отчасти объясняется, вероятно, такой повышенный интерес к литературным мемуарам и биографическим материалам.

¹Пушкин писал Языкову 21 ноября 1826 г.: «Тригорское ваше с вашего позволения напечатано будет во 2 номере “Моск. Вестн.” — Рады ли вы журналу? Пора задуть Альманахи».

Публичность и домашность соотносительны. Поэзия вечеринок и кружков, носящая совсем «местный» характер, рукописные эпиграммы, пародии и экспромты, живущие на одних правах с анекдотами, — все это, постоянно пребывающее в быту, может в любой момент быть призвано в литературу.

История не принадлежит к числу бескорыстных, чисто теоретических наук (если такие вообще есть). Кто-то в шутку назвал ее «пророчеством назад». Это вовсе не так странно, как может показаться. Да, мы пророчествуем назад, чтобы таким образом разобраться в современности — потому что не можем пророчествовать вперед. Мы ищем в прошлом ответов и аналогии — устанавливаем «закономерность» явлений.

История — особый метод изучения или истолкования современности.

КРИТИКА

ДЕЛО ЛИТЕРАТУРЫ

ГОГОЛЬ И «ДЕЛО ЛИТЕРАТУРЫ»

Каждая эпоха читает писателя, даже если он «классик», по-своему, своекорыстно. И есть случаи, когда писатель выпадает из кругозора целой эпохи — даже если он «классик». Легенда о «вечных спутниках» не оправдывается историей.

Литературное своекорыстие нашей эпохи — совсем особое: оно образовалось в результате бурных отрицаний и дерзких отрывов от традиций. И что же? Мы оторвались от литературы, от «дела литературы». Стали раздаваться испуганные голоса — об «учебе», о том, что нужно идти «назад, к простоте Пушкина и Льва Толстого». Голоса эти свидетельствуют только о наивности и упадочности настроений. Легенда о «простоте» еще хуже легенды о «вечных спутниках». Идти нужно не назад и не вперед, а в сторону, — так идет каждое искусство, если оно сознает свое дело.

В сторону от традиций! — Но чтобы сворачивать, надо знать направление.

Мы потеряли ощущение «дела литературы». Вопрос совсем не в «учебе» — о, если бы этому можно было научиться! Вопрос — в исторических судьбах. Основная литературная проблема нашей эпохи — не «как писать», а «*как быть писателем*». Под вопросом стоит не литература сама по себе, а *писательство* — как труд, как дело, как назначение. Утрачены формы литературной жизни, зыбок литературный быт.

Вот почему, когда мы обращаемся теперь к «классикам», нас поражает прежде всего сила голоса, напряженность литературной личности, писательского сознания,

хотя бы и в трагическом его развитии. Вот почему, когда мы теперь берем Гоголя, то своекорыстно, зная собственную беду, с волнением читаем его «Авторскую исповедь» и те места его писем и статей, где он говорит о писательстве, о «деле литературы».

Вопрос, который всю жизнь тревожил Гоголя, был именно этот вопрос: *как быть писателем и что значит быть писателем?* После почти 20-летней литературной работы ему стало казаться, что он — писатель нечаянный, случайный, что ему надо делать что-то другое. В 1846 г. он пишет Плетневу: «Ты уже сам почувствовал, что меня нельзя назвать писателем в строгом классическом смысле... Скажу тебе, что даже в самых ранних помышлениях моих о будущем поприще моем никогда не представлялось мне поприще писателя. Столкнулся я с ним почти нечаянно». В «Авторской исповеди», когда Гоголь вступил в возраст, убивший Пушкина, он написал страшные и замечательные своим трагизмом слова: «Я не могу сказать утвердительно, точно ли поприще писателя есть мое поприще».

Судьба Гоголя слагалась под знаком Пушкинской эпохи, хотя он вошел в нее и позже, и со стороны — почти иностранцем. Но именно она определила его путь и переродила его, превратив из заезжего «хохолка» в русского писателя и сблизив его с литературной «аристократией». Поворот к 40-м годам оказался губительным для него, как и для многих других, родившихся в начале века и получивших свое литературное крещение в эпоху 20-х годов. Встреча поколений была напряженной — люди не понимали друг друга. Но ни в ком сознание этого поворота не произвело такого разрушения, как в Гоголе. Прошло 5 лет со смерти Пушкина — и Гоголь, дописав 1-ю часть «Мертвых душ», с ужасом видит, что не может больше писать. Ему кажется, что он потерял ощущение России, ощущение русского языка. Он становится скитальцем, почти эмигрантом и недоумевающе спрашивает: «каким бы образом узнать многое, делающееся в России, не живя в России?»

При жизни Пушкина он живо интересовался журналами, да и начал ведь он характерно — с журнальных статей, с «арабесок». Он почти шалил сначала литературой, а серьезно смотрел на свою академическую карьеру.

Успех «Вечеров» окрылил его — и вот он уже в литературных кругах: Жуковский, Пушкин, Плетнев... Он начинает высоко думать о своем литературном таланте, но в мечтах его всё какие-то большие труды — по истории Украины, по истории Средних веков. Беллетристика является как-то между делом, среди другой работы.

Но вот появляется «Библиотека для чтения» Сенковского, разгорается журнальная полемика и борьба — и Гоголь чувствует себя журналистом. Он приветствует намерение москвичей издавать новый журнал для борьбы с «Библиотекой» и заботливо дает практические советы, — как лучше издавать журнал, чтобы «сколько-нибудь оттянуть привал черни к глупой “Библиотеке”, которая слишком укрепила за собою читателя своею толщиною». Когда выход журнала откладывается, он раздражается гневным письмом: «Мерзавцы вы все, московские литераторы! С вас никогда не будет проку. Вы все только на словах. Как! затеяли журнал, и никто не хочет работать! Как же вы можете полагаться на отдаленных сотрудников, когда не в состоянии положиться на своих? Срам, срам, срам!»

В 1836 г. он уже сам выступает в качестве журналиста программной статьей «О движении журнальной литературы» в 1-м номере пушкинского «Современника». Он приписывает журнальной литературе большое значение и ставит основной для журнала принципиальный вопрос: «должен ли журнал иметь один определенный тон, одно уполномоченное мнение или быть складочным местом всех мнений и толков?»

Литературный быт этой эпохи явно поворачивал в сторону от 20-х годов — менялось положение писателя, менялись формы литературной жизни, менялся самый читатель. «Библиотека» Сенковского откликнулась на эти перемены и старалась их использовать. Поколения столкнулись лицом к лицу. Громовая статья Шевырева «Словесность и торговля» открывала бой. Гоголь отвечал на нее осторожно, еще не сознавая, что поворот этот коснется и его — что статья Шевырева значит больше, чем ее заглавие.

Но уже с начала 1837 г., после смерти Пушкина, Гоголь отходит от журнальной работы и негодует на всякое обращение к нему с просьбой о материале. Если он и

говорит о журнале, то о каком-то особенном — «верно обдуманном, непреложном, заключателе в себе и сеятеле истин и добра». Для такого журнала он еще готов работать: «Я, который дал клятву никогда не участвовать ни в каком журнале и не давать никуда своих статей». Плетневу он советует издавать альманах, в котором ничто «собственно журнальное» не должно иметь места: «Нужно, чтобы здесь ничто не напоминало читателю о том, что есть какие-нибудь распри в литературе и существует журнальная полемика».

Это был кризис литературного сознания, от которого Гоголя не могла спасти его эпоха, как другая эпоха спасла Толстого. Началась мучительная работа над продолжением «Мертвых душ», но живое ощущение литературного дела утрачено. Начинается ужасный период бессилия, о котором сам Гоголь писал в «Авторской исповеди»: «Я пробовал несколько раз писать по-прежнему, как писалось в молодости, то есть как попало, куда ни поведет перо мое; но ничто не лилось на бумагу. Обрадовавшись тому, что расписался кое-как в письмах к моим знакомым и друзьям, я захотел тотчас же из этого сделать употребление. Порыв, который, мне показалось, начал было во мне пробуждаться, погас, и я нечувствительно сам собой пришел теперь к тому вопросу, который я до сих пор и не думал еще задавать в себе: должен ли я в самом деле писать? должен ли я оставаться на этом поприще, от которого в последнее время так явно меня все отвлекало? благоприятно ли нынешнее время для писателя вообще и вслед затем для такого писателя, как я?»

Это был вопрос, конечно, не личный — вопрос целого поколения, целой эпохи, уходящей в прошлое. Это — вопрос огромной важности, ибо пока не решен вопрос о «деле литературы», до тех пор не может быть и литературы.

АРТИСТИЗМ ТУРГЕНЕВА

1

Л. Толстой сказал как-то о Тургеневе, что он «играет жизнью». И это несмотря на то, что Тургенев очень любил говорить о трагизме жизни вообще и своей жизни в особенности. Тот же Толстой вспоминал: «Бывало, Тургенев придет, и тоже все: траги-изм, траги-изм!»

Письма Тургенева наполнены выражениями грусти и почти отчаяния, но выражения эти, в то же время, окрашены какой-то игривостью и даже кокетливостью тона. От этого они пахнут «литературой» не меньше, а пожалуй больше (именно потому, что это — письма), чем его повести и романы. Он говорит очень грустные и «трагические» слова — но так, как говорит актер, произносящий монолог в публику, или так, как ведут интимную беседу в светском салоне — рисуясь своей грустью, кокетничая ею как «интересным» стилем поведения, как своим салонным «амплуа». Этот светско-салонный тон, несколько показной и превращающий самые грустные размышления и признания в изящно-артистическую игру стилем и самой жизнью, очень характерен для Тургенева — и в нем есть исторический смысл, характерный для эпохи.

Одной из наиболее любимых адресаток Тургенева была графиня Е. Ламберт — женщина из высшего петербургского общества. Он много и охотно писал ей, давая здесь простор именно этому своему салонно-артистическому стилю, этой своей грустно-кокетливой *causerie*, которая была бы неуместна в письмах к Анненкову или Некрасову. Переписка эта длится от середины 50-х годов до середины 60-х — т.е. охватывает период наибольшей литературной активности Тургенева¹.

Вот образцы этого стиля: «Ах, графиня, какая глупая вещь — потребность счастья, когда уже веры в счастье нет!» (1856 г.); «Или это только так кажется, а уже ничего нового, неожиданного жизнь мне представить не может, кроме

¹Письма И.С. Тургенева к графине Е.Е. Ламберт, с предисл. и примеч. Г.П. Георгиевского. М., 1915.

смерти?» (1859 г.); «Остается одно: держаться пока на волнах жизни и думать о пристани, да отыскав товарища дорогого и милого, как вы, товарища по чувствам, по мыслям, и главное — по положению (мы оба с вами уже не много ждем для себя), крепко держать его руку и плыть вместе, пока...» (1859 г.); «И при том мы все осуждены на смерть... Какого еще хотеть трагического?» (1859 г.); «Жизнь вся в прошедшем, и настоящее только дорого как отблеск прошедшего...» (1861 г.); «Будем пользоваться тем невеселым фактом, что мы вообще попали на нашу планету... маленький писк моего создания так же мало тут значит, как если бы я вздумал лепетать: “я, я, я...” на берегу невозвратно текущего океана» (1862 г.). Как тонкий и искусный собеседник, знающий меру терпения своего слушателя и умеющий вовремя остановиться, Тургенев часто прерывает поток своих грациозных признаний и изящных афоризмов фразой вроде: «Но я, кажется, зафилософствовался». Это — техника салонной *causerie*, это приемы светского «философа».

Следы этой техники сквозят в письмах Тургенева и к другим лицам — к Анненкову, к В. Боткину, к Фету. В 1853 г., скоро после выхода «Записок охотника», он пишет Анненкову, жалуясь на свою лирическую судьбу, «прибедняясь» и грустно скромничая: «Никто больше меня не признает той роковой связи между жизнью и литературной деятельностью, о которой вы говорите — но эту связь не сами мы делаем — вот в чем штука. Поломать себя, сбросить с себя разные дрязги, которые большей частью сам тщательно на себя накладываешь — как масло на хлеб — можно; переменить себя нельзя. Хорошо тому сосредоточиться, кто у себя в центре опять находит натуру — и всю натуру — потому что сам натура; а наш брат только и живет бегом, то наружу — то внутрь». Это несколько другой, менее салонный, но от этого не менее кокетливый, не менее «артистический» стиль. Эта игра умом, это интеллектуальное кокетство Тургенева (оно-то и возмущало больше всего Толстого) приводило его к признаниям, каких другой никогда не стал бы делать, а раз сделав — не мог бы больше серьезно работать и уважать свою работу. В том же письме к Анненкову он, например, говорит: «В каждом

столетии остается много-много два-три человека, слова которых получают крепость и прочность жизни народной; эти ведут оптовую торговлю; мы с вами сидим в мелочных лавочках и удовлетворяем ежедневным и проходящим потребностям». Это — почти цинизм, но цинизм особого рода: цинизм кокетливой скромности, цинизм «настроения» — цинизм «великого артиста», который в ответ на такое признание, сделанное в «грустную минуту», ждет разуверений и тостов. Толстой записал в своем дневнике 1856 г. о Тургеневе: «У него вся жизнь притворство простоты». В это же время он в письме к Анненкову характеризует поведение Тургенева как «нескромность наслаждения в искреннем или неискреннем саморугании».

2

Эпистолярный стиль Тургенева — особенно тот, которым он пишет к друзьям — очень близок к стилю его литературных произведений, а иногда и прямо совпадает. Он, по-видимому, сохранял черновики некоторых писем или делал из них выписки, чтобы потом воспользоваться ими как «заготовками». Но эти заготовки совсем не похожи на сырой материал — они скорее похожи на литературные цитаты. В них сказывается опыт эпистолярной стилистики, выработанной в 40-х годах. Это эпоха бесконечных философских и душевных бесед, породивших особую литературу писем, пропитанных самоанализом и рефлексией. По сравнению с письмами Пушкинской эпохи — это какой-то совсем другой жанр, вовсе уже не экспериментальный и не домашний, несмотря на своеобразную интимность. Он послужил основой Тургеневу — отсюда и фразеология и интонация его повествования. В 1853 г. Тургенев писал С. Аксакову: «Вчера мы ходили вдоль осинового леса, со стороны тени, вечером. Солнечные лучи забирались с своей стороны в глубь леса и обливали стволы осин таким теплым светом, что они становились похожи на стволы сосен, а листва их почти синела, и над нею поднималось бледно-голубое небо, чуть обрумяненное зарей». В «Отцах и детях» (гл. XI) читаем: «Солнечные лучи с своей стороны забирались в рощу и, пробиваясь сквозь чащу, обливали стволы осин таким теплым светом,

что они становились похожи на стволы сосен, а листва их почти синела, и над нею поднималось бледно-голубое небо, чуть обрумяненное зарей». Это не случайное сходство, не простая реминисценция, а точная копия — выписка из письма, написанного 8 лет назад. В 1860 г. Тургенев пишет Фету: «Молодость прошла, а старость не пришла, — вот отчего приходится тяжело. Я сам переживаю эту сумеречную трудную эпоху порывов тем более сильных, что они уже ничем не оправданы, эпоху покоя без отдыха, надежд, похожих на сожаления, и сожалений, похожих на надежды». В «Отцах и детях» (гл. VII) читаем: «Павел, напротив, одинокий холостяк, вступал в то смутное, сумеречное время, время сожалений, похожих на надежды, надежд, похожих на сожаления, когда молодость прошла, а старость еще не настала». В 1852 г. Тургенев писал Е. Феоктистову: «Мне, право, кажется, что какие-то темные волны без плеска сомкнулись над моей головой, — и я иду на дно, застывая и немея». В «Рудине» (гл. XI) читаем: «Она [Наталья] сидела не шевелясь; ей казалось, что какие-то темные волны без плеска сомкнулись над ее головой, и она шла ко дну, застывая и немея»¹.

Это очень симптоматично и очень характерно для Тургенева. Его письма полны «литературы» и идут от нее, — от ее традиций и штампов; его произведения, идя оттуда же, сливаются с письмами. Раз построенная и отработанная фраза — где бы и с чем бы в связи она ни явилась — оказывается пригодной и на другие случаи, в другом жанре, в другом контексте. Фраза владеет им — он в плену отстоявшихся, неподвижных словесных формул. Это типично для эпитгона или эклектика (нечто подобное — в стихах Лермонтова), «собирающего» плоды недавно отцветших литературных школ.

У Тургенева, вообще, *один* стиль — тот, который выработался и созрел в русской литературе (больше в поэзии, чем в прозе) в результате борьбы и полемики 30–40-х годов. Он не создает его, а отделяет, доводя, в пределах возможностей самой этой стилистической системы, до гладкости и красоты — независимо от того, пишет ли он письмо или роман. У него все «стилистично» — и пей-

¹Н.М. Гутыяр. И.С. Тургенев. Юрьев, 1907, с. 375–376.

заж, и герой, и лирика, но стилистично в меру. Поэтому его произведения кажутся вторичными, построенными на какой-то другой литературе, более сырой и «натуральной» — как ее отделка или облицовка. В более ранних его вещах есть еще некоторое экспериментаторство и некоторое ощущение материала, хотя и сдавленное традициями. С одной стороны — Гоголь и Лермонтов (первые повести и рассказы), с другой — Даль и «очеркисты» («Записки охотника») противостояли тогда, как две линии, между которыми колебался Тургенев. Дальше, простясь со своей «старой манерой», Тургенев не простился с традициями, а выбрал путь их собирателя воедино, навсегда отказавшись как от следования какой-нибудь одной (что, конечно, сделало бы его «второстепенным»), так и от преодоления многих. Такой выбор должен был сказаться на всей литературе и жизненной судьбе Тургенева — окрасить ее в особый исторический цвет.

3

В одном письме к Е. Ламберт, в ответ на ее укоры, что он, живя за границей, недостаточно «служит отечеству», Тургенев пишет: «Но вы согласитесь, что я не могу служить ему ни как военный, ни как чиновник, как агроном или фабрикант; посильную пользу приносить могу я только как писатель, как артист». Вот важное для Тургенева слово: *артист*. Оно для него полно смысла, в нем — целая программа жизни, в нем же — и самый стиль его быта, его поведения. Толстой был человеком архаистическим, старомодным, человеком давно отошедшей эпохи — и в этом была отчасти его жизненная и художественная сила. Тургенев был человеком «вчерашним» — в этом была его слабость или, если угодно, «трагизм». Обе эти позиции имеют свой исторический смысл (именно с этой стороны я беру биографические факты и в этом смысле употребляю слово «человек») и свою закономерность. Вся литературная деятельность и самая жизнь Тургенева были построены на уверенности в существовании особой профессии или особого качества — «артистизма», и именно в том особом смысле этого слова, который так характерен для эпохи

30–40-х годов — эпохи образования «художественной» интеллигенции, эпохи развития салонной эстетики, эпохи Брюллова, Глинки, Кукольника и т.д., Гоголь в «Портрете» шел против этих новых веяний и настроений, отстаивая высокие принципы уединенного, аскетического служения искусству; это привело его в Рим и сдружило с Ивановым, это же продиктовало ему потом «Авторскую исповедь» и «Переписку с друзьями». Это был подлинный трагизм — без кокетства, без игры.

Тургенев живет совсем другими чувствами и представлениями, хотя, в противовес бурным спорам своего времени, прокламирует себя «малейшим последователем» и Пушкина и Гоголя. Он беспокоится, видя, как Толстой ищет какого-то дела вне литературы — хочет быть или военным, или помещиком, или лесоводом, — и старается убедить Толстого, что литератор (т.е. «артист») должен быть только литератором. В 1856 г. Толстой записывает: «Тургенев ничем не хочет заниматься под предлогом, что художник не способен». И это в тот момент, когда Герцен ворчит на Некрасова даже за слово «поэт» (стихотворение «Поэт и гражданин»): «Да и что за чин “поэт”!.. пора и это к черту».

Под влиянием разговоров с Тургеневым Толстой пробовал написать своего «Альберта» — апологию «артистизма» как особого качества, поднимающего над толпой. Упорно работал Толстой, стараясь, чтобы эта вещь удалась, — но для этого нужно было быть Тургеневым, нужно было писать так, как Тургенев в «Накануне»: «Громады дворцов, церквей стоят легки и чудесны, как стройный сон молодого бога». Толстой так не умел и не мог. Неудача «Альберта» была освобождением Толстого от Тургенева.

Тургенева влекла к себе салонная атмосфера — атмосфера успеха, поклонения, аплодисментов, атмосфера «талантов и поклонников». Не находя в своем писательском быту удовлетворения этим своим «артистическим» потребностям, он в шутку говорил (шутка тоже бывает характерной), что хотел бы быть певцом — хоть плохеньким. Жизнью около Виардо и служением ее артистической карьере он точно заменял то, чего не хватало ему в своей собственной.

Эпоха заставила Тургенева написать «Накануне», «Отцы и дети», но это не было для него переломом, а только попыткой приспособления, которая явилась из тех же потребностей в успехе, в популярности, в защите своих прав на звание «художника». Неудовлетворенный отзывами, разочарованный и смущенный, он, однако, ничего не меняет, ни от чего не отходит и не отказывается, не переживает никакого кризиса, а помолчав пишет — не «исповедь» как Гоголь, а потом Толстой, но свое капризное, кокетливое «Довольно», а после него продолжает писать так, как писал.

Никаких кризисов, никаких переломов, никакой настоящей эволюции. В 1863 г. даже Е. Ламберт написала ему строгое письмо, уговаривая его вернуться в Россию и писать повести для народа — таков был голос времени. Тургенев отвечает: «Вы неправы, требуя от меня на *литературном* поприще того, что я дать не могу, плодов, которые не растут на моем дереве. Я никогда не писал для народа. Я писал для того класса публики, которому я принадлежу, начиная с “Записок охотника” и кончая “Отцами и детьми”. Не знаю, насколько я принес пользы, но знаю, что я неуклонно шел к одной и той же цели, и в этом отношении не заслуживаю упрека». Это одно из немногих несалонных писем Е. Ламберт слишком задела его за живое. Но зато здесь он и не «прибедняется» и не жалуется.

Удержаться на такой позиции и продолжать писать можно было только живя за границей. Тургенев отвечал Е. Ламберт: «Положа руку на сердце, я также не думаю, что живу за границей единственно из желания наслаждаться отелями и т.п.». Дело, конечно, не в отелях, а в гораздо более серьезных потребностях, на удовлетворение которых в России он не мог надеяться. С другой стороны, Россия предъявила бы к нему требования, которых он не мог бы исполнить, потому что не мог быть ни Салтыковым, ни Толстым, ни Достоевским. Эмиграция Тургенева была не принципиальной (как у Гоголя), не идейной, а литературно-бытовой — проявлением «обиды» артиста, нуждающегося в особой атмосфере и не

находящего ее на родине. Литературные и жизненные (в историческом осмыслении этого слова) традиции Тургенева коренились в русской культуре и быте 30–40-х годов; жизнь за границей заменяла ему до некоторой степени то, чего уже не могла дать новая Россия. Дружба с Флобером, с Додэ, с бр. Гонкурами, признание его в артистическом и писательском кругу Парижа, не требовавшем от него ничего, кроме таланта и остроумия, утешало его обиженное сердце и удовлетворяло его художественно-требовательный ум.

В 1879/80 г. русская молодежь с энтузиазмом встретила Тургенева. Это была уже опять новая, третья Россия. Она многое забыла и многое вспомнила заново. Автор «Записок охотника» и «Нови» был ей ближе и понятнее многих других. Тургенев, вернувшись в Париж, ответил ей как артист — «стихотворением в прозе» («Порог»).

ЖУРНАЛИЗМ НЕКРАСОВА

1

Деятнадцатый век с трудом примирился с поэзией Некрасова. Вокруг его имени шли шумные споры. Трудно было примирить обычное для XIX века «высокое» представление о поэте-жреце, на которого нисходит вдохновение, с обликом поэта-журналиста, который пишет стихи в промежутки между чтением корректур. Особенно трудно входила поэзия Некрасова в литературный круг. Даже Чернышевский, сообщая Некрасову о восторге, с которым встретила публика издание его стихотворений (1856 г.), пишет: «Не думайте, что мне легко или приятно признать ваше превосходство над другими поэтами — я старовер, по влечению моей натуры, и признаю новое, только вынуждаемый решительною невозможностью отрицать его... я чужд всякого пристрастия к вам — напротив, ваши достоинства признаются мною почти против воли — по крайней мере с некоторой неприятностью для меня».

Русская литература, в противоположность западной, долго держалась аристократических привычек. Пере-

ход Пушкина к журналу встречен был негодованием. Призыв Белинского к «беллетристике» (1845 г.) казался многим кощунством, как кощунством казалось развитие водевиля за счет высоких театральных жанров. Это держится более или менее прочно на протяжении всего XIX века, но только в теории — на практике положение оказывается иным.

2

Уже с конца 30-х годов литература выходит из сфер интимного дилетантизма «на оный путь — журнальный путь». Идет коренная перестройка самого понятия «словесности». Писатель оказывается в положении профессионала — в положении, зависимом от редактора, от читателя. Литературу поглотил журнал, писатель стал журналистом. Одновременно с Белинским, признавшим необходимость широкого развития «беллетристики» (теперь мы сказали бы — «чтива»), Н. Киреевский, с некоторым страхом за будущее, писал: «В наше время изящную словесность заменила словесность журнальная. И не надобно думать, чтобы характер журнализма принадлежал одним периодическим изданиям: он распространяется на все формы словесности, с весьма немногими исключениями... Роман превратился в статистику нравов; поэзия — в стихи на случай».

Все стало называться «статьей» — и рассказ, и стихотворение. Так называет Толстой свои вещи в письмах к Некрасову, так Герцен называет в письме к Тургеневу «Поэт и гражданин» Некрасова. В этой мелкой черточке чувствуется власть журнала, победившего эпоху альманахов. Кстати, слова Герцена о Некрасове очень характерны: «Первая статья [т.е. “Поэт и гражданин”] — сумбур какой-то, не оригинальный, а Пушкино-Гёте-Лермонтовский, и как-то Некрасову вовсе не идут слова “Муза”, “Парнас”. Где это у него классическая традиция? Да и что за чин “поэт”... пора и это к черту...»

3

К середине 50-х годов новое положение совершенно определилось — разрыв с прошлым был неизбежен.

Новые условия самого бытования литературы ставили новый вопрос — как быть писателем? От этого вопроса не ушел никто из начавших свою деятельность раньше. Тургенев сначала раздражился, произнес свое горделивое «довольно» и писал В. Боткину: «Я удаляюсь; как писателя с тенденциями заменит меня г. Щедрин (публике теперь нужны вещи пряные и грубые), а поэтические и полные натуры, вроде Толстого, докончат и представят ясно и полно то, на что я только намекал»; Салтыков-Щедрин решительно вступил «на оный путь»; Толстой — иначе, чем Тургенев, — занял резко-полемическую позицию, отвернувшись от журнала и журнализма: он единственный обеспечил себе независимость, остался «писателем», но тем самым обрек себя на трагедию, которой не знали другие — трагедию отречения от самого себя.

При этом повороте особенно пострадала и должна была пострадать поэзия. Ей, более всего привыкшей к аристократизму, труднее всего было жить при новых условиях. Создается болезненный контраст, свидетельствующий о неблагоприятном положении, — контраст водевильных куплетов, царящих на эстраде, и высокой, но тихой, уединенной лирики, сознающей свою неспособность, обреченность.

В журнале стихи стали выглядеть инородным телом, анахронизмом — и вот они исчезают вовсе с журнальных страниц. В 1854 г. Некрасов пишет им ироническую эпитафию «Мне жаль, что нет теперь поэтов»:

И нам от лир их сладкострунных
Осталась память лишь одна...

Вместо стихов — поток пародий «Нового поэта» (И. Панаева), который доказывает, что написать гладкое лирическое стихотвореньице ничего не стоит. «Вдохновение» изображено у него так: «Однажды ночь была бурная и дождливая. Проигравшись в пух, я пешком приплелся домой, схватил перо и начал писать стихи. Я писал то, чего никогда не чувствовал, о чем никогда не думал, чего никогда со мной не случалось... Рука не останавливалась, перо повиновалось руке, слова ложились на бумагу послушно и

четко, из слов выходили стихи... Я писал долго и когда перестал, очутился автором десяти стихотворений».

4

Поэзию надо было делать заново, организовать заново. Надо было сцепить ее с журналом — с фельетоном, со статьей. Надо было повернуть стих так, чтобы он зазвучал не просто как новый стих — (этого было мало), а как заново изобретенный инструмент — с неожиданным и незнакомым тембром. Нужна была новая интонация, новый голос. Самый тембр стихового голоса должен был измениться так, чтобы его снова заметили, чтобы казалось, будто никаких связей с прошлым нет.

И это нужно было и можно было сделать, конечно, только поэту, для которого стих дорог своими особенностями и возможностями. Надо было доказать, что стих не только имеет право, но и должен оставаться *стихом*, — что в нем, при всех возможных переменах голоса и тона, есть свои *стиховые* ценности, которые хранит человеческий язык.

Из водевильных куплетов, из пародий, фельетонов и всяческой юмористики вытащил их Некрасов — сам мастер на куплеты, пародии и юмористику. «Муза» продолжала жить в стихах Фета, Майкова, Полонского, Ап. Григорьева — и многое из этого откликнулось потом в поэзии символистов. Но эпоха не могла жить только этой поэзией — ей нужен был Некрасов. История должна была создать его таким, каким она его создала. Он нужен был для самой поэзии. Иначе мы должны были бы признать, что можно, действительно, обойтись и без стиха. Некрасов оправдал самую необходимость поэзии, показал *насущность стиховой речи*, которая взята была тогда под подозрение. Мы теперь знаем, что потребность в стихе так же насущна, как и потребность в речи вообще.

ЛЕСКОВ И ЛИТЕРАТУРНОЕ НАРОДНИЧЕСТВО

Со словом «народничество» у нас обычно связывается представление о литературно-общественном движении 70-х годов, о писателях-разночинцах и о «хождении» русской интеллигенции в народ. Но было у нас и иного рода народничество, линия которого протягивается через весь XIX век и доходит до наших дней — народничество чисто литературное. Я имею в виду разнообразные формы использования и изучения словесности и старорусской письменности. Песни, сказки, былины, духовные стихи, пословицы, народные драмы, жития, летописи и т.д. — этот материал, помимо идейных, общественных тенденций, непрерывно собирается, изучается и перерабатывается, давая основу для создания особых форм изысканного «лубка». Достаточно напомнить имена Даля, Вельгмана, бр. Киреевских, Сахарова, Бессонова, Афанасьева, Снигирева, Буслаева; достаточно вспомнить, какое огромное значение имел этот материал в творчестве Жуковского, Пушкина, Гоголя, Лермонтова...

Но это ведь — эпоха «романтизма» и «славянофильства», эпоха далекая от нас, эпоха, которую мы склонны считать наивной, восторженной. Действительно, пафос этого литературного народничества значительно ослабевает в эпоху 60–70-х годов — эпоху общественно-деловую по преимуществу. П.И. Якушкин был, кажется, последним романтиком лубка, объединившим в своем лице тенденцию «опрощения» с тенденцией чисто литературной, филологической. Начинается литература народно-бытовых очерков и фельетонов, ничего общего с фольклорной романтикой старого поколения не имеющая. Фольклор становится научной дисциплиной, предметом объективного исследования на широкой, сравнительно-исторической основе.

Однако художественно-филологическое народничество, хотя и лишенное идейно-общественной поддержки, продолжало свое движение на запасных путях литературы. Оно при этом фатально обрекало себя часто на обвинения в реакционных тенденциях, в эпигонстве, в

запоздалом «славянофильстве», и пр. На самом деле, в этой разработке народных сюжетов и старинных преданий сказывалась литературная тенденция — та же, которая руководила Далем и его последователями: тенденция к обновлению стиля и жанров путем скрещения «высокой» литературы с лубком.

Именно в этой форме тенденция эта с особенной ясностью выступила в творчестве Лескова. Современники Лескова многого не поняли в его работе, за многое негодовали, многого не оценили — и были по-своему правы. Литературная позиция Лескова по самому существу своих принципов и традиций имела слишком своеобразный и, до некоторой степени, экзотический характер, чтобы стать вполне и сразу приемлемой. Литературная «изография» Лескова должна была выглядеть тогда, как нечто враждебное деловому общественничеству, хотя по существу она была только борьбой против литературных канонов того времени, против тогдашнего романа, с его героями, фабулой и языком. Попробовав свои силы на этом поприще (роман «Некуда», «Обойденные», «Островитяне», «На ножах»), Лесков отходит от этого материала и от этого жанра в новую область — хроник, «рассказов кстати», провинциальных новелл с экзотическим бытом, полубеллетристических статей (для «Исторического Вестника» и для газет) и др.

Отныне самый жанр романа берется Лесковым под подозрение, на что указывают, помимо всего другого, его собственные рассуждения — хотя бы в «Блуждающих Огоньках» (1875 г.): «Истории, подобные моей, по частям встречаются во множестве современных романов — и я, может быть, в значении интереса новизны, не расскажу ничего такого нового, что бы не знал или даже не видел читатель, но я буду все это рассказывать не так, как рассказывается в романах — и это, мне кажется, может составить некоторый интерес и даже, пожалуй, новость, и даже назидание. Я не стану усекать одних и раздувать значение других событий; меня к этому не вынуждает искусственная и неестественная форма романа, требующая закругления фабулы и сосредоточения всего около главного центра». Появляются характерные лесковские заглавия и подзаго-

ловки, сами по себе свидетельствующие об отходе его от традиционных жанров: «Соборяне. Старгородская хроника», «Запечатленный ангел», «Смех и горе. Разнохарактерное pot pourri из пестрых воспоминаний полинявшего человека», «Очарованный странник, его жизнь, опыты, мнения и приключения» и т.д.

Лесков обращается к материалу житий, прологов, старинных легенд, преданий и пр. Он изучает старорусские книги, детально занимается историей раскола, коллекционирует особенности разных говоров и диалектов, записывает образцы народной этимологии и т.д. Язык его сверх всякой меры (это и характерно для Лескова) насыщается особыми оборотами и речениями, приобретая характер изощренной стилизации. Особенно широко использована народная этимология — «порча слов»: нимфозория, верояция, мелкоскоп, долбица умножения, ажидация, глазурные очи, трубедур, монументальная фотография, популярный советник, легенда, клеветон и т.д. В его записной книжке 1894 г. собран ряд подобных примеров: «Пушистый горшок пахнет», «На подорожке столбовой», «Многообажаемый» (вместо «многоуважаемый»), «Телешом ходил» и пр. Большинство современников недоумевало перед зрелищем этой языковой эквилибристики и не понимало ее литературного значения. Михайловский упрекал Лескова за «чрезмерность» и «артистическую удаль» его языка; Волынский, человек совсем из другого лагеря, ставил ему на вид «погремушки диковинного красноречия» и называл «Левшу» — «набором шутовских выражений — в стиле безобразного юродства».

«Сказ о тульском косом левше и о стальной блохе (цеховая легенда)» — под таким заглавием «Левша» появился в 1881 г. в Аксаковской «Руси». По словам Шляпкина — легенда эта взята «из рассказа одного рабочего Сестрорецкого оружейного завода, где Н.С. провел лето 1878 г.». Этот бродячий сюжет заинтересовал Лескова своими лубочно-языковыми чертами: вкладывая его в уста рассказчика из простой среды, Лесков открывал себе простор для причудливой лубочной фантастики и словесной игры. В заключении «сказа» Лесков говорит от себя: «Таких мастеров, как баснословный левша, теперь, разумеется, уже нет в

Туле: машины сравняли неравенство талантов и дарований, и гений не рвется в борьбе против прилежания и аккуратности. Благоприятствуя возвышению заработка, машины не благоприятствуют артистической удали, которая иногда превосходила меру, вдохновляя народную фантазию к сочинению подобных нынешней баснословных легенд».

В этом же лубочном жанре Лесков написал и еще одну вещь, не включенную им в собрание сочинений и потому совсем неизвестную современным читателям — *«Леон, дворецкий сын. (Застольный хищник). Из народных легенд нового сложения»*. Она была напечатана вслед за *«Левшой»* и открывалась предисловием, где, ссылаясь на свой первый опыт, Лесков дает общую характеристику такого рода легенд (фантастическое извращение незнакомой рассказчику среды) и мотивирует причудливость языка. Здесь — что ни слово, то какое-нибудь комическое извращение: вместо хоф-фрау — «хап-фрау», «пропуганда», или такие причудливые сочетания, как «концерт дешевых студентов», «двухспальное кольцо» и др. Эта чрезмерность языковой игры испугала, позже, по-видимому, самого Лескова, предавшего «Леона» забвению, вместе с огромным количеством всякого рода рассказов, очерков, статей и фельетонов, погребенных в периодической прессе того времени.

Мы теперь все это видим иначе. Имя Лескова, очищенное от злободневной шелухи, стало для нас новым и близким. После Ремизова, с его тяготением к сказочному и театральному лубку (вспомним Толстого с его народными рассказами и *«Первым винокурком»*), после разнообразных форм «орнаментальной прозы», мы можем теперь оценить работы Лескова — как тонкость его «изографии» (*«Запечатленный ангел»*), так и яркость его лубка.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КАРЬЕРА Л. ТОЛСТОГО

1

В 1860 г. Толстой писал Е. Ковалевскому: «Мудрость во всех житейских делах, мне кажется, состоит не в том, чтобы узнать, что нужно делать, а в том, чтобы знать, что нужно делать прежде, а что после». Этой мудростью или, вернее, искусством Толстой сам обладал в высшей степени. В нем необыкновенно сильно был развит инстинкт исторического самосохранения, в жертву которому он принес многое из своей «домашней», внеисторической жизни. Истории никак не удавалось отодвинуть его в сторону и заставить забыть — он неизменно отражал ее атаки и нападал сам с неожиданной стороны. В течение почти 60 лет (1852–1910), несмотря на смену эпох и поколений и постоянную парадоксальность своей позиции, он оставался в центре внимания.

Толстой недаром любил войну и с трудом подавлял в себе эту страсть. Он и вне фронта был замечательным тактиком и стратегом — знал искусство натисков и отступлений и умел бороться с современностью. Если бы он не был писателем и жил в другую эпоху, он был бы полководцем, воителем. Он презирал Наполеона не за деспотизм, а за Ватерлоо и за остров св. Елены — как удачник презирает неудачника. «Непротивление злу» — это теория, которую в старости мог бы придумать Наполеон, если бы жизнь его сложилась иначе: теория состарившегося в боях и победах вождя, которому кажется, что вместе с ним состарился и подобрел весь мир.

Толстой пережил несколько эпох, несколько «современностей» — и с каждой отношения его были сложны и своеобразны. Он знал не только искусство писать, но и искусство *быть писателем*. Упорно отстаивая свою архаическую позицию, он, со стороны и издалека, но тем более зорко, как бы в бинокль, вглядывался в детали малейших движений эпохи, как полководец вглядывается в движения неприятельских войск. Ясная Поляна была для него удобным углом зрения — точкой, с высоты которой он оглядывал и измерял ход истории.

Сила его позиции заключалась в том, что, противопоставляя себя эпохе, он не отворачивался от нее. Из его друзей одни, как Анненков, постоянно гнались за современностью — Толстой так и пишет о нем Боткину: «ловит современность, боясь отстать от нее»; другие, как Фет и Боткин, не выдержали напора 60-х годов и отошли в сторону. Толстой вел себя иначе.

2

Эпоха 50–60-х годов была эпохой образования новой («разночинной») интеллигенции, которая жила борьбой за «убеждения». Слово «убеждение» стало термином эпохи. У Толстого вместо убеждений были «правила», имевшие характер военных приказов и относившиеся ко всем случаям и вопросам жизни — от игры в карты или поведения на балу до высших проблем нравственности. Несовпадение между этими правилами и поступками заинтересовало его, побудило его наблюдать за собой и за другими, «испытывать», экспериментировать, вести дневник — отсюда началась литература («История вчерашнего дня»). Первоначальный материал Толстого — мир миниатюрных движений душевной жизни, рассматриваемый в микроскоп. Описание одного дня оказалось вещью, которую невозможно кончить. Отсюда пошло и его «Детство», и полное собрание его сочинений.

Толстой вошел в литературу провинциалом, человеком неопределенной эпохи, отсталым «дикарем», «автодидактом» (как его назвал Тургенев), хотя и с титулом графа. Никакой связи с людьми и культурой 40-х годов у него не было. Но именно это и помогло ему занять особую позицию.

Если русские интеллигенты 50–60-х годов были нигилистами слева, то Толстой был нигилистом справа. Убеждениям он противопоставил «правила», теориям — «инстинкт». Интеллигентов он насмешливо называет «умными» и отзывается о них с презрением. Его раздражает самый тип русского интеллигента, постоянно возмущенного. Теория «любви» была им первоначально построена в противовес интеллигентским настроениям. В 1856 г. он

писал Некрасову: «У нас не только в критике, но и в литературе, даже просто в обществе, утвердилось мнение, что быть *возмущенным, желчным, злым* очень мило. А я нахожу, что очень скверно. Гоголя любят больше Пушкина. Критика Белинского верх совершенства, ваши стихи любимы из всех теперешних поэтов. А я нахожу, что скверно, потому что человек желчный, злой не в нормальном положении. Человек любящий — напротив, и только в нормальном положении можно сделать добро и ясно видеть вещи».

Эта теория должна была показаться Некрасову и Чернышевскому выражением детской наивности, «чушь» (как и отозвался Некрасов о взглядах Толстого), но самому Толстому она так понравилась, что он повторяет ее в письме к Е. Ковалевскому, сообщая о ней как об удивительном открытии: «Я открыл, что возмущение, склонность обращать внимание преимущественно на то, что возмущает — есть большой порок и именно нашего века. Есть 2–3 человека, которые только возмущены, и сотни, которые притворяются возмущенными и потому считают себя вправе не принимать деятельного участия в жизни».

Так началась выработка собственной позиции. Основным правилом было: во что бы то ни стало — деятельное участие в жизни.

3

В 1855 г. Толстой записал в дневнике: «Быть чем есть: а) по способностям — литератором, б) по рождению — аристократом». Это звучит так же наивно, как его теория любви, но для него это было так же важно. Он жил представлениями и понятиями какой-то отдаленной, отмененной эпохи — эпохи даже не отцов, а дедов. Самое его искусство родилось и развилось на основе этой архаистической позиции и было сильно и оригинально именно этим. В его лице в редакцию «Современника» вошел человек допушкинского времени, «неспособный иметь убеждение» (Некрасов) и живущий какими-то фантастическими для этой эпохи понятиями. «Чорт знает, что у него в голове!» — восклицает Некрасов в 1856 г.

Это было до такой степени странно, что в «Современнике» даже не обижались, а только ждали, когда Толс-

той «исправится», и старались «влиять» на него. Толстой не исправился, но, испытав после первых успехов ряд литературных неудач, отошел от «Современника» и даже от литературы, задумав стратегический обход. Он занялся народным образованием — делом таким же животрепещущим для начала 60-х годов, каким для середины 50-х была Крымская кампания.

Историческое поведение Толстого тем-то и своеобразно, что он, в противоположность Фету или Тургеневу, непрерывно преследует современность и отступает только для того, чтобы напасть с новой стороны. В 50-х годах надо было писать военные очерки, в начале 60-х — заняться вопросом о народном образовании. Так Толстой и написал Фету в 1860 г.: «Другое теперь нужно. Не нам нужно учиться, а нам нужно Марфутку и Тараску выучить хоть немного тому, что мы знаем». Однако — вопрос о пользе грамотности он считает спорным, а систему обязательного обучения — прямо вредной. Неожиданный «радикализм», развернувшийся в педагогических статьях Толстого, оказался на самом деле своего рода «нигилизмом», направленным против «умных».

Он исходит из характерного для него нигилистического тезиса: «никто не знает, что ложь, что правда». Самое дело народного образования заинтересовало Толстого не само по себе, а как особый метод борьбы с современностью: нужно знать, что делать прежде, а что после. Народное образование он выбрал в этот момент как искусный стратег. Одолевая и сбивая противника в этом пункте, он надеется выбить его и из других позиций, более важных и занятых прежде — из позиций литературных. Это становится совсем ясным, когда после ряда педагогических статей появляется вдруг настоящий литературный памфлет, обращенный в сторону современной беллетристики: «Кому у кого учиться писать: крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят». Откуда возник этот вопрос? Кто ставил его и какое он имеет отношение к вопросу о народном образовании? Он возник из столкновения Толстого с «Современником» и с современностью.

Педагогика была сложным тактическим ходом, при помощи которого Толстой «обманул» современность и,

вернув к себе внимание, утерянное в конце 50-х годов, вернулся к литературе. Отныне Ясная Поляна противостояла редакциям как особая, враждебная и архаистическая форма литературного быта и производства, «Война и мир» писалась как полемический роман — как демонстрация против современной литературы, ведущей себя от Гоголя и «натуральной школы». В ненапечатанном тогда предисловии Толстой сам признавался: «Жизнь чиновников, семинаристов и мужиков мне неинтересна и наполовину непонятна, жизнь аристократии того времени, благодаря памятникам того времени и другим причинам, мне понятна, интересна и мила».

Толстой остался тем же патриархальным аристократом и архаистом, каким был, только стал более смелым. Тургенев не понимал этих сложных стратегических ходов Толстого — зато Толстой и говорил про него, что он «играет» с жизнью. Толстой — воинствующий архаист, не играл, а сражался.

4

«Война и мир» вышла в свет, когда Толстому было 40 лет, а «Анна Каренина» — когда ему исполнилось 50. Он вступил в новую современность, встретился с новым поколением. Приходилось опять решать — «что делать прежде, а что после». Приходилось опять отступить, чтобы напасть заново.

Толстому грозила новая опасность со стороны «народников», высмеявших «Анну Каренину», как амурный роман все с теми же графами и князьями. На этот раз опасность выглядела более грозно. За 20 лет, прошедших со времени педагогических статей Толстого, Россия так изменилась, что оставаться прежним и сохранить свое значение было трудно. История стала штурмовать Толстого. Поражение казалось неизбежным.

Сначала Толстой растерялся и уже готов был отречься от своей власти. Но сообразив положение и изучив силы врагов, он решил вступить в новую борьбу. Он стал поражать своих противников на их же позициях — так, как он делал и прежде; но с еще большим стратегическим

искусством. Явились «народные рассказы». Оставаясь тем же архаистом, Толстой вступил в единоборство с Глебом Успенским и всей школой беллетристов-народников. В ответ на материалистическую «Власть земли» явилась религиозно-нравственная «Власть тьмы». Это была борьба за литературную власть.

Толстой и здесь оказался удачником. Перехватив у народников материал и сделав мужика героем своих новых вещей, он пересилил противников — не только в переносном, но даже в прямом смысле, физически. Тут история помогла Толстому. Это хорошо понимал Чехов: «Что писатели-дворяне брали у природы даром, то разночинцы покупают ценой молодости». Все поколение беллетристов-народников погибло в борьбе с нищетой и болезнями: спивались, сходили с ума, кончали самоубийством. Прошло несколько лет — и самым влиятельным «народным» писателем оказался тот же Толстой, хотя и с «шуйцей», как выразился о нем Михайловский. Когда-то опасным для Толстого человеком был Чернышевский — теперь на его место стал Михайловский. Как ни бился он с Толстым, но ему пришлось признать в нем не только «шуйцу», а и «десницу». Большого Толстому от него и не было нужно.

Власть осталась в руках Толстого. Он повел себя как узурпатор, но более искусный, чем Наполеон. Теперь уже никакая современность не была для него страшна. Сама история отступилась от него. Ясная Поляна стала храмом «мудрости», а Толстой — учителем жизни. Однако тайну своего стратегического искусства (той «мудрости», о которой он писал Е. Ковалевскому) Толстой, гениальный хитрец, не передал никому.

ПИСАТЕЛЬСКИЙ ОБЛИК М. ГОРЬКОГО

1

Львом Толстым закончился не только целый период русской литературы, идущий от 40-х годов, но и нашел свое предельное выражение облик русского писателя XIX века. Ясная Поляна была последним убежищем этой

могучей династии. Уход Толстого был не только семейным, но и социальным актом — отречением от своей власти в предчувствии новой эпохи, эпохи войн и революций.

Уже с 70-х годов русская литература стала терять свое прежнее, исключительно высокое положение. Толстой сохранил свою власть тем, что ушел от журналов, с их редакционной суетой и полемикой, и сделал свою Ясную Поляну неприступной литературной крепостью, а себя — литературным магнатом, не зависящим от редакторов, издателей, книжного рынка и пр. Это было последнее усилие русского писателя сохранить свое значение — значение «властителя дум».

За пределами этой крепости русский писатель превращался в журналиста, в газетного работника, в поставщика на заказ. Русская литература обростала «прессой». Писательство становилось распространенным занятием, массовой профессией, обслуживающей разнообразные вкусы и требования общества. Качество культуры превратилось в количество — неизменный, постоянно действующий закон истории. Начавшись «Современником», русская литература кончала свой длинный путь «Нивой».

Если в 1845 г. Белинский должен был признать и одобрить появление «беллетристики» как словесности второго сорта, необходимой в качестве общедоступного чтения, то к концу 70-х годов критики заговорили уже о другом — о том, что круг читателей расширяется, что «мелкая пресса» приобретает важное значение, что литература должна ответить на новые требования книжного рынка. «Русский читатель просто избалован русской литературой, а русская литература избалована своей историей, сосредоточившей все свои силы на разработке более или менее высоких форм творчества» («Отеч. записки», 1877 г.).

Период, когда можно было говорить о литературе как явлении монолитном (в противоположность западной, где давно существовала и бульварная литература, и пресса самых разнообразных видов), явно отходил в прошлое. Дело шло уже не о создании литературы «для легкого чтения», как в 40-х годах, а о дифференциации, о рас-

слоении литературы по каким-то разным признакам, целям и потребностям. Самое представление о писательстве стало неопределенным — поскольку каждый мог стать писателем, если не имел более определенных занятий.

Так начала складываться литература 80-х и 90-х годов, среди которой появление Максима Горького было наиболее шумным и наиболее характерным.

2

Горький обучался литературе на ходу и вошел в нее смелостью, которую внушила ему сама природа. Появление его в рядах русской писательской интеллигенции было не простым и не обычным фактом. Самый псевдоним его — «Максим Горький» — который теперь звучит для нас не хуже всякого другого, имел тогда, в 90-х годах, особый смысл — смысл вызова, смысл дерзкий, нарушающий традиции. Это был не просто псевдоним — это был жест нового человека, явившегося депутатом от темных масс, с буйного Поволожья. В этом псевдониме слышался новый голос, новый тембр; он должен был принадлежать человеку, появление которого в литературе могло произвести панику — или, по крайней мере, скандал.

Так и было. Успех Максима Горького вначале имел не столько литературный, сколько социальный характер. В русской литературе явился какой-то самовольный писатель, самоучка, не интеллигент, не землец и даже не разночинец. Важно было не столько то, что он писал о «босьяках», сколько то, что он сам жил в этой среде и из нее вышел. Важно было, что он видел, знал и умел делать то, чего русский писатель не видел, не знал и не умел делать. За его рассказами с самого начала стояла легенда об его жизни. Открытки с его изображением покупались нарасхват — этот человек с простым лицом рабочего и в простой блузе не напоминал никого из русских писателей. Публика не давала ему проходу, «глазела» на него. Не только у Толстого (о чем он сам писал), но и у публики был к нему особый «этнографический интерес». Недаром его литературным успехам сопутствовали всевозможные скандалы — вроде столкновения с публикой в Художественном театре. Недаром в разных городах стали появляться лже-Горькие, а ре-

портеры гонялись за Горьким по пятам. Его разглядывали и изучали, как редкость. Это была, конечно, слава, но слава рискованная, созданная любопытством толпы к новой разновидности русского писателя. Она сама по себе не открывала Горькому доступа в настоящую литературу, которая была делом так называемой «интеллигенции». Наоборот, интеллигенция имела основания сторониться от этого неожиданного пришлеца.

В среде русской писательской интеллигенции уже намечилось тогда два слоя. Один, верхний, создал замкнутую литературную группу, получившую название «декадентов», а позже — «символистов». Враждебная в отношении к «земцу», группа эта, опираясь на философию и религию, стала развивать новую поэзию, возрождая забытые эстетические традиции и спасая литературу от «прессы», от злобы дня — группа «аристократическая», предпочитающая формы меценатства формам профессионального труда. Из другого слоя, обращенного именно к общественнику, к земцу, вышла группа новых прозаиков, не объединенная никакими литературными принципами, опирающаяся, главным образом, на публицистику и работающая на старом, достаточно худосочном материале — группа промежуточная, хотя и почтенная.

Но закон исторического контраста требовал какой-то неожиданности, какого-то выкрика: верхнему слою должен был противостоять не промежуточный слой, а нижний. Высокой и сложной философской поэзии должна была противостоять «плохая литература», сильная своей наивностью, банальностью, доступностью. Нужна была в этот момент не столько новая литература сама по себе, сколько новый облик писателя, новая писательская судьба.

3

Горький стал знаменитостью прежде, чем успел оглянуться на русскую литературу и на то, как он выглядит в ней. История точно насильно втолкнула его в ряды русских писателей, имея на то какие-то свои виды и беря риск на себя. Он стал старательно описывать природу и изображать гениальных босяков — оказалось, что это «красоч-

но» и что это нужно. На развалинах прозы и стиха Горький заговорил полустихами о море, о проститутках, о людях, опустившихся на дно — с многословием, преувеличением, с прикрасами, метафорами, с крикливым лиризмом. Оказалось, что это — «романтика», которой обрадовались. В 70-х годах все это описывалось этнографически, без размаха — как в романе некоего П. Зарубина «Темные и светлые стороны русской жизни» (1872 г.), где автор предупреждает, что «предлагаемое сочинение, в строгом смысле, не имеет обычной формы романа» и что он изображает здесь русского человека в мещанской обстановке — «как общественного деятеля, как семьянина, как торговца и промышленника на Волге и, наконец, как самостоятельного мыслителя-самоучку». Горький развернул именно последний пункт зарубинской программы и сделал мещанина-босяка романтическим героем.

Уже прославившись, Горький стал задумываться о своей писательской судьбе. Шум стихал, а работа только началась. Слава пришла так быстро и так странно, что нужно было обдумать свое дальнейшее поведение, потому что от поведения в такой судьбе должно было зависеть многое. Нужно было учиться не только писать, но и быть писателем. Писать учили Горького многие — быть писателем с «судьбой» учиться было не у кого, кроме Толстого.

И вот — Горький начинает зорко следить за Толстым, точно хочет выведать у него какую-то тайну. Он и восторгается, и разоблачает, радуясь своим неожиданным наблюдениям и открытиям: Толстой — хитрый старик, колдун, вяло говорящий о Боге, озорник, пересыпающий свою речь неприличными словами. И тем не менее он — великий, он — человек с судьбой и с поведением. Горький оглядывает его со всех сторон и в разных положениях — он изучает его жесты, руки, пальцы. Он настороженно следит за отношением Толстого к себе и обиженно записывает: «Его интерес ко мне — этнографический интерес. Я в его глазах — особь племени мало знакомого ему — и только».

И вот — Горький уже не бунтарь, пришедший, чтобы оскорбить «русскую интеллигенцию» и ее литературу. Его тревожит проблема своего писательского самосохранения. Он сам становится «интеллигентом», разделяя его

общественные идеалы и его судьбы в борьбе за них. Легенды сменяются длинными автобиографическими романами. К Горькому привыкли — и казалось, что скоро начнут отвыкать.

Однако история имела на него, действительно, свои особые виды, и к Толстому он приглядывался недаром — наступали дни, когда все стало зависеть от «поведения». Интеллигенция того верхнего слоя, который создал «символизм», оказалась беспомощной и разбитой, — революция была для нее трагической неожиданностью и крушением всего дела. Горького революция испугала, поскольку грозила снести самые идеалы общественности и культуры, им уважаемые, но трагедии для него в ней не было. В его крови не было тех бактерий, которые отравляли других, прошедших сквозь «декадентство» и познавших соблазны мистических грез и наклонений над безднами. Менее сложный, менее интеллектуальный, сильный ощущением связи с темной массой русского народа, гордый своей верой в человека и его разум, Горький оказался *заместителем русской интеллигенции* — представителем и ходатаем за нее перед суровым судом революции.

И вот — на этой высоте своего нового поведения встреча с Блоком, который уже на краю гибели и как потусторонний судит Горького и в его лице — «русскую интеллигенцию». После «Воспоминаний о Толстом» самое замечательное у Горького — это его «Воспоминания и заметки из дневника», а среди них — страницы о Блоке. Они плохо понимают друг друга. Горькому кажется, что Блок говорит в бреду, а Блок не столько не понимает, сколько не верит Горькому, не хочет верить: «Вы прячетесь. Прячете ваши мысли о духе, об истине. Зачем?» Блок в это время уже одержим гневом и жадной гибели, а Горький знает только одно — Человек, и потому одержим жадной самосохранения. Это — разговор двух культур, если не двух пород. И побежденная судит победителя. Блока мучит и вопрос о сознании: «Мы стали слишком умны для того, чтобы верить в Бога, и недостаточно сильны, чтобы верить только в себя. Как опора жизни, существует Бог и я. Человечество? но — разве можно верить в разумность человечества после

этой войны и накануне неизбежных и еще более жестоких войн?» А Горький развивает перед ним мысль о том, что мертвая материя претворяется в психическую энергию и превратит весь мир в чистую психику. «Не понимаю», — мрачно повторяет Блок. И вот — Горький защищает русскую интеллигенцию, а Блок ее поносит...

Да. История имела особые виды на Горького. Пафос самосохранения, хотя бы и неосозанный, хотя бы и догматический, хотя бы и несколько лукавый («Вы прячьтесь»), оказался нужным. Трагическое сознание, в котором была сила Блока, неизбежно приводит к гибели — и тем вернее, чем героичнее это сознание. А в истории есть эпохи, когда нужны люди, которые не столько думают об истине, сколько верят в разумность человечества и представляют себе будущее не как трагическую безысходность, а как апофеоз разума. Если истина одна, то Блок — ее безумный рыцарь, а Горький — ее верный слуга.

ВМЕСТО «РЕЗКОЙ КРИТИКИ»

1

За последнее время я получил в дар от нескольких авторов их романы. Одни потоньше, другие потолще — вплоть до 600 страниц. Они поразили меня не только своей одинаковой беспомощностью, но и одинаковостью сделанных на них надписей: «для того, чтобы хорошенько выругался за недочеты», «на резкую критику», «с просьбой при случае побранить за эту книгу».

Точно сговорились! Что это: смирение, за которым, быть может, скрывается гордость, или подлинное сознание своего бессилия? И то, и другое как-то неправильно, неблагополучно. Что за отношение к литературному труду и что за представление о критике?

И вот, несмотря на такое любезное разрешение, более того — просьбу, рука не поднимается! «Ругаться» — значит уже оценивать с литературной точки зрения, а здесь просто нет признаков литературы. Бессмысленно или неуместно — приехать в степи и «ругаться», что нет лесов и гор.

Я не хочу сказать, что у нас, вообще, нет сейчас литературы, но положение ее очень сложное — такое, что не до ругани. Литература сейчас не делится и не скрещивается. У нас нет живой литературной борьбы, нет литературных «заговоров» — каждый за себя и все вместе, как толпа. У нас писатели ходят по издательствам и по редакциям, как дамы по Гостиному двору — с той разницей, что они не покупают, а продают.

Ведь старая литературно-бытовая борьба, которой вдохновляли себя (может быть, несколько искусственно, чтобы внести оживление) еще недавно некоторые критики, окончательно изжита. У кого теперь хватит пафоса возобновить разговор о «попугчиках» и противопоставлять им «пролетарских» писателей?

И вот — литература уже никак не делится. Или она делится как-то совсем иначе, по-новому — не так, как это было бы удобно некоторым критикам, а может быть — и некоторым авторам.

С литературой что-то произошло очень важное — и дело не в «недочетах» и не в «резкой критике».

2

У нас нет литературной борьбы, а есть распределение по специальностям — как в медицине. И приобретаю ту или другую специальность (хотя бы, например, в области половых вопросов и тем), каждый, естественно, требует к себе уважения.

Есть, например, специалисты по современной деревне. Они пишут романы, которые на самом деле — хрестоматии литературного сырья, неизвестно для какого употребления. Они пишут без оглядки на литературную емкость материала, на соотносительные его качества, на способы его подачи. Тут есть все — на выбор и в огромном количестве: целые страницы частушек или свадебных и посиделочных песен, бесконечные «мужицкие» разговоры, которые в книге кажутся просто ломаным русским языком (читать невозможно), длиннейшие описания собраний и сходов (непременная матерщина), драк — отдельно мужских и женских (матерщина удваивается) и т.д. В центре — непременный коммунист с новыми идеями и благими намерениями, а по краям — стилистические ландшафты, которые, очевидно, должны подогреть литературное чувство читателя и удерживать роман от развала.

Надежды напрасные. От литературщины до *литературности* — расстояние огромное. Оттого, что в одной главе «выглянуло дебелое, как спелое яблоко, солнце», а в другой — «надавили сверху зеленые сумерки, в зеленое с протемненью одеяло укутали деревню», главы эти не срastаются, и вещь не становится литературной. Еще хуже, когда к ландшафтам присоединится психология — в таком роде, например: «Ущипнуло сердце грязным щипком, и ноющее чувство отложилось мягкой складкой в переносице». Какая злая пародия на литературу!

Как тут «ругаться» и какая тут может быть «резкая критика»? Можно только кричать — и не авторам, а в то пустое пространство, которое заполняется такого рода литературой: избавьте нас от этих деревенских романов, больших и малых, — с Аленками, которые «сжигают в любви своей свое девичество», с коммунистами, которые, вернувшись с войны, приправляют ухаживанья за деревенскими «пружинистыми фигурами» (без этого нельзя — «литература» требует!) политикой и мечтами о всяческой «организации», с мордобоем, матерщиной и т.д., и т.п.!

Никакой деревни не получается, потому что нет мысли о том, чтобы сделать из нее литературный материал. Нет мысли о том, что деревня в литературе — непременно экзотика, а следовательно — особого рода (и очень трудная) задача. Давайте ее как угодно — идиллией, гротеском, новеллой американского типа, гоголевской «сказкой», но только не пишите хрестоматии дурного вкуса! В таком виде деревня просто не нужна литературе.

3

Есть у нас другие писатели — специалисты в области психологии или сюжета. Они очень разные, но эта разница — как между родными братьями, в деталях. А в общем — резкое семейное сходство.

Они доносят (иди донашивают?) «высокие» литературные традиции, они говорят о «вечном» и о «человеке». Они также пишут романы и повести, но в надписях не просят «ругаться» и даже не любят критики, потому что обижаются, если находят иронию. Их упорный труд и уверенность в его значении заслуживают, конечно, полного уважения, но это чувство само по себе не относится к литературе. Можно, например, уважать — и не читать.

Материала у этих писателей немного — больше «проблем» и иногда стилистики, разбухающей от доверия к традициям. Их вещи кажутся знакомыми, а это, конечно, убийственно, хотя и может вызывать уважение, как хорошие репродукции. Читателям именно это иногда даже нравится — есть, например, люди, которые ходят слушать только «знакомую» музыку, а на новую ни за что не пойдут.

Среди этих писателей есть очень «популярные», но с литературной точки зрения они — скорее популяризаторы, чем писатели. И поэтому у них нет настоящего пути, нет эволюции. Они скупы и робки. Они хотят захватить побольше «приемов» и усовершенствоваться в своей специальности, но голос их звучит как эхо в пустой зале. И действительно, вокруг них — пустота, хотя и громкая.

4

Дело в том, что у литературы сейчас нет не только своей залы или своего дома («Дом печати» — не в счет), но и своего кабинета. Литература сейчас ведет бродячий образ жизни. Она притулилась к быту — живет вроде на хлебницы, то там, то здесь. Она — в фельетоне, в очерке, в юмореске, в мемуаре, в биографии, в анекдоте, в письме наконец. Настоящий писатель сейчас — ремесленник. Литературу надо заново найти — путь к ней лежит через области промежуточных и прикладных форм, не по большой дороге, а по тропинкам.

Я не назвал ни одного имени — и совершенно сознательно. Литература сейчас безыменна, — как когда-то было кино. Она идет ощупью — до индивидуальностей, до личного пути, *до писателя с именем* в настоящем смысле этого выражения (а не рыночном) нам еще очень далеко, как далеко и до критики, а тем более «резкой».

ДЕКОРАЦИЯ ЭПОХИ

Мы вступили в полосу нового развития исторического и биографического романа. Это — естественный результат эстетического интереса к мемуарной литературе, к исторической экзотике. Современный быт должен предварительно пройти сквозь литературное оформление вне фабулы, в виде очерков и фельетонов, чтобы стать сюжетоспособным. Недаром наши газеты заполняются сейчас своего рода «письмами русского путешественника», в которых описываются «глазами проезжего» не толь-

ко страны далекие, как Ташкент, Сибирь, Кавказ, но и хорошо нам знакомые — Псков, Киев, Полтава, Волга. Целый поток этнографических и нравоописательных очерков — и в лодке, и пешком, и на лошадях.

Попытки строить роман на нашем современном бытовом материале неизменно оканчиваются неудачей, потому что материал этот слишком однозначен — он еще не звучит литературно, еще не влезает в сюжет, сопротивляясь своей злободневностью. Настоящее ему место пока в очерке, в фельетоне или в фельетонном, сатирическом романе, с установкой не на героя, не на сюжет, а на злободневность как таковую.

В такие моменты роман, ставящий себе задачей дать людей и быт, естественно превращается в «исторический», меняя свои обличья соответственно литературным потребностям дня. Ведь исторический роман может быть и биографической хроникой, и социальной эпопеей, и авантюрным «детективом», и т.д.

Для современности характерно развитие именно биографической хроники, в центре которой — вопрос человеческой судьбы. Преобладающим материалом являются не исторические события, а выдающиеся люди, строящие свою судьбу — писатели, музыканты, художники. Целые серии таких историко-биографических романов появляются сейчас и во Франции, и в Германии. То же явление заметно и у нас.

О. Форш работает последние годы по обеим отмеченным мной линиям: мы читали ее московские очерки, до некоторой степени возрождающие старый жанр «физиологических» очерков, и ее исторический роман «Одеты камнем» (фильм «Дворец и крепость»). Новый ее роман, «Современники», уже скорее биографический или историко-культурный: Гоголь, Иванов, Зинаида Волконская, Герцен. Но проблему такого романа О. Форш разрешила своеобразно.

Во-первых, роман этот построен не как биография и не как хроника; это — роман с фабулой, сюжетной основой для которой является неосуществленное преступление («Флаконт Борджа»). При таком замысле основным героем пришлось сделать вымышленное, не «историческое»

лицо — некоего Багрецова, который и несет на себе все бремя необходимых для сюжетного романа — экспозиции, завязки, интриги и развязки. Во-вторых, эпоха дана не через детали жизни и быта, а через стилизованные диалоги и стилизованный же комментарий автора. Гоголь и Иванов говорят цитатами из писем — высокориторических, философских трактатов. В таком высоком, отвлеченно-символическом плане они и взяты автором. Не просто Гоголь, а именно — «Гоголь и черт» (роль последнего и поручена Пашке-химику). Автор *не повествует*, а только сопровождает диалог комментарием, явно стилизуя его: «Вдруг он выпрямился, глаза его *чудно сверкнули*... Слезы брызнули из прекрасных глаз “северной Коринны”... Лицо знойное, прекрасное в своей простоте, как лицо молодой богини... В бесчисленные ниши Колизея глядело пурпурное небо».

Итак — определенная система, определенный принцип, явно противопоставляемый принципу исторической хроники. В этой попытке главный литературный интерес романа. Но попытка не вполне убедительна. Гоголь и Иванов оказываются фоном, на котором разворачивается романтическая фабула. Мы раздваиваемся между интересом к детективу (преступление и наказание Багрецова) и интересом к «современникам» как таковым. В сущности говоря, эти две линии романа остаются совершенно самостоятельными и даже теснят друг друга — стилизация не помогает. Фигура Багрецова вышла чересчур схематичной, образы Гоголя и Иванова — слишком отвлеченными, Рим — слишком декоративным. Несмотря на огромный материал, использованный автором, роман кажется написанным бегло, общо — нет графики, есть только мазки. Это происходит потому, что автор решил дать эпоху не через характеры, не через детали жизни, а через стилизацию — сюжетную и языковую. *Декорация эпохи* налицо, но людей нет — есть актеры. Отсюда — общее впечатление театральности, поддельности. Даже пафос кажется стилизованным — и «жуткие» места оставляют холодным: «Забился в хохоте Гоголь, клюя носом над чуть видными в шарфе усами. Метель рвала, ухала, метель хотела скрутить в смерч этот дом. Хлопал слетевший ставень, и по крыше

топали то босые, то медные ноги. Завыл пес». Декорация! Декорация! Постановка метели (пес устроен за кулисами!), а не метель!

Да, я возражаю против принципа. Если строить исторический роман на фабуле и тем самым делать главным героем вымышленное лицо, то эпоха должна оставаться фоном — и только. Пусть Багрецов — но зачем тогда Гоголь и Иванов? Какой же он им «современник»? Историческая эмоция читателя насилуется этим сопоставлением. И второе: стилизация требует внутренней мотивировки, которой в романе нет. И получается — подделка.

Да, я настаиваю на историческом романе «мемуарного» стиля — с деталями жизни, с вещами, с человеком, без стилистической напряженности, без декораций. Таков, мне кажется, литературный смысл современного интереса к историческому материалу. Мы хотим спокойного, сухого повествования о человеческой судьбе. Если Гоголь, то без нарочитого черта, без декоративных метелей.

С. ЦВЕЙГ — О ТОЛСТОМ

Книга Стефана Цвейга о Толстом интересна нам, прежде всего и больше всего, конечно, именно как книга — *Стефана Цвейга*. Нам интересно знать, что думает и как чувствует Толстого такой насквозь европейский человек, человек современной Европы, как Стефан Цвейг, — независимо даже от того, насколько правильны или объективны его суждения и оценки.

Книга эта, конечно, результат не столько изучений, сколько размышлений и вчувствований. Поэтому было бы совершенно неуместным вступать здесь с Цвейгом в полемику, противопоставлять его тезисам тезисы другие и т.д. Единственно, что можно и нужно сделать — это дать общую характеристику и оценку его книги и тем самым помочь русскому читателю понять ее.

Она не то что трудна, но во многом чужда нам — и прежде всего своим стилем. Она написана витиевато, патетично, пышно, изысканно — а мы отвыкли от этого и даже

не очень любим. Она написана не только в типично западной манере, но даже скорее во французской, чем в немецкой (это, вероятно, большая стилистическая заслуга Цвейга) — а мы сейчас, более чем когда-нибудь, стоим в стороне от подобных соблазнов и поползновений. Читая книгу Цвейга (и тем более — о Толстом), все время хочется перевести ее на русский язык — не в том смысле, в каком это сделано издательством «Время», а в другом, несколько переносном: заменить это изысканное словесное кружево более простой и грубой тканью.

Но оставим в стороне вопросы стиля. Цвейг, в конце концов, имеет полное основание не считаться с нашими требованиями и вкусами или даже презирать их. Я говорю в данном случае не как критик, а просто как русский читатель.

Как понимает и оценивает Толстого Стефан Цвейг?

Книга его написана вне всякого исторического ракурса — не сделано никаких попыток выяснить литературные традиции Толстого, сопоставить его с другими явлениями русской и иностранной литературы XIX века, включить его в эпоху. В этом смысле книга его — насквозь субъективная и импрессионистическая, соприкасающаяся с художественной манерой. Отчасти Цвейг даже мотивирует такого рода точку зрения, заявляя, что творения Толстого, подобные безначальной, беспредельной природе, «никогда не носят характерного отпечатка известной эпохи; если бы некоторые из его рассказов без имени их творца попали кому-нибудь впервые в руки, никто бы не осмелился сказать, в каком десятилетии, даже столетии они написаны, настолько это повествование стоит вне времени». Итак, творения Толстого рассматриваются Цвейгом *sub specie aeternitatis*.

Естественно, что при такой постановке вопроса наиболее удались Цвейгу те главы и места книги, где он говорит о явлениях, непосредственно с историей не связанных, — как, например, «Портрет». Здесь, помимо всего, сказывается именно художественный дар Цвейга — естественное и привычное для него вчувствование в физический и психический облик своего «персонажа». Именно *физический* портрет Толстого, собранный из мельчайших

деталей и тщательно отделанный, наиболее удался Цвейгу. Эта глава кажется наиболее убедительной и проникнутой не только стилистическим, но и душевным пафосом.

Зато другие главы, требующие, по самому существу затронутых тем, другого рода обобщений и тезисов, менее убедительны и менее оригинальны. Глава о Толстом как художнике дает меньше, чем ожидаешь, уже по одному тому, что противоположение Толстого, как изобразителя плоти, Достоевскому, как ясновидцу духа, знакомо нам еще со времени книги Мережковского. Я не хочу сказать, что тем самым это неверно, но мысль имеет разные оттенки, разные формулировки: формула-антитеза Мережковского была характерна и типична для своего времени — сейчас она просто не звучит или звучит как повторение. С другой стороны, такие утверждения Цвейга, как: «Толстой никогда не изучал повествовательного искусства и потому не мог его забыть, его природный гений не знает ни роста, ни увядания, ни прогресса, ни регресса», — кажутся натяжкой. Величие Толстого нисколько не умаляется от того, что он, как мы знаем по дневникам и письмам, много думал над вопросами литературной техники, упражнялся и внимательно изучал образцы мировой литературы — и именно, как изучает мастер-профессионал (ср. хотя бы его отзыв о романах А. Дюма, которыми он зачитывался в 60-х годах). Знаем мы и то, что у Толстого были неудачи, были моменты остановок и пр.

Но в том-то и дело, что все эти вопросы для Цвейга просто не существенны — он их или прямо обходит, или торопится пройти мимо них. Ему, как беллетристу, важно «сублимировать» Толстого, чтобы сделать его подходящим для своей новеллы героем. Его книга о Толстом, в сущности говоря, примыкает к циклу его новелл, названных «Роковые мгновения». Центр ее — это то «роковое мгновение» в жизни Толстого, когда он, внезапно почувствовав присутствие и неизбежность смерти, потерял свое душевное спокойствие и заметался в поисках «смысла жизни». Таков «сюжет» этой книги, трактованный как «типично русская» трагедия.

Но есть в книге Цвейга страницы, где он из беллетриста превращается в публициста. Моралистические уче-

ния Толстого возбуждают в нем негодование — он говорит о них даже с некоторой европейской брезгливостью и называет мышление Толстого «нечестным». В этих страницах проглядывает даже что-то похожее на страх — страх культурного европейца перед явлением дикаря: «Мы не хотим упразднить ни одно из достижений духа и техники, ничего от нашего западного наследства, ничего: ни наших книг, ни наших картин, ни городов, ни науки, ни одного дюйма, ни одного золотника нашей чувственной, видимой действительности мы не отдадим из-за какого-нибудь философа и, меньше всего, за регрессивное, угнетающее учение, которое толкает нас в степь и в духовную тупость».

Конечно, если бы Цвейг сначала не так «сублимировал» своего героя и не вынул бы его из эпохи, то ему потом не пришлось бы так гневаться и пугаться. Поставить жизнь и учение Толстого вне истории, рассматривать его эволюцию исключительно в психофизическом плане — значит неизбежно обеднить и унижить его образ, несмотря на всю «сублимацию». И именно это резко сказывается в главе «День из жизни Толстого», наименее удачной, несмотря на ее беллетристичность. Толстой здесь выглядит ворчливым немцем-педантом, который скачет на своей любимой кобыле в лес только потому, что так нужно для новеллы Стефана Цвейга. Здесь произошла какая-то ошибка в самой конструкции книги: после философских глав «День из жизни» производит впечатление не картины и даже не иллюстрации, а схемы, чертежа.

В заключение — о другой рода ошибке, фактической: «Семейное счастье» писалось Толстым в 1859 г., до женитьбы, а у Цвейга Толстой вспоминает, как Софья Андреевна переписывала ему эту вещь и благодарила его.

О ВИКТОРЕ ШКЛОВСКОМ

Виктор Шкловский — один из немногих писателей нашего времени, сумевший не сделаться еще «классиком». Это выражается не только в том, что у него до сих пор еще нет «собрания сочинений» и его не предлагают, вместе с

покойными Тургеневым и Достоевским, подписчикам журнала, но и в том, что его многочисленно, ожесточенно и непочтительно обсуждают.

Он печатается уже 15 лет — и все эти 15 лет он существует в дискуссионном порядке. Если бы сейчас действовало бюро вырезок, и Шкловский вздумал бы обратиться к нему, то на это дело пришлось бы посадить специальную барышню, и из самых бойких. Каждый день, в какой-нибудь газетной заметке или журнальной статье Шкловского «ругают». Дело доходит до того, что у Шкловского учатся для того, чтобы научиться его же ругать.

При этом обсуждают не столько его идеи, стиль или теории, сколько что-то другое — его самого: его поведение, тон, намеки, манеру. Он существует не только как автор, а скорее, как литературный персонаж, как герой какого-то ненаписанного романа — и романа проблемного.

В том-то и дело, что Шкловский — не только писатель, но и особая фигура писателя. В этом смысле его положение и роль исключительны. В другое время он был бы петербургским вольнодумцем, декабристом и вместе с Пушкиным скитался бы по югу и дрался бы на дуэлях; как человек нашего времени — он живет, конечно, в Москве и пишет о своей жизни, хотя, по Данте, едва дошел до ее середины. В другое время его называли бы «властителем дум»; в наше строгое, скупое время его назовут, пожалуй, «властителем фразы» — до такой степени манера его вошла не только в литературу, но в письмо, в быт, в разговор, в студенческие рефераты.

Хвалить Шкловского в печати редко кто берется, потому что каждому пишущему (в том числе — и рецензенту, как бы он ни подписывался — Жорж Эльсберг или Я. Николаев¹) надо прежде всего освободиться от него. На него жалуются как на несправедливость судьбы. Он обидел многих: одних — тем, что, не зная английского языка и немецкой науки, сумел возродить Стерна, других — тем, что, написав замечательные работы по теории прозы, оказался не менее замечательным практиком. Это особенно раздра-

¹См. рецензию на книгу В. Шкловского «Материал и стиль в романе Л. Толстого «Война и мир»» в журнале «На литературном посту», 1929, апрель (№ 7).

жает «беллетристов». Пока человек ходит в теоретиках, беллетристы смотрят на него спокойно и свысока. Шкловский сумел не стать беллетристом, но тем не менее доставил им много неприятностей своими книгами. Людям, не связанным с ним профессиональной или исторической дружбой, трудно переносить его присутствие в литературе.

Шкловский совсем не похож на традиционного русского писателя-интеллигента. Он профессионален до мозга костей — но совсем не так, как обычный русский писатель-интеллигент. О нем даже затрудняются сказать — беллетрист ли он, ученый ли, журналист или что-нибудь другое. Он — писатель в настоящем смысле этого слова: что бы он ни написал, всякий узнает, что это написал Шкловский. В писательстве он физиологичен, потому что литература у него в крови, но совсем не в том смысле, чтобы он был насквозь литературой, а как раз в обратном. Литература присуща ему так, как дыхание, как походка. В состав его аппетита входит литература. Он пробует ее на вкус, знает, из чего ее надо делать, и любит сам ее готовить и разнообразить. Поэтому он профессионально читает книги, профессионально разговаривает с людьми, профессионально живет. Не профессионален он только, когда спит — и потому (несмотря на скрип рецензентских перьев) спит крепко, не так, как обычно спят русские литераторы и беллетристы.

Старому поколению русских интеллигентов Шкловский, в свое время, пригрозил «Опоязом» — так, как сто лет назад будущие русские «классики» пригрозили академикам и шишковистам своим «Арзамасом».

Новое поколение борется с Шкловским, потому что оно должно придумать что-нибудь свое. Это, конечно, лучшее доказательство того, что Шкловский — человек, воплотивший в себе дух своего поколения.

Если он еще не «классик» (как хотя бы, например, Леонид Гроссман), то только потому, что он относится к числу не настоящих, а будущих русских классиков.

ЗАМЕТКИ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

Русская литература превратилась в сплошной мемуар и памфлет. Героем стал сам литератор. Это не ново, но симптоматично.

Сейчас это явилось в результате поисков героя и потребности в иронии. Без иронии литература не может существовать. Сейчас ирония возможна либо в виде юморесок без героя, без фабулы, с нажимом на язык деклассированного элемента (Зощенко), либо в виде фельетона, имеющего агитационную, практическую цель (ирония — как ход к серьезному выводу), либо... Либо в романе с «писателем», потому что писатель тоже деклассирован и тем самым беззащитен.

Писатель в нашей современности — фигура в общем гротескная. Его не столько читают, сколько обсуждают, потому что обычно он мыслит неправильно. Любой читатель выше его — уже по одному тому, что у читателя, как у гражданина по специальности, предполагается выдержанная, устойчивая и четкая идеология. О рецензентах (критиков у нас нет, потому что нет разницы в суждениях) и говорить нечего — они настолько же выше и значительнее любого писателя, насколько судья выше и значительнее подсудимого.

* * *

Главное отличие Москвы от Ленинграда сейчас в том, что Москва каждый день диспутирует, а Ленинград молчит. Пробуют изредка и у нас это делать, но не получается. Выходит тихо, нравоучительно, без скандалов. А какой же это диспут без скандала? — публика расходится разочарованной.

Ленинград привык к мысли о том, что наше время нашло во всех вопросах подлинную и окончательную истину. А если так, то к чему и о чем диспутировать? В Москве это — развлечение, а Ленинград — город серьезный и кроме цирка никаких развлечений не признает. Поэтому, даже если устраивается в Ленинграде диспут, то с приезжими москвичами.

У москвичей есть техника скандалов, но в Ленинграде она теряет свою остроту. На одном недавнем диспуте молодому московскому поэту ужасно хотелось прочитать свое стихотворение, к делу никак не относившееся. Но так как «дело» не шло, всем было скучно и диспут шел явно мимо скандала, то поэт, дважды садившийся на место, решительно встал в позу декламатора. Публика старалась шуметь, а некто на эстраде громко свистнул. Тогда поэт, подойдя к краю эстрады, вложил пальцы в рот и так оглушительно свистнул, что стены Академической капеллы дрогнули. Получился скандал? Ничего подобного. Поэт «зачитал» свое стихотворение при полной тишине. Были аплодисменты.

Поэтом можешь ты не быть,
Но свистом ты владеть обязан.

* * *

Поэтов мало; стихов, как говорят издатели, никто не читает. Прозаиков много, но они всё еще не научились писать так, как требуют рецензенты.

А тут еще с разных сторон раздаются голоса, что беллетристика вообще — дело устарелое: довольно, мол, и газет. Утром — «Правда», вечером — «Вечерняя красная» с интересным отделом «В две строки». Кому угодно — и стихи есть, на злобу дня или на погоду: Борис Соловьев, Геннадий Фиш, а иной раз даже Василий Князев. Внимательно читать — на весь день хватит.

* * *

Я — из врачебной семьи и, в противоположность многим литераторам, привык уважать врачей, даже если они немного литераторы. Эта привычка сохранялась у меня некоторое время и по отношению к доктору Вересаеву, о «Записках врача» которого много говорили воронежские врачи, когда я был гимназистом.

Теперь я совсем убедился, что каждый литератор должен быть врачом — и убедил меня в этом тот же доктор

Вересаев. Помимо моей просьбы (я бы не решился обратиться к нему не только за медицинским, но и за литературным советом) он решил по моим работам поставить точный медицинский диагноз моему здоровью и тем самым вскрыть природу «формального метода». Оказалось, что у меня, дряхлого старичка, ужасные болезни: миокардит («наш миокардический старичок»), склеротическая атрофия всякого живого человеческого чувства и, сверх того, подозревается... геморрой. (См. «Новый мир», 1927, кн. 12.) Примерно те же болезни — у Виктора Шкловского.

Вот что такое «формальный метод» с научной медицинской точки зрения.

А критики-социологи ломали голову!

Одно утешение — что Вересаев такой же врач, как писатель.

* * *

В нашей современной критике есть только два жанра: статьи с примечаниями от редакции и без оных. Жанр «без оных» мне редко удастся, но зато и примечания не всегда удаются редациям. Обычно наборщики подводят. К моей статье о М. Горьком в «Веч. красной» примечание гласило: «Помещая этот, в общем, несомненно интересный доклад, редакция считает нужным указать, что литературно-общественная роль Горького очерчена автором несколько односторонне, без *социалистического* анализа, совершенно необходимого для понимания такого литературного явления, как «писательский облик М. Горького». В журнале «На литературном посту», где корректура вообще небрежна (как недавно продемонстрировал В. Шкловский — см. его ответ А. Фадееву в «Литературной газете» № 3), к моей статье о литературном быте было примечание: «Считая настоятельно необходимым серьезную проработку вопроса о так называемой формальной школе в литературоведении и переживаемой этой школой эволюции, *реакция* дает место» и т.д. Товарищи наборщики, подтянитесь!

У меня новая забота. Оказывается, я и любовные письма должен писать «научно», чтобы не потерять репутации. Поэт Вл. Заводчиков, мой ученик по Университету, написал очень недурную поэму «Лошадь и человек». Я дал ему коротенькое предисловие в форме почти письма, где вспоминал наши университетские встречи и, хваля поэму за «поэтическую искренность», кончал словами: «Я протягиваю Заводчикову руку». Что же вы думаете? Поступивший недавно в рецензенты Поступальский пишет так: «Предисловие Б. Эйхенбаума (!)¹ несодержательно. Странно, что Б. Эйхенбаум заговорил о “выражении лица”, о “задушевности”, “свежести”... Очень уж ненаучно.

Когда выйдет сборник рецензий Поступальского, я напишу наоборот — о банальности, отсутствии лица и т.д. Ручаюсь, что будет совершенно научно.

¹Восклицательный знак — Поступальского. Смысл этого знака мне неясен.

МАРШРУТ В БЕССМЕРТИЕ

**Жизнь и подвиги чухломского дворянина
и международного лексикографа
Николая Петровича Макарова**

НЕОБХОДИМОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ

Предлагаемая книга имеет свою историю или, вернее, свою биографию. Ее надо вкратце рассказать, чтобы читателю понятны были и происхождение книги, и самый ее смысл.

Изучая Л. Толстого и эпоху 50—60 годов, я обратил внимание на один исторический факт: появление в эту эпоху огромного количества всяческих “чудаков”. Факт этот не случаен — он характерен и знаменателен как факт социальный, неразрывно связанный с экономическими преобразованиями эпохи.

Это были дворяне-помещики, придерживавшиеся в той или другой степени славянофильской идеологии. Среди них были люди очень талантливые и любопытные — как математик С. Урусов, как лингвист П. Лукашевич. Н. Гиляров-Платонов назвал их в своих воспоминаниях “эксцентриками” и “Дон-Кихотами просвещения”. Крушение феодализма, а с ним вместе и славянофильства, заставило их сделаться врагами новых идей и направлений. Они отошли в сторону, замкнулись и стали ожесточенно заниматься науками, и притом науками “чистыми” — не биологией или политической экономией, а филологией, математикой, астрономией. Они стали изобретателями разных фантастических теорий, вещунами, пророками.

Это были Дон-Кихоты высшей породы, “чаромуты”, выдумывавшие мировые законы и диктовавшие правила поведения. Они заслуживают особой историко-социальной монографии.

Но были и другие чудаки — Дон-Кихоты низшей породы, в историческом смысле не менее, а пожалуй, даже более характерные для мелкого дворянства эпохи “оскудения”. Они не строили теории, а жили инстинктом и фантазией. Они были уверены в себе, влюблены в себя, поглощены собой. Они считали себя гениями и требовали славы. То и дело попадая в смешное или в жалкое положение, они проклинали Россию, судьбу, историю. Если Дон-Кихоты первой категории (“чаромуты”) играют на исторической сцене роль трагическую, то Дон-Кихоты второй категории являются персонажами комическими, гротескными, пародийными.

Их было много, но большая их часть не оставила никаких следов своего существования. Они сдавались с возмущением, но без боя. Однако были среди них более упорные и настойчивые — не только чудаки, но и маньяки. Они кричали, лезли с кулаками, вмешивались во все дела, доказывали свое право на славу и на бессмертие, ездили по Европам и производили шум в международном масштабе. Одним из таких маньяков был Николай Петрович Макаров — гитарист, автор неизвестных романов и составитель известных международных словарей.

В 1860 г., после целого ряда жизненных неудач и потрясений, Н.П. Макаров издал роман под заглавием “Две сестрички”. Это был не столько роман, сколько автобиография, изложенная в третьем лице. Книга была написана, как автор сам потом признавался, “слишком скоро, без обдумывания, без поправок и переделок, а — как говорят французы — “au courant de la plume”. Она не продавалась и пошла на обертки. Потом появился новый роман — “Банк тщеславия”, тоже автобиографический. Его высмеяли. Тогда последовал третий, большой роман — “Победа над самодурами и страдальческий крест”. Здесь опять была повторена жизнь автора. Но побежденными оказались не самодуры, а сам автор: роман был уничтожен приговором Д.И. Писарева, и автору пришлось проститься с литературой.

Став лексикографом и добившись наконец на этом поприще некоторого успеха, Макаров издал в 1881 г. свои “семидесятилетние воспоминания”, в которых, собственно, опять повторил свои прежние романы, подбавив к ним несколько новых глав и страниц. Это — исключительная по пошлости и классовой ограниченности фанфаронада на тему об обидах, претерпленных российским дворянином на протяжении почти всего XIX века. И вместе с тем — это замечательный материал для характеристики дворянско-чухломского периода русской истории. От гвардии, через питейные откупа, к гитаре; от гитары к известко-обжигательному и плитному заведению, от этого заведения к литературе, а от литературы к словарям — таков витиеватый, несколько анекдотический, но от этого не менее характерный путь, проделанный Н.П. Макаровым.

Я использовал его воспоминания как материал, гротескно рисующий главные этапы разложения дворянства. Книга эта — не роман о великом человеке, не психологический портрет, не исторический роман и даже не сатира (речь идет о давно отжитом), а скорее всего — историческая карикатура или исторический фарс.

Макаров добился, в конце концов, известности и даже славы. Но увы! — не той, о которой мечтал. Слава Макарова как составителя международных словарей — это нечто вроде славы его родного города, Чухломы. Все знают это название, но где самый этот город? И существует ли он на самом деле?

“Чухлома” — это не название, а слово. То же случилось и с фамилией Макарова.

Я возвращаю Н.П. Макарову его фамилию и даже право на бессмертие, делая его фигуру в некотором роде “исторической”.

Б. Эйхенбаум

ЗАМОГИЛЬНОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА МАКАРОВА

“Но зато в искусстве предисловий мы в самое короткое время сделали столько успехов, что едва ли не обогнали на этом поприще все народы земного шара”.

М.Е. Салтыков (Щедрин)
“Скрежет зубовный”.

КО ВСЕЙ ЧИТАЮЩЕЙ РУССКОЙ ПУБЛИКЕ

Читающей русской публике достаточно известна моя фамилия. Словари лексикографа Н. Макарова не менее знамениты, чем “Война и мир” графа Л.Н. Толстого, например.

Но известно ли, как жил, что делал и почему стал международным лексикографом этот Н. Макаров?

Увы! Вот это-то почти никому неизвестно.

Почему?

Потому что любезные мои современники решили меня похерить и украли 20 лет моей жизни.

А знаете ли вы, что такое 20 лет жизни? Это не только не фунт изюма, но даже не свиной окорок.

Поясню это выражение.

У одного священника стащили из кладовой 20 окороков, заготовленных на продажу. Это так поразило его, что он с тех пор стал обозначать летосчисление так: “Лета от сотворения мира такого-то, от Рождества Христова такого-то, а от покражи моих окороков такого-то”.

Каково же мне-то вести свое летосчисление?

Да, любезные русские люди, я жил, и жизнь моя была полна бурных треволнений и перемен. Из нее можно было бы сделать большой и увлекательный роман...

Что я! Не один, а несколько интереснейших романов и потрясающих драм вмещает в себя моя жизнь — это порою тихое, благополучное, под ясным небом, а наичаще бурное, со шквалами и штормами плавание по житейскому морю — от берега несчастного рождения до берега вечно-го успокоения. Какой-нибудь покойный Дюма сумел бы

выкроить из моей жизни, по меньшей мере, романов двенадцать, да еще не в счет абонемента несколько драм. Тако ведь во Франции, а у нас в России...

Не в России бы мне родиться, а в Испании. Не в Чухломе, а в Гренаде или Севилье. Был бы я тогда не международным лексикографом, а мировым гитаристом, не “французско-русским Макаровым”, а испанским гидальго.

Пусть соотечественники назовут меня Дон-Кихотом. Я принимаю имя этого благородного испанца, борца за правду и справедливость. А вы, любезные мои соотечественники, носите, пожалуйста, кличку Санхо-Пансы: она вам подходит в самый раз!

ПОСТСКРИПТУМ

Отлежавшись в могиле, я еще явлюсь где-нибудь и когда-нибудь. И нас будет много!

Вот тогда вы увидите, что такое чухломской дворянин и международный лексикограф Николай Петрович Макаров — Makaroff.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЧУХЛОМА И ВАРШАВА

ГЛАВА I

Н.П. МАКАРОВ В ДЕТСТВЕ (Автохарактеристика)

“Чухломцы все сделают, — говорилось в петербургских гостиных. — Они и земледелие возродят, и торговлю разовьют, и новые породы скота разведут, и общественное спокойствие спасут”.

М.Е. Салтыков (Щедрин)
“Помпадуры и помпадуриши”.

Я родился в одну из самых бурных и замечательных эпох международной и русской (славяно-скифской) истории: спустя пять лет после Аустерлицкого сражения и за два года до нашествия французов, недавно описанного известным графом Л.Н. Толстым.

Итак — я родился в 1810 году.

В эту эпоху родилось много великих людей, впоследствии прославившихся на разных поприщах военной и мирной деятельности. Был бы среди них и я, если бы злая судьба при самом моем рождении не взглянула на меня страшно косо. Увы! она отметила меня своим железным перстом и повила на горе, несчастья, страдания, недоразумения и неудачи.

Отец мой назывался Петром Петровичем и был человек добрейшей души. Он целых двенадцать лет сряду прослужил в должности чухломского исправника и не только ничего не нажил в этой должности, но наоборот —

совершенно разорился. У него было три страсти, погубившие и его самого, и его семью: первая и основная — к женскому башмаку, хотя бы и стоптанному; вторая — угощать всех и каждого; третья — искать клады. В старости он все свое время проводил в поисках кладов — и, конечно, ни разу ни одного не нашел.

Мать моя была Анна Макаровна, урожденная Мичурина. Она происходила из старинного дворянского рода (Костромской губернии) и была женщина необыкновенная, вся составленная из контрастов: добрейшее, но в высшей степени гордое сердце, характер прямой и благородный, но до необычайности пылкий, нетерпеливый, мечтательный и капризный. При этом — сильнейшее остроумие. Ее язык не знал пощады: брил и колол всех и каждого. Горе человеку, которого она не любила! А этим горечеловеком был прежде всего я — ее родной сын.

Во всей всемирной истории я не знаю другого такого примера. Она почти не пускала меня к себе на глаза, а при случайных встречах с нею я удирал со всех ног и забирался куда-нибудь подальше, в самую трущобу, чтобы отыскать меня было не легко. Зато она обожала старшего брата, Сашу. Но вот — опять контраст: она не только не баловала его, но напротив — была неумолимо строга и очень часто секла. И еще контраст: собственноручно высечет, а потом заставляет его смеяться, плясать и петь народные песни. И только что высеченный ребенок, еще всхлипывающий от боли и обиды, смеется, пляшет и поет песни... Меня не секли и не заставляли плясать, но зато я не знал и не знаю, что значит взгляд матери.

Судьба покарала несправедливую мать: Саша умер на шестом году жизни, а вскоре после него умерла и она. И вот — даже умирая, она не захотела благословить своего сына. Меня привели к ее смертному одру, а она посмотрела на меня, вздохнула и сказала, слабо шевельнув рукой: “Уведите его... Бог с ним!”

Вместо матери меня воспитывала няня Соломонида, переходившая из поколения в поколение. В день кончины Петра I ей исполнилось 17 лет, а когда я родился — ей стукнуло уже 102 года. Она пережила Наполеона и нетронутой девицей (*de jure et de facto*) в гроб легла, проводив меня на военную службу в Варшаву. Но об этом после.

Со смертью матери передо мной открылось широкое поле деятельности: бегай, шуми, шали, кричи, бей, ломай, коли, колоти, травы кошек собаками, дразни индюков и гусей, гоняй поросят, купайся в пруде, шлендай по лужам, играй в снежки, запрягай в салазки дворняжку Серку, которая то повезет, то укусит (*selon sa belle ou mauvaise humeur*) — одним словом, пользуйся полной свободой во всех словах и действиях.

Ну, я и пользовался этой свободой со всей широтой своей натуры. Собрал целую банду дворовых и крестьянских ребятишек, с которыми обращался по-своему, по-дворянски: одному — зуботычина, другому — десять кулаков в спину, третьему — пять подзатыльников и два тумака в голову, четвертому — волосяная потасовка и т.д.

Любимая моя шалость была следующая: поймав поросенка за уши, заставлю его визжать с ожесточением, а сам стремглав удираю с ним по двору от разъяренной матки и, взобравшись на забор, смеюсь над бессилием материнского гнева и с помощью давлений, щипаний, дерганий за уши и тумачков заставляю поросенка вывизгивать мое, Николашино, торжество самым пронзительным поросячьим визгом. Так я мстил судьбе и природе за то, что она лишила меня материнской любви.

Какая странная, злая и прихотливая игра насмешливой судьбы! Мать ненавидела меня, а я, как нарочно, вышел весь в мать — и наружную и духовную стороною моей личности. У меня был тот же высокий рост, та же стройность сложения, ее лицо, ее карие глаза, ее прямой нос, ее огненно-рыжие волосы. Даже ее привычка передалась мне, хотя и в измененном виде: она высовывала язык и облизывала им нижнюю губу, вода вправо и влево, а я его жевал (и жую до сих пор).

Характер у меня был неукротимо бурный и составленный из контрастов — совершенно как у покойной матери. Я был необыкновенно чувствителен, чрезвычайно добр и сострадателен. Готов был все, что имел, отдать бедному, страждущему. Но зато когда всплыву — начну драться, щипаться, готов откусить нос. Упаду, бью ногами о пол, кричу благим матом, словно меня режут. Стоило меня приласкать — и я опять добр и весел. *Tout par amour et rien par*

force — вот мой характер. Эгоизма во мне и тени никогда не было. Я не мог равнодушно слышать о какой-нибудь несправедливости, о злом, нечестном поступке: кипятился, извергал потоки чуть не лавы, потоки громовых филиппик. И это сохранилось у меня на всю жизнь. Недаром мой зять прозвал меня Аммалатом да еще Везувиечем. Это прозвище дано мне было еще и потому, что при одном шорохе женского платья меня бросало в жар и холод — делалась со мной и лихорадка и горячка. Но об этом подробно я расскажу потом.

Трудно было решить, к чему именно была у меня способность. У меня ко всему была охота, страсть, жадное влечение. Что только ни увижу нового, тотчас же принимаюсь за подражание: строгаю, клею, перепачкаюсь, изрежу, исколю себе руки, тружусь без устали, забываю еду и сон, и до тех пор не брошу, пока худо ли, хорошо ли, не окончу начатого дела. Ум во мне спал, — спал долго, начиная с детства и до конца моей возмужалости. Но этот недостаток с успехом возмещался необычайной живостью характера и воображения, а также настойчивостью и упорством.

Темперамент у меня был огненный, в жилах — расплавленная лава вместо крови, воображение беспредельное: оно носило меня за орбиту солнечной системы, за млечный путь, за пределы вселенной. И самая вечность не смущала меня, не пугала, не останавливала — и в эту таинственную бездну пытался я проникнуть на крыльях смелого, необузданного воображения!

Меня, например, очень занимал вопрос о черте. Смертельно хотелось мне узнать, что такое этот черт и дьявол, о котором я беспрестанно слышал вокруг себя: “Пошел к черту! Пошел к дьяволу! Черт тебя подери (или побери)! Иди к черту, к дьяволу на рога” и т.д. Но на все мои расспросы Соломонида только крестилась, ахала и повторяла: “Да сохранит тебя Господь от всякой нечистой силы!” Позже я понял, что черт — это тот же человек, и преимущественно русский человек — патентованный зубоскал и нигилист.

Еще одна замечательная черта: я обожал грозу. Как загремит гром, я бегу в мезонин — и к окну: распахну его настежь и давай наслаждаться! Высовываю голову из окна,

размахиваю руками, точно дирижирую, и кричу во все горло что-то вроде заклинаний: “У-ля-ля! А-лю-лю! Та-ра-рай! Тах-тах! Тара-тах!”

Вместо описания отдельных черт и занятий я сделаю вот как: перечислю все то, за что я принимался и что делал, начиная с пятилетнего и до двенадцатилетнего возраста:

1) Делал коробочки, корзинки, ящики, шкатулки и табакерки из картона, мною же приготовленного;

2) Месил глину и лепил из нее болванчиков, куколок, горшочки, чашечки, тарелочки, курительные трубки; делал даже кирпичи, из которых сооружал потом домики;

3) Делал калейдоскопы, маленькие весы и гири из гипса, сережки и подвески из медной проволоки, бус и бисеру, и не очень дурные, потому что их охотно носили деревенские и даже дворовые девочки;

4) Делал и сделал часы стенные и карманные: разумеется, они не ходили, но внутри них было множество деревянных колес и цилиндров, а на циферблате — подвижные стрелки и римская цифирь;

5) Завел аптеку под галереей, где на полке лежали в баночках всякие снадобья, как-то: березовый уголь (от скопления газов), шалфей, мята, сушеная малина, спуск и еще несколько простых, невинных средств;

6) Строил из поленьев и жердей мосты через лужи в дождливое время;

7) Увидал где-то лотерею-вертушку; вернувшись домой, тотчас же сделал нечто подобное, наделав, между прочим, и разных вещиц для выигрышей;

8) Вязал чулки и вышивал по канве (любовь к этому занятию вернулась ко мне в старости, как отдых от работы над словарями);

9) Пробовал тачать башмаки, сам готовлял дратву; это удалось мне наполовину: верхнюю часть башмака стачал с грехом пополам, но с подошвой не сладил;

10) Сделал лук и стрелы с остриями из толстой железной проволоки и научился стрелять очень метко — особенно в свиней и поросят (жалею, что не сумел воспользоваться этим искусством в зрелом возрасте, когда на меня обратились все свиные хари и обезьяньи морды русской журналистики);

11) Всегда воспитывал кого-нибудь: щенка, котенка, галчонка или вороненка; все они, правда, сдыхали раньше времени, не знаю отчего;

12) Сделал флейту, кларнет, гитару и скрипку — разумеется, для игры негодные, но по форме вполне подходящие к оригиналу;

13) Писал иконы, т.е. срисовывал с образов карандашом на березовых дощечках, приготовляемых для меня стариком Лазаричем, развешивал их по углам и дарил ребятишкам;

14) Сделал из жестяной коробки и медной проволоки кадило и служил перед мною же сделанными иконами обедни, молебны и всенощные, изображая священника и дьякона;

15) Отрывал клады, т.е. собирал в старые горшки или кастрюли всякий хлам, мною же найденный (или выкраденный), и закапывал где-нибудь во дворе, а потом созывал своих сподвижников и отправлялся на поиски, которые, конечно, увенчивались полным успехом — в противоположность моему отцу;

16) Слышал я от отца, что есть законы, указы и наказания за вины — давай сейчас же сочинять свод законов для введения правильного правосудия между дворовыми ребятишками; в этом новейшем “уложении о наказаниях” значилось: “§1. Кто разобьет стакан, или рюмку, или тарелку, тому тумак в спину. §2. Кто изломает мою игрушку, тому потасовка. §3. Кто произведет в комнате неприличнейший звук горлом, носом или чем другим, тому тумак и дранье за вихор” — и так далее, до 20 параграфов.

17) Полюбил стихи и стал заводить альбомы (мною же сделанные и переплетенные), в которые вписывал все, что попадалось мне в руки, печатное или писанное, из тогдашней бедной антологии. Сам сочинил только пародию на “Светлану” (довольно удачно), взяв за героиню горничную Татьяну, и род сказки о самом себе, которая начиналась так: “Во время оно жил-был раб Божий Николай. Его не кормили, не поили и в подполье посадили. Сидит он день, сидит другой, сидит и третий. Никто о том не знает, только комар и муха, и то Святым Духом” и т.д.

Вот каким я был деятельным и изобретательным мальчиком. И это несмотря на то, что я жил в Чухломе! Эх,

Россия, Россия! Славяно-скифская, славяно-татарская страна. Родись я в другой стране, из меня, наверно, вышло бы что-нибудь крупное.

В детстве и отрочестве казалось, что я недолговечен, но с тринадцатилетнего возраста я начал крепнуть, так что в восемнадцать сделался уже чрезвычайно сильным, прямо могучим. Здоровье мое казалось скованным из стали. Я насмеялся над сквозным ветром, над дождем, жаром, холодом, слякотью, сыростью, туманом и над всеми прочими приятностями нашего северного климата. Простуда, ревматизмы, флюсы, насморки, кашли, гриппы — вся эта свита комплекций, изнеженных фуфаечным воспитанием, были мне решительно незнакомы. Зато благодаря милым моим современникам (спасибо, спасибо!) я хорошо узнал другого рода болезни — болезни души, обиженной несправедливостью, обманом, гонением, злобой, зубоскальством. Если человек не шарлатан, не нахал, не низкопоклонник, его осмеют, сделают из него карикатуру, назовут его сумасбродом, а то и просто дураком. Осудят его без суда и без апелляции, убьют в нем и талант, и энергию, и жажду добра. Грустно, тяжело... Но таков свет.

ГЛАВА II

ЧУХЛОМСКОЙ ДЕКАМЕРОН

После описания детства Николаю Петровичу следовало бы сделать подробное описание Чухломы. Но на это у него не хватило ни темперамента, ни терпения, ни искусства. Уж очень неблагоприятная тема для писателя с его стилем, с его размахом!

Он сообщает только, что Чухлома издавна стоит на своем месте, в Костромской губернии, что в ней полторы тысячи жителей, две церкви и четыре каменных дома.

Нет ни гостиного двора, ни жареного мака.

Давность существования подтверждается какой-то летописью, в которой сказано: “А промеж Галича и Солигалича 40 верст град Чухлома на озере”.

Озеро большое.
В озере караси.
На озере плесень.

В плесени зеленые мошки. Мошки поднимаются тучами на воздух и затмевают солнце.

Вот и весь пейзаж.

Среди чухломских помещиков особенно замечательна была семья Катениных, бывшая в родстве с Макаровыми: братья Павел и Петр Александровичи и их родной дядя Николай Федорович.

Павел Александрович Катенин — человек известный в литературе, друг (или вернее — враг) Пушкина. О нем Николай Петрович рассказывает так: “Павел Александрович обладал необыкновенными природными дарованиями. К редкой, необычайной памяти у него присоединились живой, смелый, острый, саркастический ум и неистощимое, жгучее остроумие, необыкновенный дар слова и самого ясного изложения, громовое, всепобеждающее красноречие и необъятная начитанность. Родись и живи он в Англии или во Франции (а я в Испании), из него вышел бы один из великих парламентских ораторов, новый Мирабо. У нас же он блеснул как ослепительный фейерверк, не оставив после себя ничего, кроме минутного треска и дыма, тотчас же бесследно пропавших в воздухе. А если бы он поступил на театральную сцену, из него вышел бы гениальный трагик, второй Гаррик или Тальма. Перевел он стихами несколько трагедий Корнеля, написал несколько оригинальных антологических пьес и повестей в стихах и прозе, но стихи и проза его были тяжелы, снотворны. Декламировать, рассказывать, острить, спорить, опровергать, доказывать, словом, “ораторствовать” — вот сфера, в которой он был непобедим, неподражаем, несравним и незаменим. И как окончил свою жизнь этот “esprit fort”, этот гений диалектики, остроумия и красноречия? Как кончают многие русские люди — особенно в Чухломе: сделался пьяницей и впал в сальность, в грязь, в кощунство и в такие цинические эксцентричности, что все стали избегать его как зачумленного или одержимого опасной манией. И это был друг Пушкина!”

“Встанет он, бывало, утром, подойдет к окну, поглядит-поглядит, услышит церковный звон — и готово дело:

соберет своих крестьян и дворовых обоего пола (даже детей), расставив их в два ряда между своей усадьбой и ближайшей деревней и велит им взять по вербной ветке, а сам, усевшись на кляче, едет среди них по направлению к церкви. Колокол гудит, Катенин едет верхом на кляче, а крестьяне машут ветками и кланяются. Получается “въезд в Иерусалим”.

Другой Катенин, Петр Александрович, был крестным отцом Николая Петровича. Он был подвержен периодическим запоям и вечно возился с причетниками, которых угощал вином до бесчувствия, а потом придумывал какие-нибудь штуки. В этих штуках проходила вся его жизнь. Однажды собрал он причетников к себе, усадил за круглый стол и напоил архангельским цимлянским. Когда они заснули и головы на стол опустили, он взял сургуч и печать и припечатал все восемь бород к столу. Причетники спят блаженным сном, а прислужники, наученные Петром Александровичем, вошли да как заорут во все горло: “Пожар! Спасайтесь! Горим!” Получилась картина почти библейского стиля.

Дядя братьев Катениных, Николай Федорович, был тоже человек библейского или, по крайней мере, древнерусского стиля. Николай Петрович сравнивает его с Иоанном Грозным. Он был среднего роста, плотный, крепкий старик. К короткой и толстой шее была прикреплена огромная голова. Длинные и совершенно белые волосы прядями падали на плечи. Большая седая борода окаймляла широкое и совершенно красное лицо. Серые глазки, всегда налитые кровью, горели как два угля из-под густых, сдвинутых серых бровей. Сидя в глубоком вольгеровском кресле, обитом пунцовым штофом, он выслушивал доклады и делал распоряжения.

У него было около тысячи душ и большой стеклянный завод. Имение его было со всех сторон окружено обширным дремучим лесом — “словно притон сказочного атамана-разбойника”, — прибавляет Николай Петрович. Кроме сына, много выборов сряду прослужившего предводителем в чухломском уезде, никто не навещал этого страшного старика добровольно. Те, кому была крайняя необходимость, ехали к нему со страхом и трепетом, —

“зная про его неприступную гордость и высокомерие, про его бешеный нрав, свирепость сердца и глубокое презрение к властям и к законам, божеским и человеческим”.

Про его обращение с крепостными ходили страшные рассказы. Говорили, что у него в подземелье устроена тюрьма, или, вернее, застенок — с палачом, с цепями и кандалами, с разными орудиями истязаний и пыток. Говорили, что он “распинал на кресте”, т.е. прикреплял к кресту железными обручами за шею, руки и ноги и оставлял в таком положении свою жертву на сутки и более, без пищи и питья.

Так развивалась в Чухломе фантазия: от озера — плесень, от плесени — мошकारа летучая, от мошकारы — потемнение света и разума.

Иные помещики, и даже не очень пьющие, почти с ума сходили. День кое-как пройдет, а ночью вдруг жутко делается, страх за сердце схватит: станет в голове мысль, что ничего нет, — что лежит он, чухломской помещик, на дне озера, а караси собираются его кушать и только не знают, с чего начать. И вдруг — караси эти совсем не караси, а собственные его крестьяне: они хотят помещика повесить и только не знают как — за голову или за ноги. И пойдет дальше такая страшная путаница, такая дикая “чухлома”, что проснется помещик весь в холодном поту. От озерных ли паров такое наваждение шло, или от мошकारы зеленой, или от каких-нибудь исторических законов — неизвестно. Говорили, что сны эти и страхи особенно распространились в Чухломе со времени нашествия Наполеона. Но тут, конечно, не один Наполеон виноват, а также и климат, и почва, и раса (по Бюкю).

Пора, однако, перейти к анекдотам, рисующим нравы чухломских и солигаличских помещиков и обывателей. Их имеется целая серия.

ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЙ ШУТ

В Солигаличском уезде, в селе Богородском, жила тетка Николая Петровича по матери — Александра Алексеевна, дама важная и богатая, дочь генерала. Она была заму-

жем за Иваном Антонычем Шиповым. Он был глуп как пробка и пребывал всегда навеселе, потому что через каждые два часа глотал по рюмке водки, закусывая сухариком из черного хлеба. Когда он говорил, то оплеывал и себя, и своего собеседника. А говорил он только: “Ну, брат!” или “Эх, брат!” или “Что, брат?” или “Полно, брат!” или “Ей-Богу, брат!” Больше у него ничего не выходило.

Шиповы славились как своим хлебосольством, так и изяществом своего стола. Вина, сыры, сельди, фрукты и прочая гастрономия выписывалась из Петербурга, прямо с биржи. На кухне работали три повара и два кондитера — все пятеро получившие высшее кулинарное образование на царской кухне.

Главным праздником в Богородском было 1 июля. В этот день съезжались все соседи и представители местной власти. Программа удовольствий была обширна и разнообразна. Сначала обедня, потом завтрак, потом травля медведя на цепи, потом травля волка борзыми, потом грандиозный обед с музыкой, потом кофе, после которого отдых. К восьми часам вечера выпавшие гости собирались на красный двор, посреди которого устраивался главный спектакль: единоборство Андреяши Кадочкина с огромным откормленным козлом.

Андреяша Кадочкин был богородский привилегированный шут. Он был дворянин-голыш. Настоящая его фамилия была Кадников. Он обладал замечательной физической силой, которая заключалась не столько в мышцах, сколько в необычайном крепком лбе. Лоб этот был необыкновенно низок, но в нем таилась сверхъестественная сила, сделавшая Андреяшу известным по всей Костромской губернии.

Андреяша любил орехи, но никогда не грыз их, а разбивал лбом на полу. Иногда ему клали между орехами маленькую пулю. Когда очередь доходила до пули, он до того колотил по ней лбом, что выдавливал ямку в половице.

Своим лбом он выбивал двери из петель. Об его лоб разбивались кирпичи и бутылки. Как-то раз он разбил этим лбом персиковую косточку, за что получил золотой. Главный его номер состоял в том, что он убивал

своим лбом самого большого козла с одного или редко с двух ударов.

Это происходило так: среди двора было устроено нечто вроде ристалища: длинный прищпект шириной аршина в два, обставленный двумя рядами кольев с жердями между ними. Публика помещалась по обеим сторонам прищпекта за жердями. Внутри на одном конце стоял привязанный веревкой козел, а на другом — Андреяша Кадочкин. Андреяша медленно приближался к козлу, дразнил, потом отступал, потом снова подступал и снова дразнил, и вдруг, точно испугавшись, убежал на другой конец прищпекта. Тогда разъяренного козла спускали с веревки. Нагнув голову, козел со всех четырех ног бросался за Андреяшей, а Андреяша, внезапно повернувшись, бежал навстречу козлу. Встреча происходила на середине прищпекта. Андреяша схватывал козла за рога и со всего размаху ударял своим страшным лбом в лоб козла. Козел падал, дрыгал ногами и издыхал. Публика аплодировала.

КОТЛЕТА ИЗ РУКАВИЦЫ

Почти у каждого зажиточного помещика был свой шут, дурачок или просто прихлебатель-балагур. Помещики их с собой и в гости брали.

Вот был у одного чухломского помещика такой дурачок, Платоша. Весь его талант состоял в уменьи мычать коровой, подражать петуху с курицей, мяуканью кошки и собачьему лаю, да сверх того, в непомерном обжорстве.

Поехал как-то раз помещик вместе с Платошей в гости. Дело было зимой, морозы стояли лютые. Пожили несколько дней и собрались ехать обратно. Перед отъездом сели позавтракать. Платоше подали огромную говяжью котлету. Принялся он ее жевать, но, несмотря на свой аппетит, насилу одолел ее — так она была невкусна и жестка. Наконец завтрак кончен, котлета съедена, лошади поданы. Стали прощаться. Только Платоша все что-то суетится, чего-то по всем углам ищет.

— Ты чего это ищешь, Платоша? — спрашивают его хозяин дома и патрон.

— Да рукавица вот... Нет ее... рукавицы-то. Одна есть, с дырочкой, а другой нет...

— Да ведь ты ее съел!

— Как съел?

— Да так — взял и съел. Котлета-то была из твоей рукавицы, пополам с говядиной. Никто не заставлял — сам слопал.

Так и поехал Платоша в лютый мороз без рукавицы.

ЖЕСТОКИЙ МИСТИФИКАТОР

Был у нас помещик Л. — обладатель двухсот душ и главный изобретатель и вчинатель всяких шутовских проделок. Ни одного праздника, ни одного обеда не проходило без того, чтоб он не одурачил кого-нибудь, и иногда довольно важных лиц. А с мелюзгой (с “малодушными” помещиками) он совсем не церемонился. Выпачкать сажею лицо, написать мелом на спине какую-нибудь смехотворную гадость, высыпать на голову мешок муки, посадить со всего размаху на кресло, где лежат два ежа, накрытые чехлом, положить в карман парочку живых мышей, а в другой карман вылить бутылку квасу, подлить в рюмку водки или в стакан вина сильнейшую дозу слабительного или рвотного, а потом караулить свою жертву и задерживать ее в комнате всякими побасенками, и т.д., и т.д. А бывали выходки и еще более жестокие.

Как-то во время съезда гостей он напоил до бесчувствия одного бедного дворянина. День был жаркий, обедали в саду. Дворянин заснул, а помещик положил его на скамейку лицом прямо к солнцу и выкрасил ему все лицо черной масляной краской. Часа через два-три, когда краска подсохла, он покрыл все его лицо лаком и так оставил его лежать на солнце. К ужину ничего не подозревавший дворянин проснулся. Его привели к столу и снова напоили (а предупрежденные гости и виду не подали). Только на другой день, окончательно протрезвившись, он подошел к зеркалу — и не узнал себя. Более двух месяцев носил он живую маску негра и никуда не мог показаться.

Тот же Л. собрал у себя в другой раз гостей; среди них было два пятидесятидушных, с очень смешными фи-

зиономиями и в крайне непрезентабельных костюмах, никогда прежде не выдавшие друг друга. Один из них, подойдя к хозяину, спросил про другого:

— Кто этот уморительный господин?

— Это шут, дурачок моего соседа, — отвечал, не задумавшись, хозяин.

Только этот отошел — подходит тот и спрашивает про первого:

— Что это за чучело?

— А это шут, дурачок одного моего родственника.

Естественно, что через некоторое время помещики эти, следя друг за другом, как бы невзначай столкнулись, а столкнувшись, захохотали друг другу в лицо.

— Чего ты смеешься, дурак?

— А ты, дурак, чего зубы скалишь?

— Да над тобой, дураком, смеюсь.

— Ну и я над тобой, дураком, хохочу.

После такого взаимного объяснения дело пошло еще пуще:

— Ууу! дурак ты эдакой. Вот тебе нос! Ха, ха, ха!

— Ааа! вот тебе язык, болван ты эдакой!

Только разойдутся — опять встретятся и вцепятся друг в друга, а хозяин с гостями потешаются. На другой день оба уехали, и каждый был убежден, что посмеялся над дурачком.

РАЗОЧАРОВАННАЯ СТЯПЧИХА И НАКАЗАННЫЙ СТЯПЧИЙ

Процветал в Чухломе некий Костров — стряпчий, страстный любитель, виртуоз взяточничества; жена стряпчего (как это часто бывает) еще более обожала взятки и была, так сказать, возбудительницей, наставницей, руководительницей и поощрительницею мужа в этом великом искусстве, перешедшем к нам, вместе с золотухой, от прежних приказных и подъячих, которые, в свою очередь, заимствовали эту нравственную проказу от татарских баскаков.

Всякий раз, когда чухломской стряпчий отправлялся в уезд на следствие, он получал от супруги подробную

инструкцию, а по возвращении должен был отдать ей строгий отчет и все заработанные деньги. В случае удачи его целовали, а к обеду приготавливали лишнее вкусное блюдо и ставили бутылку хорошего вина; в случае неудачи его ругали дураком и сокращали обед на одно блюдо, что было для стряпчего очень чувствительным наказанием — он славился необыкновенным прожорством и уродливой тучностью своей фигуры.

Вот как-то раз, во время исправничества одного великого “хапуна”, нашли в богатом экономическом селе мертвое тело. Исправник и стряпчий, предвидя добычу, двинулись в село набивать карманы. Но увы! — дело было так чисто и ясно, что запутать и запугать крестьян не было никакой возможности. Пришлось сдаться и удовольствоваться тем, что крестьяне угостили их наисытнейшим и најирнейшим обедом со всевозможными настойками, сантуринским медом и полпивом. С горя (дома его ожидало неизбежное наказание) стряпчий ел и пил за пятерых и страшнейшим образом набил свою необъятную утробу. Только что они приготовились хорошенько вздремнуть — хлоп! известие из города: едет губернатор и утром будет в Чухломе. Исправник забрал стряпчего, сел в свою бричку и во весь дух — домой. Дорога тряская, экипаж без рессор — не по себе стало толстому стряпчему.

— Стой! стой! — закричал он кучеру.

— Валяй, валяй скорей! — кричал исправник. — Что ты, брат, с ума, что ли, сошел?

— Батюшка, Андреян Федорыч! Ради самого Христа, вели на минуточку остановиться, на одну минуточку...

— Полно, полно. Не умрешь — доедешь. Валяй во всю ивановскую!

Бричка понеслась еще быстрее, а стряпчий только охал да ворочался. Въехали в город. Исправник завез стряпчего на квартиру и поехал к себе.

Медленно, постепенно, придерживая рукой свое платье, взбирался бедный стряпчий по лестнице. Стряпчиха выбежала к нему навстречу и, трепля по карману его сюртука, заговорила радостным голосом:

— Насилу я тебя дождалась, душенька! Ну что? Много у тебя тут-то?

— Ах, мамочка! Тут-то у меня пусто, но зато здесь-то у меня куды как много! — отвечал стряпчий, перенося руку супруги от бокового кармана к другой части своего платья.

Целую неделю стряпчий получал за это вместо четырех блюд только два и до того отощал, что отправился, наконец, обедать к голове, которого нарочно предупредил о своем визите. Здесь он так вознаградил себя за недельный пост, что после обеда не успел добежать до своей квартиры, как его вторично постигла та же участь.

COUP DE THÉÂTRE

В Чухломе кончал свою жизнь некий моряк — страшнейший *esprit fort*, упорнейший вольтеррианец. Когда он лежал уже на смертном одре, приятели решили обратиться к нему на путь спасения, но никакие советы и уговоры не помогали. Тогда они решили, не ожидая согласия, привести к нему духовника со святыми дарами, надеясь, что умирающий не станет протестовать. Итак, духовник захватил дары и отправился к умирающему; но едва он вступил в комнату и готовился подойти к постели умирающего, как сей последний, взглянув на него сбоку, проговорил самым умиленно-сокрушенным голосом:

— Вижу ты, Господи, на осляти грядуща.

Священник быстро повернулся к двери, с ожесточением плюнул на пол и отправился восвояси.

Когда дело уже совсем дошло до развязки, доктора, окружавшие ложе больного, стали спорить между собой по латыни: один эскулап говорил, что пациент должен умереть через час, другой — что через два, а третий — что он проживет еще дня три. Больной, лежавший с страшно раздувшимся от водянки животом, молча слушал их разговор и вдруг, усмехнувшись, обратился к ним — тоже по латыни, зная этот язык лучше их:

— Господа! Что вы тут спорите и толкуете о том, что я и сам прекрасно вижу? Вы лучше расскажите мне какой-нибудь анекдот о том, чего я сам у себя уже давно никак не могу увидеть.

И скоро после этого умер — не через час и не через два, а через полтора.

Этим заканчивается чухломской декамерон. Николай Петрович просит снисхождения. Каков народ — таков и анекдот, какова Чухлома — такова и острота ума. Пора проститься с этим неприглядным краем. Дальше пойдут приключения и анекдоты совсем другого сорта.

ГЛАВА III

ПРОЩАЙ, ЧУХЛОМА!

Когда Николаю Петровичу исполнилось двенадцать лет, отец отвез его в Богородское к Шиповым, для образования, воспитания и исправления манер. Николаша очень подружился с Андреяшей. Они вместе дрались с козлом и стреляли в поросят. Несмотря на изучение языков, истории, географии и математики, никакого образования, а тем более исправления манер не получилось бы, если бы в Чухломе не появился внезапно Николашин дядя, блестящий и разудалый гвардеец, приехавший из Варшавы по каким-то семейным делам.

Валерьян Макарыч Мичурин был лихой человек. Он недурно играл на флейте, танцевал по-варшавски, декламировал по-европейски, а сверх того, неподражаемо и самобытно воспроизводил звуки духовых инструментов, медных и деревянных. Все эти искусства и таланты он показывал подряд, почти без передышки, приводя зрителей в полное изумление и вызывая единодушный восторг.

Возьмет подушку, положит ее в виде треуголки на голову, накинет простыню в виде римской тоги — и начнет читать монологи из классических трагедий, изображая разных театральных знаменитостей; потом пропляшет фигурную мазурку, да так, как будто и дамочка тут же около него вертится; потом вдруг остановится, щелкнет по-военному каблуками, надует щеки, расширится как труба, взмахнет рукой — и заиграет настоящей валторной, или вытянет губы, устроит их кружочком — и мигом превратится в фагот. Свистал тоже замечательно; даже два звука сразу каким-то чудом добывал — в терцию, а то и в квар-

ту. В заключение своей программы он энергично и повелительно взмахивал обеими руками и, особым образом сплющив губы, пускал мелкую барабанную дробь: турррр, турррр, турррр-ррр... Это значило, что сеанс окончен.

Погостил Валерьян Макарыч и в Богородском у Шиповых. Поговорил с Иваном Антонычем, который покачивал головой и повторял свое “ну, брат” да “эх, брат”, поплясал, подекламировал, поиграл на инструментах, посвистал. Соскучившись, он познакомился с Андреяшей Кадочкиным и, следуя его примеру, вступил в бой с козлом, а потом попробовал тоже разбивать лбом орехи и выбивать двери из петель.

Николай Петрович был в восторге и не сводил глаз с Валерьяна Макарыча. Он с детства чувствовал сильнейшее отвращение к штатской службе и мечтал о военной. Ничем нельзя было его так обидеть, как сказавши: “Вот погоди, определим тебя в штатскую службу!” Николай Петрович заткнет уши, затопают ногами, замочает головой и закричит: “Не хочу быть подьячим! Не хочу говорить: понеже, дондеже, бяху, сиречь, цицевая — голова ситцевая”. Так Николашин отец изображал подьячих.

Валерьян Макарыч, в своем блестящем мундире литовского полка, казался Николаше воплощением его идеала. Вот каков должен быть настоящий герой! Но герой не обращал на рыжего, прыщавого и жевавшего свой язык племянника никакого внимания.

Однажды Николаша и Андреяша занимались своим обычным делом — т.е. гоняли по двору поросят и, пуская в них самодельные стрелы, наблюдали за последствиями. Вдруг к свисту стрел и визгу поросят, метавшихся по двору, присоединилась дробь барабана. Это был Валерьян Макарыч. Он увидел в окно свиную атаку и оценил ее со своей военной, гвардейской точки зрения.

Игра приняла грандиозные размеры. Дробь барабана сменялась звуками фанфар, торжествующих победу. Поросята и свиньи совсем одурели от этих непривычных звуков; прислуга выбежала на двор, думая, что прикатил сам Наполеон. А Валерьян Макарыч сыграл туш, поднял племянника на воздух и, поцеловав, закричал:

— Да из тебя, брат, чудесный гвардеец выйдет! Что тебе здесь сидеть да в поросят стрелять? Мы с тобой поля-

кам во как нос утрем. Турrrrr, турrrr, тра-та-та-та, бум! Едем в Варшаву.

Николашин отец не возражал; Иван Антоныч, глотая пятую рюмку, промышчал только: “ну, брат, полно, брат”, и, махнув рукой, плюнул на пол. Остальным было совершенно безразлично, где и как будет жить Николаша.

Собрались в два дня и поехали. Одна Соломонида слепая (ей тогда 116 год пошел) и дурачок Андреяша провожали Николая Петровича на чужую, далекую сторону. Папаша не дождался отъезда и отправился искать новый клад, о местонахождении которого получил подробные и точные сведения.

Ехали весело, быстро и шумно. Николай Петрович давно мечтал о путешествии и о больших городах. Лет восьми он был как-то раз в Костроме — и ему очень понравились присутственные места, обширный гостиный двор и разносчики с лотками, продававшие хлопушки, леденцы, пряники и жареный мак. С тех пор большой город, гостиный двор и жареный мак были нераздельны в его воображении.

По дороге Валерьян Макарыч рассказывал про Варшаву. По его словам это был рай земной: кондитерские — на каждом шагу, конфеты и пирожки сверхъестественные, дешевизна необыкновенная, климат благорастворенный, хорошеньких тьма-тьмущая. По последнему пункту Николай Петрович начинал уже кое-что понимать. Заметив это, Валерьян Макарыч пришел в восторг и, хлопнув его по колену, заорал:

— Да ты, брат, совсем готовый гвардеец! Мы с тобой, во как заживем! Ни одной кавярки не пропустим, селадон ты эдакой!

В каждом городе Николай Петрович угощал себя пряниками и жареным маком. Но вот и Москва: сколько каменных домов! Сколько лавок и разносчиков с лотками! Сгоряча ему показалось, что никого кроме разносчиков и нет в Москве. Кто же ест все эти пряники, стручки, маковые квадратiki, леденцы, лепешки и пр.? Он упросил дядю остановиться, накупил жареного маку и принялся истреблять его. Но мак оказался прескверным: половина его рассыпалась прежде, чем они доехали до Кудрина, где был дом одной из теток.

В тот же день Николай Петрович отправился изучать Москву — один, чтобы внимание ничем не отвлеклось. Тогда в Москве еще не исчезли следы наполеоновского нашествия. То и дело попадались ему разрушенные и обгорелые дома. Николай Петрович посетил Кремль, побывал на верхушке Ивана Великого, полюбовался памятником Минину и Пожарскому на Красной площади, обошел весь гостиный двор. Сидельцы хватали его за полы и тащили в лавки, но он храбро сопротивлялся и устоял: купил себе только патоку с имбирем (в жареном маке он разочаровался).

Все шло вполне победоносно и жизнерадостно. Валерьян Макарыч собирался прожить в Москве не более трех-четырёх дней. Но тут вдруг случилось некоторого рода поражение, или несчастье, довольно частое в жизни мужчин, хотя бы и одаренных редкой способностью воспроизводить духовые инструменты и барабанную дробь. Это несчастье изменило все планы и сильно отразилось на будущем.

Пока Николай Петрович бродил по кривым улицам Москвы и лазил на колокольню Ивана Великого, Валерьян Макарыча решили захватить врасплох и женить. После Отечественной войны в Москве подросло и успело уже состариться множество невест с превосходными титулами и отличными придаными, а соответствующих партнеров мужского пола было чрезвычайно мало. На мужчин охотились как на редкую дичь. Упустить такого блестящего гвардейца, как Валерьян Макарыч, было бы в подобных обстоятельствах совершенно непозволительно и позорно. Ему сосватали одну княжну — и как он ни вертелся, как ни пускал медь и барабанную дробь, а ему все-таки устроили помолвку и только тогда отпустили ненадолго в Варшаву.

Княжна Оболенская была не очень молода, суховата телом, черна, длинноноса, длиннолица, с разнокалиберными глазками и с очень цепкими лапками. Она всем надоела — каждый боялся за свою участь. Женщины подобного строения и телосложения умеют так поставить дело, что человек вдруг теряет волю и начинает городить чепуху. Общим собранием всех очутившихся в опасности молодых людей было постановлено: сплавить княжну в Варша-

ву, выдав ее замуж за Валерьяна Макарыча. Он, мол, человек храбрый, легкий и веселый — переживет!

Как будет видно дальше, Валерьян Макарыч, действительно пережил это несчастье, и даже не без веселости; но неожиданность все-таки сначала несколько оглушила его. Он приуныл и затих, как соловей, попавший прямо с воли в клетку. И нужно же было случиться такому пасквилю!

Оглушенный неожиданностью дядюшка прежде всего совершенно забыл о своем рыжем племяннике и не обращал на него никакого внимания. Николай Петрович ходил по Москве, жевал патоку с имбирем и не знал, что ему предпринять. Домой к пороссятам возвращаться уж очень не хотелось, а что будет в Варшаве?

С длинноносой княжной он уже в Москве успел крупно повздорить. Она проектировала оставить мальчишку здесь и отдать его в какой-то человеколюбивый или богоугодный приют, а мальчишка в ответ на это свистнул и высунул язык, да еще слово какое-то чухломское прибавил — вроде стервы. Что же будет в Варшаве?

Но вот подан экипаж, уложены вещи. Лошади фыркают и машут хвостами. “Поеду или не поеду? — думает Николай Петрович. — Если сосчитаю до пяти и лошади махнут хвостами, то поеду. Раз, два, три, четыре... пять”. Лошади махнули хвостами. Валерьян Макарыч вышел из подъезда и, ни слова не говоря, взял Николашу за руку и сел с ним в экипаж. Лошади тронулись.

Ехали в полном молчании. Накрапывал дождь, лаяли собаки, мычали коровы, каркали вороны. Все это навало грустные мысли. “Напрасно уехал я из Чухломы! — думал Николай Петрович. — Наговорил мне дядюшка и того, и этого, а ничего не будет. Бедный я, бедный сирота! Никто меня не любит, а я — такой хороший, такой способный, такой добрый!”

— Дядюшка! Валерьян Макарыч! — вскрикнул Николай Петрович в припадке тоски и горя. Но дядюшка крепко спал. Николай Петрович поплакал и тоже заснул.

Так прошло или проехало много дней. Кругом было все то же. Менялись только лошади, но и это было совсем неинтересно, потому что все они совершенно одинаково

фыркали, мотали головами, махали хвостами и издавали запах навоза... Из всех городов, лежавших между Москвой и Варшавой, Николаю Петровичу понравилась только Вязьма — по причине своих сладких пряников с миндалем и цукатами.

Но вот экипаж въехал на большой мост. Это была Висла. За мостом виднелись большие дома и улицы — это была Варшава.

Николай Петрович робко взглянул на Валерьяна Макарыча. Валерьян Макарыч зашевелился, оправился, взглянул на Николашу и вдруг, взмахнув рукой, пустил громкую барабанную дробь.

В ответ на это выглянуло солнце и осветило веселый варшавский пейзаж: эполеты, кивера с витишкетами и высокими волосяными султанами, треуголки с развевающимися по ветру петушиными перьями, черными и белыми, дворцы, сады, памятники, костелы, башни с часами, казармы, цукерни, еще казармы, еще цукерни, еще казармы — и все гвардейцы, гвардейцы и гвардионцы с блестящими саблями, с тонкими талиями, с изогнутой походкой. А среди них — светловолосые панночки в розовых платьяцах, с еще более изогнутой походкой.

Тут Валерьян Макарыч совсем пришел в себя. Стал подпрыгивать и валторну в ход пускать, а потом хлопнул племянника по плечу и заорал:

— Вот тебе, поросячий вояка, и Варшава! Вот тебе, сукин сын, и “Jeszcze Polska nie zginela, рóki my żyjemy!” Готовься к бою! Туррр, туррр, тра-та-та-та, бум!

ГЛАВА IV

ВАРШАВСКИЙ ПЕЙЗАЖ И ЖАНР

Слава Варшавы, как и всякая слава вообще, была несколько преувеличена. Климат, конечно, хороший, кондитерские прекрасные, но в общем она была достаточно грязным и мало уютным городом. Тротуары, например, были расположены только по одной стороне улицы, и

притом такие узкие, что двум встречным трудно было разминуться.

Что было действительно замечательно в Варшаве, так это дешевизна. Об этом Николай Петрович рассказывает очень подробно.

Обыкновенный обед в 5 блюд стоил в гостиницах полтора злота, т.е. 22 1/2 коп. сер. Порции были так велики, что одного обеда доставало на двоих. А были обеды, стоившие один злотый (пятиалтынный) — на Подвальной улице, в трактире под Обжорою.

А вот еще более поразительные факты.

Чашка превосходного кофе (какого нет нигде, кроме Варшавы) стоила 3 коп.

Фунт говядины первого сорта — 4 1/2 коп.

Бутылка наилучшего пива — 4 1/2 коп.

Лучшие груши (дуанне и берре) — по пятиалтынному десятку, крупные сливы — по 3 коп. кварта (более 100 штук). Легковые извозчики имели коляски с фордеком, запряженные парой, и брали по злоту за курс, хоть из одного конца города в другой.

Обувь: первый и самый дорогой в Варшаве сапожник был Екель; он брал за пару сапогов 30 злотых, т.е. 4 р. 50 к., а обыкновенные сапоги стоили 3 рубля.

Небольшие холостые квартиры в две комнаты нанимались обыкновенно за 200 злотых, т.е. 30 руб. в год.

Одним словом, относительно обилия и дешевизны первых потребностей жизни, а равно и предметов роскоши и разных удовольствий, веселостей и наслаждений (хорошеньких, действительно была тьма-тьмуца) не было и нет такого города, какой была Варшава в 20-х годах.

Но хорошие кондитерские и хорошенькие женщины — это была только поверхность Варшавы, а в глубине, в основе, Варшава была городом казарм и военных учений, городом гвардейцев и гвардионцев — с курносым Константином во главе.

— Унтер-офицеры второго дивизиона перед дивизион на линию с контрмаршем!

— В первом полубатальоне деплояда и контрмарш по второму дивизиону, стройся налево и направо на-за-а-ад.

— Во втором полубатальоне стройся направо и налево кругом во фронт... заходи-и-и!

— Перемена фронта по четвертому взводу правым флангом... наза-а-а-д!

Эти металлические голоса с утра до вечера гремели над Варшавой, заглушая болтовню цукерен и подпольное пение “Jeszcze Polska nie zginela”.

Константин Павлович был грозой всего военного сословия. Войны он не любил, но со страстью и яростью дегенерата предавался игре в солдатики. Ему нужно было “модельное войско” — чтобы оно проделывало на парадах все фокусы развертывания фронтов и облических движений. Заботы его были многочисленными: о форме эполет, о гусарских ментиках, о переименовании полков, о штандартах, о конских потниках и т.д. Он решил довести армию, как говорили в Варшаве, до высокой доскональности.

С самого раннего утра Константин Павлович появлялся внезапно то в казармах, то в лазаретах, то на гауптвахте, то на кухне. Поворачивал каждого солдата налево и направо, приподнимал ему подбородок, подтягивал портупею и ремни у ранца и в заключение давал тумака.

Сутуловатый, курносый, с густыми, но короткими бровями, сходящимися у самого носа, он метался то по своим покоям, то по Варшаве, держа в своей приплюснутой голове какую-то беспокойную идею. Днем он бывал обыкновенно яростен, лез с кулаками, выкрикивал страшную ругань и брызгал слюной, а по вечерам впадал в сентиментальность и даже плакал. В обоих этих состояниях он был похож не столько на человека, сколько на испорченный механизм.

В часы отдыха и досуга, в праздничные дни, он любил с балкона стрелять из ружья в статую, поставленную среди двора. Статуя оставалась невредимой, потому что он почти никогда не попадал в нее, а все — либо в сарай, либо в голубятню, либо даже в кого-нибудь из стражи. На этот же двор приводили жеребцов и кобыл для случки, а когда сезон был неподходящий, то петухов для драки. Вечера он проводил со своим другом и наставником греком Курутой: то бил, то руки у него целовал, то ругал срамными словами, переводя их на древнегреческий язык.

Дмитрий Дмитрич Курута был маленький и кругленький как мячик: щеки пухлые, нос длинный, ножки коротенькие и кривые. Как только Константин раскричится и начнет на офицеров ногами топтать, слюной брызгать и кулаки сжимать, Курута катится к нему и пищит: “Цейцас будет исполнено, васе висоцество, цейцас будет исполнено”, — и начинает болтать по-гречески. Константин обложит его какой-то смесью российского с эллинским, покажет ему шиш, чмокнет языком и, круто повернувшись на каблуках, как кукла, важно удалится во внутренние покои.

Грек Курута и древнегреческие срамные слова — это все, что осталось у Константина от прошлого, когда мать готовила его к должности византийского императора. О, эта мать, эти наставники и этот ненавистный брат Александр! Он еще отомстит им! Ему не нужна Россия — он найдет себе другое место; но тогда держись, Сашка, мерзавец! Варшава обнесена глубоким рвом и высокой насыпью. Варшава ему предана, Варшава ему верна — Варшава его обожает. Не удалась Византия — удался Польша!

Валерьян Макарыч был, между прочим, знаменит в Варшаве тем, что не боялся Константина и даже решался шутить с ним. Раз он подал Константину вместо рапорта счет своего повара — и ничего: цесаревич хохотал и ножкой дергал. В последние годы Константин Павлович, правда, несколько утих и часто впадал в меланхолию, повторяя слова Багратиона: “Молода была — янычар была: стара стала — говно стала”.

Сначала Николай Петрович ничего не делал. Ходил по Варшаве, ел сладкие пирожки, сосал карамель Лесселя и с удивлением прислушивался к польскому языку, неприятно поражавшему его слух, в котором уже начинало развиваться чувство мелодии.

Через несколько дней его повезли в Брюлевский дом и представили Константину Павловичу: цесаревич потрепал его по плечу и приказал определить подпрапорщиком в Литовский гвардейский полк. А так как Николай Петрович был еще слишком молод и не мог даже поднять одной рукой тогдашнего тяжелого ружья, то ему позволили жить с дядей, носить юнкерский мундир, получать унтер-офицерское жалованье и учиться разным подобаю-

щим наукам у домашних учителей, чтобы потом поступить в школу гвардейских подпрапорщиков.

Карьера сногшибательная. Прямо из Чухломы, прямо “из поросячьих вояк” — в литовские гвардейцы, с чином, с мундиром и с жалованьем. Но увы! ничего сногшибательного из этой карьеры не получилось, или, правильнее сказать, она так сшибла его с ног, что он потом едва поднялся. И виноват в этом был отчасти Валерьян Макарыч или, вернее, его замечательная супруга.

Московские товарищи Валерьяна Макарыча были совершенно правы: он не только примирился со своим несчастьем, но даже стал находить в нем целый ряд выгод и удач.

— Катенька, — говорил он, собираясь ехать за ней в Москву, — совершенно в моем вкусе: брюнетка (на самом деле он любил именно блондинок), немного смугла (черна как галка), не очень толстая (суха как палка), большой римский нос (не римский, а самый грузинский), один глаз как будто несколько меньше другого (вот это совершенно верно), но зато — высокий рост, так что мне не нужно нагибаться, чтобы поцеловать ее.

Да, несомненное удобство, несомненное удобство. “О, Валерьян Макарыч, Валерьян Макарыч! Погубил ты и свою молодость и мою юность!” — восклицал Николай Петрович, предугадывая будущее.

И вот дядя поехал в Москву, обещая привезти хорошую скрипку и найти хорошего учителя. Да, думал Николай Петрович, но ты привезешь не только скрипку, а и жену! Какова будет скрипка и даже будет ли она — еще неизвестно, а жену-то я уже знаю. Скрипки продают и покупают на аукционах, почему не позволяют поступить таким же способом с женами?

И вот жена приехала.

Это произошло так. К подъезду казарм подъехал огромный старый рыдван, до верху и даже выше верха нагруженный чемоданами, сундуками, мешками, коробками, корзинами и узлами. Из рыдвана выскочила хорошенькая брюнетка — это была горничная Даша, о которой будет речь впереди. Потом вылез дядюшка, как будто несколько похудевший. Наконец из-под мешков и узлов, появилась и

новая тетушка — сухая, высокая, с длинным горбатым носом и черными глазами разной величины. “Вот подожди, я тебя скручу!” — говорило выражение ее лица.

Началось устройство семейного быта. Поселились в новой квартире, на Закрочимской улице, недалеко от казарм. Состав семьи в целом оказался довольно солидным, а именно:

№ 1. Сам Валерьян Макарыч — глава дома, достаточно знакомый читателю.

№ 2. Его законная супруга, так называемая Катенька, знакомая нам со стороны сухопарости, дылдообразности, разнокалиберности глаз и громадного носа горбом. В умственном отношении она только на один градус вышлась над нулем, который означает тупоумие. Короче сказать — это было существо из породы именно тех бобров, которых частенько убивают мужчины, подобные Валерьяну Макарычу.

№ 3. Его племянник Николаша или Николай Петрович Макаров — герой романа, уже коротко знакомый читателю и имеющий большое, разнообразное и весьма интересное будущее.

№ 4. Вера, старшая горничная княжны — пожилая дева, толстая, с плоским, полинялым и помятым лицом, крайне курносая и еще более сентиментальная. Она всем рассказывала, что во время пребывания неприятеля в Москве один французский солдат влюбился в нее и хотел увезти во Францию, но погиб от мороза.

№ 5. Даша, вторая горничная, выше упомянутая. Ей будет посвящен в дальнейшем особый параграф.

№ 6. Иван, повар-самоучка, пьяница и резонер, но отлично приготавливавший олады с яблоками.

№ 7. Петр, сын предыдущего, тоже повар, но прескверный, как все подражатели. Тоже горький пьяница и неряха, за что отец колотил его по четыре раза в неделю.

№ 8. Кучер Семен, приданое тетушки. Пьяница, грубиян, вор, развратник, шпион. Приближенный к особе тетушки и обо всем ей доносивший.

№№ 9 и 10. Иван Постоянов и Иван Бахор, денщики Валерьяна Макарыча, верные рабы, ненавидевшие тетушку и кучера Семена.

№№ 11 и 12. Васька и Егорка, два брата, хорошие мальчики.

Итого 12 человек. Даша, Васька с Егоркой и денщики — это была партия Николая Петровича; Вера и кучер Семен — партия княжны. Повара Иван и Петр были беспартийные и беспардонные анархисты, готовые в любую минуту обрушиться на любую власть и все превратить в пепел. Валерьян Макарыч, как элемент подвластный, был главным предметом партийной борьбы.

Но это еще не все. Таков был людской состав, а кроме того, был еще порядочный зверинец, вывезенный княжной из Москвы в качестве дополнения к приданому. Он тоже делился на своего рода партии, а именно:

№ 1. Белый шпиц Адонис, любимец тетушки — избалованный, злой, нетерпевший музыки и ненавидевший Николая Петровича.

№ 2. Финция, тоже шпиц — подруга жизни Адониса, во всем следовавшая его примеру.

№ 3. Большая черная кошка, казавшаяся близкой родственницей княжны по сходству как в наружности, так и в характере.

№№ 4 и 5. Два ежа, циники и нигилисты, всех презиравшие и ютившиеся по углам.

№ 6. Кролик, смирный монархист и беспечальный консерватор.

№ 7. Черепаха, философски поевавшая крапиву и помой и ни в чем другом не нуждавшаяся.

№ 8. Филин, мыслитель и профессор политической экономии. Он жил на кухне и получал ежедневно по большому куску сырой печенки. Но случалось часто, что пьяный повар забывал о нем и несколько дней не давал ему ничего; зная этот обычай, филин съедал только треть печенки, а остальное прятал в куче сора, лежавшей в углу. Таким способом он предохранял себя от голода, предпочитая лучше питаться понемногу, но каждый день, чем, наевшись раз досыта, сидеть потом несколько дней сряду без всякой еды.

Что касается собственно имущества, на основе которого должна была строиться и развиваться жизнь всего этого обширного учреждения, то его составляли 50 тысяч

рублей ассигнациями, полученные княжной в приданое (не так уж много для московской княжны, да еще с такой наружностью), и старый рыдван, выше мною описанный, при котором, в качестве двигательной силы, состояли две клячи. Как видно всякому, ничего завидного (кроме вышеупомянутого удобства целовать не нагибаясь) в этом браке для Валерьяна Макарыча не было. Для Николая Петровича же этот брак был сплошным и роковым неудобством — одной из тех неудач, о которых говорилось вначале. Горькие минуты приходилось ему иногда переживать! Горек бывает иной хлеб!..

ГЛАВА V

МУЗЫКА И ЛИНГВИСТИКА

Обещанную скрипку Валерьян Макарыч привез, но что это была за скрипка! Он купил ее на аукционе за три рубля. Учителя он нанял соответствующего инструменту — валторниста из полковых музыкантов, который умел пиликать на скрипке и брал за урок по полузолоту, т.е. по 7 1/2 коп. сер. Ну и обучал семикопеечный учитель семикопеечной игре и по семикопеечной методе! Натурально, что Николаю Петровичу скоро опротивела не только скрипка, но и самая музыка.

А виновата во всем этом была тоже семикопеечная княжна, с грузинским носом и с умом аптекарского веса. “О, дядюшка! О, Валерьян Макарыч! За что погубил ты всю мою музыкальную будущность?” — восклицал Николай Петрович.

Валерьян Макарыч, как и предвидели его товарищи, не унывал и продолжал быть веселым и беззаботным, а иногда даже декламировал с подушкой на голове, но все же он впал в какой-то цинизм, махнул на жизнь рукой, опустился, обленился, обнеряшился, обрюзг. При этом он страшно растолстел, и растолстение это шло так быстро, что платье у него делалось все теснее и теснее. Скоро дело дошло до того, что нижняя часть мундира не сходилась с

верхней частью панталон: вокруг огромного котлообразного живота и по бокам образовалась белая полоса, т.е. отверстие, через которое выглядывала рубашка. Пришлось принять экстренные меры: Валерьян Макарыч складывал широко свой шарф и опоясывался им так, что отверстие закрывалось от нескромных взоров. Этот шарф назывался “соединением мундира с панталонами”.

Уморительно было смотреть, как Валерьян Макарыч отправлялся на дежурство в Александровские казармы. Произведя прежде всего свое знаменитое соединение мундира с панталонами, он клал под левую мышку кожаную подушку, а под правую — нотную тетрадь и ящик с флейтой; вооруженный таким образом против казарменной скуки, он шествовал через улицу и через площадь, пыхтя под ношею своего живота. Вскоре на все казармы раздавались звуки его флейты, на которой он играл с замечательной беглостью в пальцах, но с некоторым свистом в амбушюре. Капитан Жеребцов сказал как-то раз по поводу его игры: “Какой толстый, а как тонко свищет!”

Все это само по себе не грозило никакой бедой; беда была в том, что дядюшка махнул рукой не только на жизнь, но и на племянника, а этого и добивалась грузино-московская тетушка. Средства к образованию Николая Петровича отпускались в столь скудных, несоразмерных с его любознательностью и жаждой познаний размерах, что у него не было самых необходимых книг и учебных пособий.

Между тем, разочаровавшись в музыке (временно), он увлекся лингвистикой, к которой получил склонность благодаря учителю французского языка Петерсу. Это был прекрасный человек. Он говорил на всех европейских языках, кроме русского и польского. Сверх того, он знал языки: латинский, греческий (старый и новый), еврейский, арабский, персидский и санскритский. Нельзя было сказать с достоверностью, к какой он принадлежал нации. В молодости он служил во французских саперах, носил длинную бороду и участвовал во всех походах и войнах первой республики, консульства и империи. Потом, по возвращении Бурбонов, эмигрировал и, в конце концов, попал в Варшаву, где занялся преподаванием разных язы-

ков. Особенный успех он имел почему-то среди варшавских торговцев и промышленников. Из них чаще всего с Петерсом имели дело аптекари, кондитеры и колбасники, для которых он переводил брошюры об их искусствах — с итальянского и французского на немецкий и наоборот. За это они много ему платили — каждый по своей части: аптекари — девичьей кожей или ячменным сахаром; кондитеры — шоколаду, конфект и сладких пирожков; колбасники — маленькие окорока ветчины, свиные ножки, сосиски, колбаски, сыр и пр. Все это Петерс часто приносил на урок и щедро делился (тетушка и по этой части была крайне экономна). Вследствие такого метода Николай Петрович сделался очень прилежным учеником и любил лингвистику.

Но поперек дороги стояла все та же пресловутая московская княжна. Был у него старый, изорванный, засаленный, французско-русский лексикон Татищева, но русско-французского словаря совсем не имелось. Это было огромное неудобство, помеха в изучении французского языка. Николай Петрович спал и видел, как бы достать необходимый словарь, но все его усилия оставались тщетными. С горя вознамерился он составить такой словарь сам. Переплел два довольно толстых тома чистой бумаги (в восьмую долю листа) и принялся переделывать французско-русский лексикон Татищева на русско-французский словарь. Целый год работал он неутомимо и дошел уже до конца первой части — как вдруг прислали из Москвы русско-французский словарь Глейма. Он уж даже и не очень обрадовался этому неожиданному подарку — вся работа пошла насмарку.

Скоро лингвистические занятия привели Николая Петровича к одной престранной и преоригинальной мысли: он вздумал создать новый и сколь возможно легкий и звучный язык. Не успела явиться мысль, как он уже принялся за ее осуществление. Сначала придумал азбуку, буквы которой имели довольно правильный и красивый вид; затем стал выдумывать новые слова и составлять из них словарь, а за словарем — и грамматику. Глаголы в этом языке были только правильные, без всяких исключений (зачем делать беспорядок там, где все зависит от нас самих?), времен —

только два: прошедшее и настоящее (будущее каким-то образом составлялось из этих двух), падежей тоже два. Слова этого языка были очень звучны: не было никаких носовых, насморочных звуков, как во французском, никаких скрипящих, свистящих, шипящих и никаких сочетаний из четырех согласных — вроде *отстроить, расстрелять, вскрикнуть, инструмент* и т.п. Тем более не могло быть в этом языке таких звуков и звукосочетаний, как в польском: *лецялы тиши пстрэ пшепелицы, хришонц бржми в трищине, не пшепешай Петше ветша пешем* и т.д.

Полгода трудился он над изобретением нового языка, скрывая это занятие не только от дяди, но даже от учителя. Успел составить грамматику, вписал в лексикон несколько тысяч слов и перевел из французской хрестоматии несколько страниц прозой и одно небольшое стихотворение стихами. Когда все это было сделано, Николай Петрович решил, что новый язык уже достаточно оформился, чтобы войти в семью европейских языков и сообщил о своем изобретении старику Петерсу.

Прожевывая кусок только что подаренной ему ветчины, Петерс просмотрел грамматику и словарь, прослушал перевод прозы и стихов, улыбнулся и, протягивая изобретателю палочку ячменного сахару, сказал:

— Изобретение ваше обличает в вас живое воображение, хороший вкус и слух, а также премного терпения и необычайную настойчивость. Жаль только, что вы потратили столько времени и труда на вещь совершенно бесполезную.

— Отчего же бесполезную? — возразил Николай Петрович, задетый за живое этим неожиданным выводом. — Ведь мой язык очень звучен, правилен и легок для изучения!

— Друг мой, все это правда; но кто же станет изучать ваш язык? Кому он нужен и какая от него польза?

— Но ведь по латыни никто не говорит, а между тем латинский язык преподают в учебных заведениях.

— Вы забываете, мой молодой друг, — отвечал Петерс, доставая из своей кошелки сладкий пирожок и, как бы в утешение, протягивая изобретателю, — вы забываете, что латинский язык имеет огромную и замечательную ли-

тературу, изучение которой составляет краеугольный камень нашего классического образования. А где же литература изобретенного вами языка?

Изобретатель молчал и не дотрагивался ни до сахара, ни до пирожка.

— Советую вам обратить ваши способности и вашу настойчивость на изучение французского языка. Он пригодится вам гораздо больше, чем выдуманый вами, хотя и прелестно звучащий, но совершенно лишней и не имеющий ни прошедшего, ни будущего язык. Попробуйте пирожок — вы, именно как лингвист, должны оценить его: он тает во рту, как хороший французский афоризм.

Ученик опустил голову и не прикоснулся к пирожку. Учитель был прав, но ему-то от этого было не легче. В тот же день он забросил куда-то и грамматику, и словарь, и перевод. Таким образом, новый язык, отличавшийся правильностью, простотой и звучностью, был потерян для человечества, а создатель его на время впал в полное уныние и бездействие, разочаровавшись сразу и в музыке, и в лингвистике, и, что хуже всего, в самом себе.

Николаю Петровичу сначала повезло: в мае 1825 г., во время посещения Варшавы Александром I, он уже участвовал в параде (находился во фронте за солдата) и прошел два раза церемониальным маршем. За парад и за маневры, наравне с прочими рядовыми, он получил от императора 2 рубля сер. Замечательно то, что он выдержал до конца не только парад, но и маневры, продолжавшиеся часов десять — и притом в тогдашней, необыкновенно тяжелой экипировке.

Вообразите: ружье — в полтора раза тяжелее нынешнего и носить его нужно было не в правой, а в левой руке, держа приклад прижатым к левому бедру — так, чтобы ствол висел отвесно; на высоком, огромном кивере торчал волосяной султан, длиною вершков двенадцати, которым, как парусом во время сильного встречного ветра, гнуло кивер и голову назад и очень затрудняло движения и ходьбу; чешуя кивера туго застегивалась у самого горла и душила его: узкий, высокий и жесткий воротник тоже душил горло и подпирал голову. Белые суконные (летом парусиновые) брюки шли до колен, откуда начинались чер-

ные суконные штиблеты. Все это было страшно затянуто, так что солдат мог согнуться и поднять что-либо с земли только опершись обо что-нибудь левой рукой, а упавши, он без посторонней помощи уже не мог встать — все бы на нем лопнуло и разорвалось.

Осенью 1826 г. Николай Петрович поступил наконец в школу пехотных гвардейских подпрапорщиков. Здесь главное внимание обращалось на изучение маневров и построений, чрезвычайно многочисленных и сложных по причине всяких контрмаршей, деплояд, захождений и разных других фронтовых тонкостей.

Пытливый и беспокойный ум Николая Петровича начал искать себе новой пищи и удовлетворения.

В школе процветала игра в шахматы, а он играл очень слабо и постоянно получал маты. Товарищи дразнили: “Эх ты, матыматык!” Самолюбие его страдало — и он решил сделаться одним из лучших шахматистов в школе.

Но как это сделать? Купить шахматы он не мог по причине скудных денежных средств, а школьные шахматы были всегда заняты. Тогда он взял мякиш свежего пеклеванного хлеба, сделал тягучую массу вроде теста и с помощью палочек, лопаточек и дощечек, вылепил весьма правильные и красивые шахматные фигуры. Дав им высохнуть и заделав образовавшиеся на них трещины, он выкрасил их в желтый и черный цвет и покрыл лаком. Никто бы не угадал, что шахматы сделаны из хлеба, а не выточены из кости или из какого-нибудь твердого дерева. Главное было сделано — остальное зависело от упорства. И действительно: через несколько месяцев он был признан лучшим шахматным игроком в школе.

Вторая победа над трудностью. В числе разных телесных упражнений в школе обучали фехтованию на штыках. Для успеха в этом искусстве требовалась замечательная телесная сила, особенно в правой руке и в ногах, и сверх того — необыкновенная легкость и ловкость для совершения изумительных прыжков. Николай Петрович был тогда еще очень тщедушен и малосилен. Невзирая на это, он решил стать одним из лучших фехтовальщиков в школе. И в классах, и в свободное время он упражнялся в фехтовании и старался укрепить и развить силу в правой руке

и в ногах. Даже по ночам вскакивал с постели и делал упражнения. Дело кончилось тем, что он стал непобедим.

Николай Петрович любил рассказывать еще об одной победе, плодами которой пользовался и после: “Я очень любил плавать, и именно в глубоких местах. В первый год моего пребывания в школе я прошел и кончил полный курс в кавалерийской школе плавания, а именно: для перехода в 5-й класс требовалось проплыть без отдыха целый час; для 6-го — переплыть Вислу шесть раз сряду в самом широком месте; для 7-го и последнего — переплыть Вислу в мундире два раза и с саблей в руке. Сверх того, требовалось: нырять и доставать в глубоком месте горсть земли или камень со дна. Все это я проделал, но мне было мало — я решил пойти гораздо дальше и добился того, что мог плавать по 3 и 3 1/2 часа непрерывно. <...>

Гораздо позже, в 1850 г., живя в Москве, я воспользовался случаем и, взяв билет в школе плавания (кажется — Бока) на Москва-реке, против Кремля, решил возобновить тренировку и борьбу с водной стихией. И вот — я дошел до 4 1/2 часов. Во время такого длинного плавания я выпивал, не переставая плавать, рюмку водки, закусывал тартинкой, выпивал еще рюмку хереса, выкуривал несколько папирос и читал, плавая на спине “Revue des deux Mondes”. <...>

А дома в это время происходили следующие сцены. Приезжает к больной жене моей (второй) доктор Иноземцев — тот самый Иноземцев, который был не только медицинской знаменитостью, но и светлой, высокогуманной личностью. Это был прямо святой человек — защитник, покровитель и спаситель всех униженных и оскорбленных, образец бескорыстия, бессребреничества. Не то, что другая тогда медицинская знаменитость, антипод Иноземцева, пресловутый О., который, приехав к больному на консилиум и получив кредитный билет в 25 руб. сер., вышел в переднюю и напялил его на стенной гвоздь — “jugant, mais un peu tard qu’one l’y prendrait plus”. Вот какие алчные эскулапы процветали тогда в Москве. В Петербурге бывали и бессребренники. Один из них, Ворошилов, теперь, кажется, в Казани. Счастливая Казань! В Москве таких нет и, вероятно, никогда не будет — не таковский город. Что Москва! В Туле — и то один эскулап, вызванный мною в де-

ревню, взял с меня... по рублю за версту. Ну, я ж ему и отомстил. В своем "Полном французско-русском словаре" я привел к слову "visite" пример: "Некоторые тульские доктора страшно дерут (так и написал!) за визит".

Так вот, приходит к моей жене, болевшей каким-то таинственным недугом, доктор Иноземцев (Иван Федорович или Федор Иванович — не помню) и спрашивает:

— А где ваш супруг?

— Плавает.

— Купается, хотите вы сказать?

— Нет, плавает.

— Как плавает?

— Он плавает 4 1/2 часа подряд и завтракает на воде.

— Вы шутите?

— Нисколько. Он хочет дойти до шестичасового плавания и собирается обедать на воде. И никакие уговоры на него не действуют. Так я и умру без него.

— Да в уме ли он? Вы-то не умрете, но ведь он полнокровен и нервен — с ним может удар случиться. Софья Михайловна! Вы должны уговорить его прекратить подобные упражнения, а купаться разумно, как все остальные смертные.

Вернувшись, я застал жену в слезах и должен был дать клятвенное обещание, что продолжать далее моих плавательных опытов и экскурсий не буду. Пришлось примириться и вспомнить поговорку Багратиона, которую повторял Константин Павлович.

Но все эти подвиги и упражнения были подвигами умственного и физического характера. А были у Николая Петровича достижения и иного порядка — достижения нравственные, которыми он гордился до конца жизни и о которых очень любил рассказывать, сравнивая себя с Ж.-Ж. Руссо и Л.Н. Толстым.

ГЛАВА VI

СИСТЕМА ФРАНКЛИНА

Среди моих товарищей по школе был один юнкер, некто Забелло, блистательно окончивший курс в Виленском университете. Я подружился с ним. Он был умный, честный, благородный, пылкий, красноречивый; страстно любил историю и бредил героями Греции и Рима времен Аристотеля и Цинцинната. Мы по целым часам беседовали и обсуждали программы и планы нашей будущей деятельности. Эти беседы не только пополнили недостатки моего образования, но и содействовали моему духовному переждению.

Забелло, между прочим, рассказал мне некоторые черты из жизни знаменитого Франклина. Этот добродетельный американский гражданин, желая исправиться от некоторых своих недостатков, ежедневно вечером строго цензоровал себя сам, отмечая в дневнике или “журнале поведения” те из недостатков, которые проявились в нем в течение дня. Мы с Забелло решили последовать примеру Франклина и условились, что каждый будет вести подобный журнал, а потом контролировать друг друга.

Сделали мы по тетради, в которых каждая страница была наполнена графами, продольными и поперечными. В поперечные вписывались дни и числа месяца, а в продольные — разные недостатки и пороки, как-то: вспыльчивость, нетерпение, тщеславие, несправедливость, мстительность, ложь, честолюбие, лень, праздность, беспорядок, слабость, сластолюбие, уныние, бесхарактерность, хвастливость, торопливость, рассеянность, неаккуратность, *fausse honte*, самонадеянность, невоздержанность, неосторожность, заносчивость, дурные привычки и пр. Каждый вечер, прежде чем лечь в постель, мы строго и беспристрастно проверяли свое поведение за этот день, отмечая результаты в клетках, образовавшихся от пересечения продольных и поперечных линий — против того недостатка, в котором один из нас был виновен: если провинился один раз — еди-

ница, если два раза — крестик, а если готов был провиниться, но удержался — нуль. Пустые клетки означали отрицательность — т.е., что не было случая провиниться.

В продолжение всей моей школьной жизни я аккуратно вел этот дневник. Он заменял мне и отца, и мать, и воспитателя. Это было и самовоспитание, и самокритика, и самоисповедь — все способы и формы нравственной тренировки. В первые месяцы клетки моего журнала были испещрены единицами и крестами. Но по прошествии нескольких месяцев кресты и единицы стали редеть и заменяться нулями, т.е. знаками исправления. В конце первого года дурные баллы появлялись уже очень редко, а перед выходом из школы товарищи не узнавали меня и дивились такому полному и счастливому перерождению моего характера, нрава и привычек. Только одна привычка осталась у меня на всю жизнь — жевать свой язык. С этой, видно, придется лечь в могилу.

Трудно было меня рассердить или вывести из себя. Я слыл самым аккуратным, порядочным, солидным, исполнительным, дельным и добронравным юнкером во всей школе и приобрел любовь и уважение как товарищей, так и начальников. Впоследствии характер мой значительно испортился, но виноваты в этом были мои неуважаемые современники. Система Франклина может принести настоящие плоды только в такой стране, как Америка¹.

Но одна черта осталась у меня на всю жизнь: необычайная настойчивость и сила воли. За что бы я ни принялся (а принимался я, как увидит читатель, за многое), я не покидал дела, пока не доводил его до конца, пока не достигал поставленной себе цели.

Кроме Франклинова журнала я выработал себе еще несколько житейских правил, которых держался и после, потому что считал их необходимыми для сохранения всецело свободы моих убеждений, верований, вкусов, мнений, поступков и права распоряжаться своей судьбой. Вот некоторые из них:

¹Недавно я узнал, что эту систему применял к себе в юности мой сосед по тульскому имению, известный писатель граф Лев Николаевич Толстой. Это меня очень порадовало, потому что я и помимо этого замечал некоторые черты сходства между нами. Его жизнь сложилась удачнее: Ясная Поляна заменила ему Америку.

1. Никогда никому не навязывать своего знакомства.

2. Никогда ни в ком не искать недостатков, ни у кого не заискивать и, Бог сохрани, ходить к кому-либо на поклоны, кому-либо улыбаться, распевать акафисты и дифирамбы, выпрашивать подачки... Я ужасался при одной мысли о такой “фикости”, выражаясь языком институток¹.

3. Знакомиться и поддерживать знакомство лишь с теми, кто этого желает и явно выказывает мне такое желание. *Sinon point d’faire*, слуга покорный. Прежде нежели познакомиться с кем, я долго вглядывался и в личность, и в обстановку этого человека: чуть что не так, неладно на мой взгляд — я тотчас же и отплываю, чтобы избавить себя от неприятности раззнакомливаться впоследствии. Оттого-то и не имел я никаких “историй” (за исключением таких, которые имели семейный или общественный характер). Иногда я даже пускался на хитрости и штуки — недаром же до 15-летнего возраста я был рыжим. Впрочем, дипломатом я никогда не был, а в семейной жизни был кроток, мягок, уступчив (см. выше случай с плаваньем) и деликатен, порою даже чересчур. Зато вне дома бывал иногда колким, резким, хлестким, едким, так что незнающему меня мог показаться черт знает чем — самим чертом, пожалуй. А между тем я походил на соблазнителя нашей прародительницы так же мало, как вы, любезный читатель, на дагомейского короля. Однако надо вернуться к моим правилам поведения.

4. Стараться сколь возможно менее одолжаться другими, но самому одолжать других сколь возможно более, насколько позволят мне мои средства, а часто и сверх моих средств. Увы! Как часто платился я за это и своим комфортом (какой там комфорт! пародия на комфорт), и своим спокойствием, не говоря о сладостях жизни, которых лишь запахом удавалось мне иногда попользоваться, а суть их я уступал другим.

5. Без крайней необходимости, неизбежности никогда не занимать, не делать долгов. А когда это было уж совсем неизбежно — занимать только у коротких знако-

¹Подозрительных писателей прошу не пугаться — язык институтов стал мне знаком из уст законной моей жены, а не каким-нибудь другим путем.

мых и хоть “лечь костями”, но уплатить всецело и в срок. Полковые мои товарищи говаривали: “Давать займы Макарову — все равно, что в банк класть”. Бывало только получу жалованье у казначея — бегом к кредитору. Если не застану его дома, иду раздосадованный к себе. Вдруг встречаю его на дороге: “Стой, мне нужно с тобой переговорить”. Веду его таинственно под ворота первого дома, вынимаю из кармана и сую ему в руку мой долг. Тот поражен неожиданностью и аккуратностью, а мне так легко сделается после этого, словно пудовую гирию сняли с моих плеч.

б. А чтобы исполнить все предыдущие правила, то, во-первых: я никогда не брал карт в руки для азартных игр и даже в коммерческие игры, по маленькой, почти никогда не играл; во-вторых: постоянно отказывал себе не только в дорогих, но даже в дешевых сладостях жизни.

Я мог бы, кстати, рассказать несколько денежных эпизодов из моей жизни — как мне верили и как я ни разу не злоупотребил этим доверием. Но читатель, пожалуй, поверит мне и на слово — ведь я не должен ему ничего и никогда в долг у него не возьму, так что хвастаться и рекламировать себя мне незачем. Надеюсь, что на том свете экономическая и финансовая стороны жизни устроены как-нибудь иначе — не на презренном металле и еще более презренных ассигнациях. А впрочем — мне все равно: в случае чего правила эти пригодятся мне и на том свете.

ГЛАВА VII

ВАРШАВСКИЕ ЛЮДИ И АНЕКДОТЫ

Однако — пора вернуться к Варшаве. Скоро нам придется проститься с ней — и как проститься! А пока — вот несколько анекдотов о варшавских оригиналах и эксцентриках. Это будет вторая интермедия, более забавная, чем была первая.

РАССЕЯННЫЙ

Офицер литовского полка Веригин, славился своей необыкновенной рассеянностью. Бывало, играет он в вист и сдает карты, а ему нужно плюнуть (он был очень мокротен); вот он задумается — и вдруг бросит карту в плевательницу с песком, а плюнет прямо на ломберный стол, к немалому изумлению тех, кто играет с ним в первый раз.

Товарищи проделывали с Веригиным разные штуки. Обедает он, например, у кого-нибудь из них; человек подносит ему водку, он нальет рюмку и, по обыкновению, задумается. Тогда кто-нибудь подойдет, возьмет и выпьет налитую рюмку. Веригин внимательно и молча посмотрит на выпившего, немного подумает, потом спокойно возьмет с подноса кусочек черного хлеба с солью, закусит и пойдет к столу.

— Что ж ты не пьешь водку?

— Я уж выпил и закусил, — ответит Веригин, совершенно уверенный, что водку он пил.

После обеда он имел обыкновение подходить к хозяйке к ручке, а хозяина обнимать и целовать. Но как задумается — все выходит у него наоборот. Поцелует преважно руку у хозяина, а затем направляется к его жене, собираясь ее обнять и поцеловать.

— Что вы, батюшка? Нынче ведь не Христов день, — скажет ему хозяйка, а он, сбитый с толку, остановится с протянутыми руками и задумается.

Особенно забавен был Веригин на батальонных и полковых ученьях. Батальон, бывало, давно уже повернулся направо или налево кругом, а он марширует себе прямо один-одинешенек. Все помирают со смеху, а он спокойно и задумчиво шествует дальше.

ВАРШАВСКИЙ ЛУКИН

Жил в то время в Варшаве некто Войдзынский, отставной ротмистр, служивший еще у Наполеона в польском гусарском полку. Он был известен по всей Польше своей гигантской силой, которая могла бы поспорить с силой изве-

стного когда-то в России силача Лукина. Ходил он в своем необыкновенно красивом мундире, горевшем золотом шнурков, кистей, шитья и пуговиц, но без всякого оружия — с одной тоненькой тросточкой. В ночное время на него часто нападали, но дорого платились за свою дерзость, уходя от него с переломленными руками, ногами, скулами, ребрами и даже с разбитыми черепами. В конце концов эти нападения прекратились — мошенники, при встрече с ним, вежливо давали ему дорогу или со всех ног удирали от него.

Шел он однажды ночью по Францишканской улице, вдоль невысокого деревянного забора. Навстречу ему — конный патруль: четыре рядовых и один унтер-офицер.

— Кто идет, — спросил Войдзынского жандармский унтер-офицер.

— Свой, — отвечал ротмистр, одетый на этот раз в партикулярное платье.

— Да что ты за человек. Говори сейчас, а то худо будет!

— Чорт, — отвечал Войдзынский.

— А вот я сейчас посмотрю, точно ли ты черт! — закричал сердито унтер-офицер, подъезжая к ротмистру с поднятым палашом.

— Оставь меня в покое, а то я брошу тебя через этот забор.

— Я тебе покажу, как можно меня бросить! — завопил гневно начальник патруля.

Но прежде чем жандарм успел ударить Войдзынского палашом, он был схвачен за ногу, сорван с лошади и брошен через забор. Двое жандармов поспешили было на помощь к своему начальнику, но не успели опомниться, как последовали за ним в воздушное путешествие через забор. Остальные ускакали в казармы и донесли начальству, что они повстречались с чертом, который побросал за забор их унтер-офицера и двоих товарищей.

ГЕНИЙ ОСТРОУМИЯ

Одной из первоклассных знаменитостей в тогдашней Варшаве был актер Жолкевский. Это был самый остро-

умный человек, какой когда-либо и где-либо существовал на свете.

Он был большой гастроном и обжора и обладал чудовищным аппетитом. Несмотря на это, его кормили и поили во всех трактирах, кофейнях, кондитерских и винных погребах даром. Это происходило потому, что где бы он ни показался, вокруг него сейчас же собиралась целая свита, которая и следовала за ним. Он в кондитерскую — и толпа за ним, он в трактир — и они туда же. Рестораторам и держателям кофеен это было выгодно. Жолкевский, бывало, ест в обе щеки, пьет и шутит, а толпа хохочет и сидит до тех пор, пока он не уйдет.

Анекдотов о Жолкевском было так много, что о нем одном можно было бы написать целую книгу. Расскажу некоторые.

Всякий раз, когда он играл в комедии или водевиле, он непременно вставлял что-нибудь от себя — и иногда что-нибудь очень злободневное и колкое. Это многих сердило. Наконец, вследствие частых жалоб начальству на *прибавления*, которые делал Жолкевский в пьесах, его обязали подпиской, чтобы никаких прибавлений не было. Вскоре после этого запрещения Жолкевскому привелось в одной пьесе выехать верхом на лошади, и притом — лицом к хвосту. И вдруг в ту самую минуту, как лошадь вышла на сцену, она вздумала сделать то, чего ни один человек не позволил бы себе на сцене и чего по пьесе вовсе не полагалось. Жолкевский, увидев это, стал бить ее ладонью по крупу и приговаривать:

— Не надо прибавлений, не надо: прибавления запрещены.

Потом, обратясь к публике, заявил:

— Почтеннейшая публика! Это прибавление не очень остроумно, но в нем я не виноват.

Случалось, что за публичные остроты Жолкевского сажали на гауптвахту — и всегда на одну и ту же, что на Саксонской площади. Редкий месяц не проводил он одной или двух ночей под арестом. Вот в одно прекрасное утро подъезжает к этой гауптвахте целый обоз с мебелью, посудой и разной домашней рухлядью. За обозом следует Жолкевский со всем своим семейством. Остановив обоз перед

платформой, он входит в офицерскую комнату и обращается к караульному офицеру со следующими словами:

— Господин офицер, так как меня очень часто сажают на эту гауптвахту, то я решил переехать сюда со всем своим имуществом. Это будет удобно и для меня, и для начальства: я буду в одно время и у себя дома, и под арестом.

Офицер не соглашался, но Жолкевский настаивал. Кончилось тем, что высшее начальство приказало посадить Жолкевского на сугки, но без мебели и без семейства, которые возвратились домой. Зато в дальнейшем его стали сажать реже.

Обиженные остротами часто вызывали Жолкевского на дуэль. В один из таких случаев противники сошлись в роще на Белянах, за городом. Противник Жолкевского страшно хорохорился и пока шли приготовления все повторял:

— Один из нас должен остаться здесь, на месте. Слышите ли, милостивый государь? Один из нас, или вы или я, непременно должен остаться здесь.

Жолкевский наконец подошел к противнику и, хлопнув его по плечу, совершенно приятельским тоном заявил ему:

— Знаете что? Если это необходимо — останьтесь вы здесь, а я поеду домой. Вы — человек холостой, а меня жена ждет к обеду. Она у меня пресердитая: беда, если опоздаю! Итак, мое вам почтение.

Противник Жолкевского рассмеялся. Поединок тем и кончился.

Жолкевский издавал юмористический журнал, в котором часто доставалось русским властям. Выведенный из терпения одной едкой шуткой, Константин Павлович вызвал Жолкевского к себе и сказал ему по-польски: “Я тебе кажу даць киев” (т.е. палок). Шутник вышел в приемную с веселым лицом и на вопрос генералов сказал: “Его цесарска мосць обещал мне подаровать място Киев” (т.е. город Киев). Генералы рассказали об этом цесаревичу, а тот, рассмеявшись, сказал: “Не поздоровится ему от этого Киева!”

ЛИРИК-СИБАРИТ

Служил в Литовском полку некто Измайлов. Это был человек очень ограниченного ума и страшно ленивый. Над ним постоянно подтрунивали, но он никогда не сердился.

Однажды собралась большая компания офицеров. Кутили и пили шампанское. Бывший в числе гостей В.А. Ушаков (известный автор “Киргиз-Кайсака”) обращается к Измайлову и говорит:

— Измайлов, что ты даром вино пьешь? Ведь твой однофамилец — известный поэт, баснописец. Ты умеешь писать стихи?

— Не пробовал.

— Так попробуй. Вот тебе бумага и карандаш. Садись и пиши.

— А что же мне писать?

— Ну, напиши какие-нибудь стихи — хоть оду на шампанское.

— Да здесь трудно писать: шумят, мешают.

— Так поди в ту комнату, запишись и напиши. А если не напишешь, тебе шампанского больше не дадим.

Целый час Измайлов просидел в той комнате и сочинял. Наконец, страшно устав и даже вспотевши, он вышел из комнаты с листом бумаги в руках. Все стихло. Поэт откашлянулся и торжественно прочитал следующую оду:

О бутылка ты, бутылка драгая!
Из тебя прыщется, милая!

Эффект был поразителен. Измайлов был увенчан как величайший лирик новейших времен.

Отбывая караул, Измайлов устраивался необыкновенно удобно. Все обязанности караульного офицера исправлял старший унтер-офицер, а сам Измайлов облакался в халат и туфли, надевал ночной колпак и ложился на диван: курит трубку, пьет, ест, спит, потом просыпается — и опять курит трубку, ест, пьет, спит.

Стоял он раз в караулке в Брюлевском доме. Вдруг приезжает цесаревич с Куругою, а офицера нет.

— А где караульный офицер? — спрашивает Константин Павлович старшего унтер-офицера.

— До ветру пошел, ваше высочество.

Цесаревич подождал минут десять, потом вышел из коляски и пошел прямо в офицерскую комнату, где Измайлов, ничего не подозревая, лежал на диване в халате, туфлях и в ночном колпаке. Ни слова не говоря, цесаревич берет его за руку, ведет его на платформу и говорит начальнику штаба:

— Курута, полюбуйся! каков молодец?

И говоря это, повертывает Измайлова кругом, во все стороны. А несчастный Измайлов одной рукой придерживает спереди халат, а другой приподнимает свой ночной колпак, приседая и говоря жалобным тоном:

— Виноват, ваше высочество! В последний раз, больше никогда не буду!

Фигура Измайлова была так смешна, что цесаревич с Курутой помирили со смеху. Караульные солдаты и те фыркали. Этот всеобщий смех спас Измайлова: его посадили на гауптвахту всего на две недели — очень дешевая расплата за 3 года комфортабельного дежурства в халате и ночном колпаке.

НАХОДЧИВЫЙ СЕНАТОР

В 20-х годах жил в Варшаве сенатор Н.Н. Новосильцев и занимал весьма важный пост по гражданской части. Это был человек умный, энергичный, но бессердечный, умевший заслужить всеобщую и сильнейшую ненависть у поляков. Во время восстания он, вместе с генералом Рожницким, попал в одну революционную песню:

Nie zabraknie nam visielzow:
Jeszcze zyie Nowosielzow,
Ieszcze dyszi lotr zdradziecki,
Hunswot, szelma, pies Rozniecki.

Новосильцев был страшный пьяница. До обеда он еще крепился, но потом начинал делать возлияния и к вечеру доходил до высокого градуса. Константин Павлович ненавидел пьянство. По большим праздникам назначались

особые дежурные по ротам, которые строго караулили солдат и не позволяли им выходить за решетку, окружавшую казармы. Сам Константин в эти дни усердно посещал богослужения, требуя того же и от всех высших военных и гражданских чинов.

В один из таких праздников все собрались в придворной церкви — в том числе и Новосильцев. У обедни он был еще в нормальном состоянии, но к вечерне явился уже очень навеселе. Не надеясь на свои нетвердые ноги и желая отыскать более надежную точку опоры, он отступил к изразцовой печи и прислонился к ней спиной. Но и это не помогало: ноги скользили по гладкому паркету, так что приходилось все время поправляться и придвигать их обратно к печи. Константин заметил эти маневры, но ничего не сказал, а только улыбнулся и пожал плечами. На другое утро все высшие чины (в том числе и Новосильцев) представлялись цесаревичу.

— Господа, — сказал он, обращаясь к полковым командирам — я вполне доволен вами и благодарю вас за примерный порядок: ни одного пьяного солдата не встретил я на улицах. Только одного пьяного видел я вчера, и то в церкви, а не на улице: это Николай Николаевич Новосильцев.

Новосильцев нисколько не смутился и бойко отвечал:

— Ничего нет мудреного, ваше высочество. И я не был бы пьян, если бы ко мне приставили специальный офицерский караул.

ПУКАЛОВСКИЙ ЦИКЛ

Заключу галерею варшавских оригиналов рассказами еще об одной весьма замечательной личности. Это был некто Пукалов. Побочный сын Аракчеева, Пукалов был очень умен и превосходно образован: он окончил курс в Геттингенском университете, прекрасно знал иностранные языки и отлично играл на фортепиано. Сверх того, он обладал необыкновенно подвижной физиономией и коверкал ее самыми невероятными гримасами: например, в

одно и то же время у него одна половина лица плакала, а другая смеялась.

Прямо из-за границы Пукалов приехал в Варшаву, чтобы определиться в военную службу. При представлении цесаревичу он отвечал на вопросы то по-французски, то по-немецки, то по-английски, то по-итальянски.

— Где ты воспитывался? — спросил его Константин.

— В Геттингенском университете, ваше высочество.

— Отчего не в России?

— В России трудно получить хорошее образование.

— Ах, ты нахал! В России воспитывался твой император, воспитывался я. Что ж, я — дурак, что ли?

— Не могу знать, ваше высочество.

— В волынский полк его, в роту Цемирова (самого строгого капитана), и не пускать его ни в отпуск, ни в отставку, и в офицеры не представлять, пока я сам не решу, что с ним делать.

Такова была резолюция. И вот начали из Пукалова выбивать его геттингенские замашки — началась суровая военная муштровка. Но скоро пришлось махнуть на него рукой.

Однажды Пукалов встречается своего капитана Немирова на Краковском предместье — самой многолюдной улице Варшавы. Капитану показалось, что юнкер неловко отдал ему честь. Он тут же распек Пукалова, а придя в казармы, приказал учить его на разделения: становиться во фронт и провожать начальника глазами. Стали Пукалова учить: дядька скомандует ему *раз* — Пукалов становится во фронт и, повернув голову набок, повторит *раз*; скомандует ему *два* — и он, проводя медленно головой справа налево или наоборот, протяжно произносит *двааа*. Затем Пукалова стали учить делать эти движения без разделений — т.е. заставили его беспрестанно поводить головой и говорить *раз*; а потом — *двааа*.

Спустя несколько дней Пукалов опять встречается своего капитана — и на том же Краковском предместье. Вставши во фронт, он стал поводить головой из стороны в сторону и громким голосом произносить: *раз-двааа*, *раз-двааа*, *раз-двааааа* и т.д. Собралась толпа зевак, поднялся смех. Капитан плюнул и пошел своей дорогой, а придя в

казармы, отменил дальнейшие упражнения Пукалова в отдании чести.

Однажды Пукалов пил кофе в кондитерской и курил трубку. Возле него на диване сидел какой-то немец и тоже пил кофе и курил трубку. Пукалов завел с ним очень интересный разговор о Германии, на немецком языке. В пылу разговора, как будто невзначай, он взял немца за руку и совершенно хладнокровно, как будто это так и полагается, стал его указательным пальцем поправлять пепел у себя в трубке. Немец закричал благим матом и, выдернув руку, принялся дуть на свой палец, приговаривая: “ach, mein Gott!”, а Пукалов рассыпался в извинениях, ссылаясь на свою ужасную рассеянность.

Встречает Пукалов на улице какого-то пожилого господина в допотопном, весьма поношенном костюме; останавливается, всматривается — и вдруг бросается к нему на шею.

— Наконец-то я вас встретил, моего спасителя! Сколько лет я вас искал! О, блаженный день!

— Вы, верно, ошибаетесь и принимаете меня за кого-нибудь другого, — говорил растерявшийся господин.

— Как! Вы не узнаете меня? Да ведь вы спасли мне жизнь. Я купался в Висле и был снесен на глубокое место, где стал тонуть, а вы бросились, вытащили меня на берег и сейчас же скрылись, так что я не успел даже поблагодарить вас. Вы не хотите сознаться из скромности, но позвольте мне, по крайней мере, угостить вас обедом у Збарбори — там очень недурно кормят.

Эта перспектива соблазнила господина — и он решил не возражать. Обед и вина были превосходные. Пукалов угостил мнимого спасителя на славу и был с ним крайне любезен. Когда угощение окончилось, собеседники встали из-за стола и направились к выходу. Гость шел впереди и, оборачиваясь, рассыпался в благодарности. Так они подходят к двери, Пукалов отворяет ее, выталкивает гостя коленом за дверь и тотчас же захлопывает ее изнутри.

Ошеломленный гость постоял несколько минут на месте, поправил фуражку и, сказав себе под нос “Musì byc fixat” (должно быть, сумасшедший), пошел своей дорогой.

Приведенные здесь анекдоты не составляют и десятой доли тех, которые рассказывались о Пукалове. Бывало, идет он по улице — и вдруг, увидев хорошо одетую даму, скорчит одну из самых страшных, самых больших своих гримас.

— Иезус Марья, цо за почвара (урод), — проговорит дама и закроет лицо руками.

Особенно боялись его гримас беременные дамы, чтобы не родить урода.

Десять лет прослужил Пукалов юнкером, и только по окончании польской кампании он был произведен в армейский офицерский чин.

Прослужив еще года три, Пукалов вышел в отставку и приехал в Петербург к матери, которая сказала:

— Петр, ты ужасно осолдатился. Сейчас же поезжай за границу проветриться и пополироваться.

И он уехал за границу.

ГЛАВА VIII

ПРОЩАЙ, ВАРШАВА!

Варшавская военная карьера Николая Петровича Макарова прервалась не менее внезапно, чем чухломской период его жизни, но гораздо более сложно и авантюрно.

Дело в том, что 17 ноября 1830 г. Варшава наконец взбунтовалась против “москалей” и их власти. Николай Петрович был совершенно неподготовлен к такого рода странным событиям. В Чухломе никогда не было никаких восстаний и революций, а в Варшаве Николай Петрович, как мы видели, занимался всем, чем угодно, — кроме политики. Валерьян Макарыч был по этой части тоже совершенно беззаботен. Итак, Николай Петрович не только не ожидал никакой революции, но даже не знал, что на свете вообще бывают такого рода происшествя.

За два дня до восстания, 15 ноября, Николай Петрович отправился в военный госпиталь, чтобы несколько отдохнуть от маршировки, а еще более для того, чтобы избежать некоторых возможных неприятностей. С ним слу-

чилась одна история, в которой он несколько погорячился и повел себя не по франклиновой системе.

Еще с осени варшавские студенты, лицеисты и даже гимназисты сделались чрезвычайно заносчивы, придиричивы и резки при встречах с русскими: не давали им дороги, умышленно толкали и пр. В кофейных, у рестораторов, в театрах, на гуляньях и даже на публичных лекциях заводились и повторялись разные шумные столкновения и сцены. Один студент, у входа в кофейню, толкнул Николая Петровича — по-видимому, нечаянно; но Николай Петрович вспылил и потребовал извинения. Тогда студент сказал ему “hunswoł moskał” и показал кулак. Николай Петрович немедленно вызвал его на дуэль. Студент не отказался, но Николай Петрович, чтобы унижить противника, потребовал дуэль не на пистолетах, а на ружьях. Студент возмутился и заявил, что с такой сволочью он предпочитает драться на кулаках, прибавив, что если Николай Петрович откажется, то он все равно подстережет его на улице и избьет как собаку.

Дело получило сложный оборот. Тогда товарищи Николая Петровича решили вмешаться и добиться примирения, а пока посоветовали ему сказаться больным и лечь в госпиталь, с чем он охотно согласился.

Итак, Николай Петрович временно удалился от дел и от житейской суеты. А сцена между тем разрасталась и начинала принимать громадные размеры.

17 ноября, под вечер, человек Николая Петровича принес ему в госпиталь скрипку и ноты — для утешения его расстроенной событиями последних дней души. Среди больных нашлись еще музыканты. Составилось трио — две скрипки и гитара, и госпиталь сейчас же наполнился звуками лихих мазурок, томных вальсов и разных других, быстрых и плавных танцев. В госпитале воцарилось самое приятное — легкое и беззаботное — настроение, при котором забываются все прошедшие неприятности, а будущее представляется сплошным удовольствием.

Был восьмой час вечера. Уютно горели свечи. Скрипки заливались женскими голосами, гитара охала и гудела басом. Вдруг вбегает в комнату один больной и кричит: “Господа, пожар. Шулец горит”. Вальс прервался.

Музыканты бросились в коридор, к окну, выходявшему на Вислу. Яркое пламя озаряло окрестность.

Наступила холодная, сырая, темная ночь. В Варшаве было беспокойно. С разных концов вспыхивали пожары, слышался конский топот, шум и крики толпы. В госпиталь прибежал подпрапорщик Пужицкий со словами: “бунт! бунт!” Он был бледен как смерть и хромал, потому что выпрыгнул из второго этажа. Приходили страшные известия, что в Бельведере (где жил цесаревич) убиты вице-президент Варшавы Любовицкий и генерал Жандр, а что командир Литовского полка Энгельман арестован. Очевидец рассказывал, что пьяный солдат караулит его и, куря трубку, пускает дым прямо ему в нос, говоря, что теперь все равны.

Итак, началась революция — т.е. нечто для Николая Петровича непонятное.

Сидеть в госпитале было скучно и даже жутко. Большая часть товарищей разошлась — Николай Петрович остался почти в полном одиночестве. Даже трио не с кем было составить. Тогда он решил сделать вылазку. Под вечер, когда стемнело, он вышел из госпиталя и, осторожно пробираясь по улицам, добрался до русских бивуаков.

Картина была мрачная. Офицеры сидели на мерзлой земле вокруг костра и пекли картофель. Хлеба не было. Николай Петрович был встречен без всякого энтузиазма. Все знали его беспокойный нрав, а время пришло такое, когда важнее всего было именно спокойствие.

Утром достали несколько коров. Так как резать было некому — никто не умел, то их застрелили. Шохлебка вышла вкусная, но на другой день от нее уже ничего не осталось. Даже огня нечем было развести, а ночи наступали холодные, с морозом.

Николай Петрович проголодался, окоченел и едва передвигал ноги. Он охал, жаловался на свою судьбу и никому не давал покоя: то упрекал в трусости и развивал свой план действий, то скандалил и вызывал на дуэль, то впадал в отчаяние. В конце концов он так всем надоел, что его стали осторожно уговаривать вернуться обратно в госпиталь. Хотя и с грустным видом, но довольно скоро Николай Петрович согласился сделать это.

Дальнейшие события он наблюдал из окна госпиталя — того самого, которое выходило на Вислу. Он видел, как стоявшие в каштановой аллее польские егеря вдруг пришли в движение и закричали “ура”. Мимо них, из города к заставе, проскакали какие-то господа. Часа через полтора егеря снова закричали “ура” и при этом стали вырывать из своих киверов помпоны и бросать их на землю, а вместо помпонов втыкать в кивера каштановые ветки.

Проскакавшие господа были депутаты от временного правительства к Константину Павловичу. Цесаревич отступил с войсками от города и поручил временному правительству всех оставшихся в Варшаве русских офицеров и чиновников, в том числе и Николая Петровича Макарова.

Итак, Николая Петровича постигло новое несчастье: он оказался военнопленным. Госпиталь превратился в тюрьму. От всего пространства в распоряжении Николая Петровича осталось одно госпитальное окно с видом на Вислу и каштановую аллею. Пространство сузилось, а время вовсе остановилось. Как же быть?

Николай Петрович задумал было бежать из госпиталя и догнать свой полк, но не решился: одного русского схватили на заставе и повесили, а такой финал не входил в планы Николая Петровича и казался ему неподходящим к его личности. Больше месяца просидел он безвыходно в госпитале, изредка утешаясь игрой на гитаре. Из госпитального окна уже нечего было наблюдать, а с воли не поступало почти никаких известий — кроме слухов о том, что “чернь” собирается уничтожить всех пленных или что ночью “будут вешать жидов да русских”. На Николая Петровича напал ужас — и он решил во что бы то ни стало выбраться в город, чтобы, по крайней мере, посмотреть, что делается, и послушать, о чем говорят.

Партикулярного платья у него не было, а гулять в мундире Литовского гвардейского полка было рискованно. Однако, набравшись смелости, он в одно прекрасное утро вышел из госпиталя и отправился по малолюдной Вейской улице в город. Вот — церковь Св. Александра и Новый Свет. Прохожие начинают оглядываться и показывать на него пальцами и говорить: “москаль”. Пробираясь мел-

ким бегом вдоль стен, он дошел до Францишканской улицы. Главное население этой улицы составляли евреи-портные. Николай Петрович юркнул в одну из дверей, над которой висела вывеска с изображением разных сюртуков и брюк.

Через некоторое время он вышел из лавки преобразенным. Вместо форменных пуговиц на шинели были штатские, желтый воротник был покрыт серым сукном, а околыш фуражки — черным сукном. Приняв горделивую польскую осанку, Николай Петрович пошел расхаживать по улицам Варшавы.

В городе все выглядело иначе, чем было при русских. Нижние чины ходили с расстегнутыми воротниками, с длинными волосами, с тесаками на боку, а некоторые даже разъезжали на извозчиках, с трубками или сигарами во рту. Николай Петрович ворчал и пожимал плечами: вот это и называется революцией?

Хотел он зайти в кофейню послушать, о чем говорят, но увидел в окне физиономию того самого студента, который собирался побить его кулаками, и быстро прошмыгнул мимо. Постепенно добрался он до того дома, в котором квартировал Валерьян Макарыч, но, увы, дом был пуст, окна были выбиты. Николай Петрович вошел в подъезд — ни души. Около лестницы что-то зашевелилось и быстро пробежало в темный угол: это был еж — один из тех “нигилистов”, которые до революции жили в квартире Валерьяна Макарыча. Из другого угла сверкали зрачки огромной черной кошки. Филина не было — он, вероятно, сумел устроиться как-нибудь более остроумно. Николай Петрович грустно вздохнул и, нахлобучив фуражку, вышел на улицу.

Не успел он пройти несколько шагов, как вдруг поднялось какое-то смятение и раздались крики: “запирать лавки! к оружию!” Николай Петрович бросился на извозчика и велел ему во всю прыть ехать к госпиталю. Извозчик подумал, посмотрел кругом и повез было, но, доехав до Старого моста, остановился и заявил, что он принадлежит к народной гвардии и, следуя примеру других, должен спешить к оружию. Николаю Петровичу пришлось слезть и двинуться пешком.

На площади Краковского предместья он увидел толпу, которая ломилась в ворота замка, где содержались русские пленные, и кричала: “Смерть изменникам! смерть шпионам! смерть русским!” Одно только сукно шинели (под ним был форменный сюртук) отделяло Николая Петровича от грозной опасности. К счастью, тут попался извозчик, не принадлежавший к народной гвардии, который за тройную плату довез его до госпиталя.

Все было еще ничего, пока власть была в руках умеренного республиканца, генерала Хлопницкого. Он сдерживал страсти и призывал к порядку. Раз он даже лично явился в госпиталь и очень приветливо беседовал с русскими. Николай Петрович, прекрасно владевший польским языком, произнес горячую речь о том, что поляки напрасно затеяли революцию, что им все равно не сдобровать, что во всем виноваты студенты, которых надо было давно арестовать и повесить, что он даже знает главного зачинщика этого бунта и т.д. Хлопницкий не возражал и успокоил Николая Петровича, сказав ему, что скоро всех пленных отпустят на родину, а фамилию студента записал.

Но власть переменялась: крайняя партия взяла перевес. Хлопницкому пришлось сложить с себя звание диктатора и удалиться. Варшава запылала новым воинственным жаром и стала готовиться к отчаянной борьбе. Слухи о предстоящих нападениях на пленных все усиливались. По ночам Николай Петрович видел страшные сны и просыпался в холодном поту. Бой стенных часов казался ему пушечными выстрелами — он вскакивал и бросался к окну. За окном была та же Висла, только покрытая льдом. Иногда слышался стук лошадиных копыт. Иногда зимняя луна поднималась над Вислой и, как часовой, заглядывала в госпитальное окно. Время стояло на одном месте.

Неизвестно, чем бы это кончилось, если бы в конце января 1831 г. польское правительство не постановило вывезти русских военнопленных из Варшавы в провинцию. В начале февраля Николай Петрович вместе с двумя товарищами по госпиталю сел в крытую фуру, которая повезла их в местечко Вольбож.

Варшава, некогда столь милая сердцу Николая Петровича, а ныне столь непонятная и страшная, осталась позади.

ГЛАВА IX

ПЛЕН

Вольбож — местечко в 18 милях от Варшавы, в Калишском воеводстве. Саженьях в ста от самого местечка стоял замок, некогда принадлежавший епископу. Сюда и поместили пленных, в общем человек шестьдесят.

С появлением пленных местечко сильно оживилось. Прежде был только один трактир, и тот плохой; теперь открылось несколько кофейных домов с бильярдами. Но по вечерам пленные скучали. Тогда помощник коменданта, очень веселый и любезный человек, устроил на своей квартире, в стенах самого замка, нечто вроде кофейни — с пуншем, с грогом и даже карточной игрой. Среди пленных оказался один блестящий гусар, красивый и бойкий мужчина, успевший приехать в Варшаву, чтобы получить долг, но не успевший вовремя из нее выехать. Так он и попал в Вольбож, вместе со своими мешками и мешочками, наполненными мелкой монетой самого последнего чекана. Со скуки он решил пустить в оборот этот мертвый капитал и сделался главным банкометом. Он метал банк с невозмутимым хладнокровием, с необыкновенной ловкостью и всегда оставался в выигрыше.

Николай Петрович посещал эти вечера, но, воспитанный по системе Франклина, до карт не дотрагивался, а только наблюдал события со стороны. Он избрал другое занятие, более соответствовавшее его несколько возвышенной, несколько поэтической и чрезвычайно пылкой натуре.

Он кормился у немки-булочницы, очень злой, крикливой и безобразной фрау. Но у этой фрау была семнадцатилетняя дочка, фрейлейн Шарлотхен, похожая не на мать, а на приготовляемые ею сдобные булочки: прехорошенькая голубоглазая блондинка, пухленькая, розовенькая, очень веселая и совсем не застенчивая. Она по утрам и по вечерам собственноручно приносила в замок сдобные булочки и печенья, так что свидания с ней не требовали никаких особых хлопот и измышлений.

Николай Петрович, в подобных случаях не следовавший ни системе Франклина, ни примеру Жан-Жака Руссо, решил полакомиться этой превкусной немецкой булочкой. Он сам очень живо и откровенно рассказывает об этом сдобном романе, из которого сумел извлечь для себя даже некоторую лингвистическую пользу: “Немочка была прелесть какая. Но вот беда: по-французски-то я маракую, а по-немецки — ни в зуб толкнуть не умел. Как же тут ферлакурничать-то? Пробовал я несколько раз поучиться, да больно претит мне этот готский жаргон с его шипящими и скрипящими *шютцейшафт, шварцкюнстлерин, шютцбюнднитц*. Но любовь не свой брат — поэтому я взялся за изучение языка Шиллера и Гете, трудился, корпел, потел и наконец одолел: выгучил *их либе зи* и *кюссен зи мих*. Ну и довольно: это все, что нужно для успешного ферлакурничанья. С этими двумя фразами можно проехать победоносным Дон Жуаном через всю Германию — разумеется, с помощью фридрихсов или наполеондоров. Одолев немецкую любовную премудрость, я в одно прекрасное утро взял у Шарлотхен печенье и брякнул *à bout portant: их либе зи*. Немочка нисколько не осерчала, а наоборот — улыбнулась. На другой день я повторил тот же опыт, а на третий прибавил: *кюссен зи мих*. Немочка и тут не рассердилась, а угостила меня сдобными сухариками и сладким поцелуем. Дело пошло на лад — и таким образом, в продолжение нескольких месяцев, я улаждал свой плен в Вольбоже разнообразными печеньями, за которые, конечно, платил, не скупясь”.

Питаясь немецким сдобным тестом и изучая немецкий язык, Николай Петрович начал постепенно забывать и о революции, и о плене. Жизнь шла мирно, сытно и беззаботно — именно так, как ей надлежит идти или течь. Неожиданный случай нарушил это мирное течение и произвел тревогу у всех обитателей замка, но особенно — у Николая Петровича, наиболее впечатлительного из всех.

В числе пленных был некто Зеленко, человек очень смешной: с круглым одутловатым лицом, с оловянными глазами на выкате, очень толстый и очень трусливый. У него была странная привычка говорить по всякому поводу: “не приведи Бог ребро”. Увидит ли, что кто-нибудь поскользнулся или упал, рассказывают ли при нем о каком-ни-

будь случае — о ссоре, о дуэли или просто о любовном приключении, он помолчит, покачает головой и скажет: “не приведи Бог ребро”.

Зеленко обедал в местечке у какой-то панны Розалии, которую никто никогда не видал. Известно было только одно — что эта панна Розалия питала и тело, и душу русского офицера. Такое положение стало постепенно обычным для холостой части пленного офицерства.

Как-то раз в зале замка собралась большая компания. Был теплый майский вечер. Разговаривали о войне, мечтали об освобождении, пели песни. Главным дирижером и запевалой был Зеленко, считавший себя знатоком вокального искусства. Своим тоненьким солдатским тенорком он старательно выводил начало популярной тогда, несколько эксцентрической песни:

Уж как шла-пошла Федосья
Из царева кабака.

Вдруг входит в залу какой-то мальчик, спрашивает Зеленку и передает ему записку от панны Розалии. Зеленко прочитал и побледнел. Панна Розалия уведомляла своего клиента, что в полночь на замок собираются напасть поляки и перерезать всех пленных.

Замок охранялся двумя ротами польских коссиньеров. Это было особое пехотное войско, вооруженное косами; косы оканчивались узким лезвием, наподобие кинжала; ими можно было и рубить и колоть. Охрана была достаточно серьезная, но кто знает? — коссиньеры в любой момент могли превратиться из охранителей в зачинщиков нападения.

Записка панны Розалии произвела на пленных страшное впечатление. Прервав вечеринку, они высыпали на двор и стали совещаться. Что предпринять, чтобы спастись от смерти? Некоторые предлагали сейчас же броситься на коссиньеров, отобрать у них оружие, всем вместе, оставив замок, пробраться лесами до прусской границы. Другие советовали вернуться в комнаты, забаррикадировать двери и ждать. Но это было совсем бессмысленно: никакого оружия, кроме сучковатых можжевеловых палок, не

было. Николай Петрович втайне обдумывал свой особый план: потихоньку выбраться за ворота замка и провести эту страшную ночь у Шарлотхен, помогая ей печь сдобные булочки. Но как сделать это незаметно?

Часа два прошло в бесплодных совещаниях. Потом все разошлись по своим комнатам. Николай Петрович нарочно отстал от других, чтобы пробраться к воротам; но, дойдя до них, он наткнулся на какого-то человека, который схватил его за руку и сильным шепотом проговорил: “не приведи Бог ребро”. Дело было проиграно. Пришлось сделать вид, что в летние ночи гораздо приятнее и естественнее удовлетворять некоторые потребности около ворот, чем внутри замка. “Вы тоже?” — развязным тоном спросил Николай Петрович. Затем они молча вернулись в замок.

Большинство пленных не раздевалось и не ложилось спать, прислушиваясь к каждому шороху. Ровно в полночь раздался крик: “Спасайтесь! Идут!” В полурастворенные ворота замка входила толпа, вооруженная косами.

Началась беготня по коридору. Зеленко стремглав бросился по лестнице вниз. В одной руке он держал шинель, в другой сапог. Вслед за ним, с можжевелевой палкой в руках, понесся и Николай Петрович.

Ночь была светлая. Острые кончики кос сверкали в небе, как десятки молодых месяцев. Пленные в ужасе метались по двору, ища спасения.

На углу замка, под водосточной трубой, стояла большая бочка. Зеленко, продолжая шептать свое “не приведи Бог ребро” (эта поговорка заменяла у него и молитву) кинулся к бочке, но толщина и неповоротливость помешали ему быстро осуществить задуманную диверсию. Бочка была так высока, что нужно было или прыгнуть в нее с разбега, или карабкаться, подтягиваясь на мускулах. Зеленко схватился за края и стал подтягивать себя кверху, но вдруг его что-то толкнуло, а вслед за тем ударило по затылку, и так сильно, что он упал, почти потеряв сознание. Уверенный, что нападение поляков уже началось, Зеленко лежал, потом пощупал голову и, убедившись в своей невредимости, подполз к бочке, чтобы повторить опыт. Он укрепил ногу о край толстого обруча и, подтянувшись, нагнул голову (в затылке все-таки была сильная боль).

Увы! бочка была уже занята. Из ее глубины на Зеленку смотрели вытаращенные, полные ужаса глаза Николая Петровича. Как человек подвижной и ловкий, он осуществил замысел неуклюжего Зеленки: с разбегу бросился в бочку и по дороге задел его можжевелевой палкой. Узнав Зеленку, Николай Петрович скорчился и ушел на дно. Зеленко посмотрел, плюнул Николаю Петровичу на самое темя и пробормотав: “Эдакая сволочь!”, пошел искать другого места.

Между тем все оказалось сплошным недоразумением. Из Варшавы поступали нехорошие известия, и среди жителей Вольбожа распространился слух будто русские пленные собираются напасть на местечко и перерезать всех поляков. День случился праздничный, и было много пьяных. Боясь каких-нибудь эксцессов со стороны местных обывателей, бургомистр на всякий случай решил принять некоторые меры, в том числе удвоить караул в замке. Толпа с косами, вошедшая ночью в ворота, и была этим добавочным отрядом коссиньеров. Итак, тревога с обеих сторон была фальшивой.

Все это выяснилось только на другой день к утру, ночь же прошла очень беспокойно. Пленные провели ее в самых разнообразных местах и позах: кто залез на дерево, кто запрятался в кусты, кто на чердак, а кто и в отхожее место. Убежище Николая Петровича было самым верным, но одного он не предусмотрел, когда решил перехватить замысел товарища. Под утро небо покрылось тучами, загрохотал гром и полились потоки дождя. Николая Петровича мочило вдвойне: и непосредственно от туч, и косвенно через водосточную трубу, в виде душа. Ванна была настолько основательная и настолько прохладная, что он начинал бояться за свое здоровье и даже за свою жизнь. Как быть? На дворе и в замке была полная тишина, но значило ли это, что тревога была напрасна, или наоборот — что все пленные, кроме него, перерезаны? Этого Николай Петрович долго не мог угадать и поэтому долго еще продолжал сидеть в бочке, на корточках, по пояс в воде. Наконец, весь дрожа от холода, он приподнялся и начал высывать голову.

Все было спокойно. Вдалеке он увидел группу пленных, мирно гулявших по двору. Из подъезда, с корзиноч-

кой в руках, вышла веселая, румяная Шарлотхен. Рядом с ней, куря трубку и прожевывая булочку, шел красивый гусар-банкомет.

Николай Петрович еще прежде заметил его интерес к немочке и очень беспокоился — тем более, что гусар владел не только немецким языком, но и мешочками с монетой последнего чекана.

Сойдя с подъезда, парочка направилась вдоль замка — прямо к тому углу, у которого стояла бочка с водой и Николаем Петровичем. Гусар сыпал немецкими любовными фразами, гораздо более содержательными, чем выученные Николаем Петровичем. Шарлотхен кокетничала, пожимала плечиками и улыбалась. Так они дошли до самой бочки (Николаю Петровичу, конечно, пришлось опять нырнуть на дно) и остановились. Гусар сказал несколько слов, судя по тону, очень чувствительных. Шарлотхен засмеялась и даже фыркнула. Гусар постучал трубкой о бочку, высыпал в бочку пепел (который, естественно, попал прямо на голову Николаю Петровичу и несколько обжег ее) и, схватив немочку за ручки, повел ее за угол. “Кюссен эи мих”, — донеслось точно эхо до слуха Николая Петровича. Раздался поцелуй, а затем воцарилось молчание, неоднократно описанное в литературе и хорошо знакомое Николаю Петровичу по собственному опыту.

ГЛАВА X

ОСВОБОЖДЕНИЕ

Вольбожский плен продолжался пять месяцев. В июле пришло распоряжение — перевести пленных в глубь Краковского воеводства. В простых крестьянских фурах, запряженных парой волов или даже коров, тащились пленные в город Кельцы, лежавший в 12 милях от Вольбожа.

Здесь была назначена дневка. Город был небольшой, но очень живописный и опрятный. Николая Петровича поместили в доме против кофейни. А в кофейне была, конечно, кавярка. А кавярка была, конечно, прелестная.

Разочарованный в немках-блондинках (как раньше в жареном маке), он искал теперь польку-брюнетку — и сразу нашел. Панна Иогася была высокая, стройная брюнетка, очень красивая, умная, живая. Никаких лингвистических затруднений на этот раз не могло быть: польским языком, и деловым, и любовным, Николай Петрович владел в совершенстве.

Но в Кельцах они простояли только два дня. В такое короткое время трудно было добиться полного успеха — тем более что панна Иогася держала себя как очень строгая и неприступная девушка. Мешало и то, что Николай Петрович был все-таки только пленным офицером. Некоторые результаты были, однако, достигнуты: при расставании они обменялись влажными взглядами и сказали друг другу “до зобаченья” (до свиданья). Хотя надежд на это “зобаченье” не было никаких, но втайне Николай Петрович был уверен, что оно состоится.

Из Келец пленных перевезли в Лубницы, а из Лубниц в Олесницы, а из Олесниц в Опатовец, на берегу Вислы. Другой берег принадлежал австрийской Галиции. Местечко было грязное, бедное, без кофеен и без ковярок. Оставалось одно — купаться. Но вылезать на тот берег не разрешалось, стоило к нему подплыть, как раздавалось грозное “Zugück” — и вслед затем австрийский часовой взводил курок и начинал прицеливаться.

Частые перевозки пленных с места на место свидетельствовали о том, что дела польских инсургентов идут не очень хорошо. И действительно: в конце августа последовал трехдневный штурм, после которого Варшава пала, и русские войска вступили в столицу Польши. Пленные узнали об этом от австрийского офицера, который кричал с того берега купавшемуся Макарову: “Камрад! Поздравляю вас: Варшава взята!” Камрад Макаров крикнул в ответ “ура!” и прибавил: “Их либе зи!”

Итак, близился день освобождения. Как-то вечером Николай Петрович сидел в своей комнате и с увлечением писал дневник. На этот раз он вдался в политику: “Положим (писал он), что вдруг удалось бы сделать *трах*, и весь русский народ был бы уничтожен. Что же тогда? Остался бы возле Польши один огромный немецкий народ. Ну, а

далее? Немцы, потомки тевтонов, рано ли, поздно ли, скушали бы вас, сарматов-славян, под своим немецким безвкусным соусом да в своих вассер-супах, т.е. онемечили бы вас, право слово онемечили бы. Тогда пришлось бы вам сделать еще *трах*. А ну как этот второй трах не удался бы вам?.. Ну, Бог с вами, любезные мои братья! Не питаю к вам ни малейшего зла и желаю вам всего лучшего”.

Только что Николай Петрович написал это и стал перечитывать, чтобы обдумать продолжение, как послышался голос хозяина, кричавшего жене:

— Вшистко згинэло! Москали пшишли, жебы их вшисци дьяблы взели!

Николай Петрович бросил перо и вышел на улицу. Здесь он узнал, что отряд донских казаков уже вступил в Опатовец и объявил пленным свободу.

Николай Петрович, конечно, обрадовался, но, в сущности, он не знал, что ему делать со своей свободой. Военная карьера что-то вдруг перестала его манить. Что дала она ему в эти годы? Ничего кроме неприятностей. Зависеть от каких-то польских революций, подвергать свою жизнь постоянной опасности, ездить с места на место, проводить ночь в бочке — зачем это ему, российскому дворянину, наделенному и энергией, и воображением, и музыкальными способностями? Надо начать новую жизнь. Но увы! сразу этого нельзя сделать.

На другой день Николай Петрович, как и его товарищи, двинулся в обратный путь — из Опатовца в Варшаву, через Кельцы, памятные ему “зобаченьем”. Теперь он будет действовать иначе — как полноправный и победоносный русский офицер. “Панна Йогася будет моей”, — твердил он, подъезжая ночью к Кельцам и оправляя мундир.

Вот и та самая кофейня. “Стой!”

Николай Петрович постучал. Открылось окно и выглянула Йогася, украшенная бумажными папильотками. Николай Петрович подскочил к окну и, взяв Йогасю за обе щеки, поцеловал ее в самые губки.

Хозяева не хотели пускать Николая Петровича: собственно говоря, кофейня существует вовсе не для того, чтобы в ней ночевать. Но русский офицер принял такой гордый и победоносный вид, что пришлось согласиться.

Хозяева устроились в задних комнатах, Иогася в первой приемной, Николай Петрович — во второй, на диване.

Так прошло два дня и две ночи. Николай Петрович с успехом завершил начатое три месяца назад дело. Ему даже не пришлось подвергать свою крепость особому штурму — крепость оказалась совсем не столь неприступной, как можно было ожидать. Таким образом, хотя и вдали от полка, но он тоже по-своему отпраздновал взятие Варшавы.

На курьерских, как настоящий победитель, вступил Николай Петрович в усмиренную столицу. На улицах — орудия, бивуаки, караулы, часовые, конные и пешие патрули. Вот и Саксонская площадь, вот и полковник Граббе, и полковник Жеребцов, и командир Энгельман. В груди Николая Петровича гордо и мерно билось сердце русского дворянина. “Мы победили, мы победили!” — твердил он, радостно пожимая руки приятелям. И ему уже не хотелось бросать военную профессию. Так приятно брать крепости и праздновать победы над врагом!

В такие минуты человеку хочется видеть кого-нибудь из родных или близких — если не мать, то хоть отца или дядю. Но оказалось, что Валерьян Макарыч успел уже выйти в отставку и уехал в Солигалич. Отчего бы и ему не побывать на родине?

Отпуск был разрешен, и Николай Петрович пустился в далекий путь, проделанный им вместе с дядей девять лет назад. В Москве он узнал, что Валерьян Макарыч совсем недавно выехал к себе в деревню. Николай Петрович помчался вслед за ним.

Был вечер, когда он въехал наконец в имение дяди. Дом был весь освещен, во дворе стояло много экипажей. Валерьян Макарыч праздновал свое благополучное прибытие. Итак, Николай Петрович попал прямо на бал. Тем лучше!

Его не ожидали и даже не сразу признали. “Откуда вы, батюшка? — спрашивали дворовые. — Кого вам нужно? Уж не из Аршавы ли вы?” Узнали его Васька и Егорка. “Да это Николай Петрович!” — закричали они в два голоса и кинулись в дом.

Поднялся радостный крик. На крыльцо выбежал Валерьян Макарыч.

— Николаша! Друг мой! Ты ли это? Вот молодец! Вот герой! Катенька! Петр Петрович!

Валерьян Макарыч втащил его за руку в гостиную. Петр Петрович играл в вист. Он рассеянно посмотрел на сына, потом внимательно на свои карты, кинул одну из них на стол, махнул рукой и с ожесточением плюнул на пол. Валерьян Макарыч подошел и вырвал у него карты. Он свирепо оглянулся и вдруг узнал сына.

— Николаша! — вскрикнул старик и, рыдая, повис у него на шее.

Все бросились к Николаю Петровичу — и знакомые, и незнакомые. Даже Катенька подошла и поцеловала его в лоб. Валерьян Макарыч стал посредине гостиной, надул щеки и пустил громкую медь — правда, уже не так звучно и правдоподобно, как он это делал девять лет назад.

В ответ на это доморощенный квартет заиграл увертюру из оперы “Калиф Багдадский”. На столе появилось архангельское шампанское. Зазвенели бокалы, зашумели голоса и дамские платья.

Николай Петрович ликовал от счастья. Он был встречен как настоящий герой. Варшавский госпиталь, страшная ночь в Вольбоже, сиденье в бочке, плевков Зеленки, пепел с трубки банкомета, измена коварной Шарлоттен — все это был сон!

Да здравствует действительность!

Да здравствует Николай Петрович!

Да здравствует Литовский гвардейский полк!!!

Туррр, туррр, тра-та-та-та, бум!!!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ И МЕЧТА

ГЛАВА XI

ЛОКОМОТИВ СЕРДЦА

Прожив в отпуску до весны 1832 г., Николай Петрович вернулся в свой полк, который стоял в Ораниенбауме. Впервые увидал он Петербург — и остался недоволен. Дистанция огромного размера, но как все дорого и неудобно. Извозчики возят на каких-то допотопных гитарах и берут втрое дороже, чем в Варшаве. Хочешь разменять рубль на мелкие деньги — плати гривенник. Даже за простую воду для питья пришлось заплатить в гостинице 20 копеек. “Это прямо татарщина какая-то, — повторял про себя возмущенный Николай Петрович, — это какой-то скифизм!”

В Ораниенбауме тоже дорого и климат прерастранный. Представьте: май месяц, сухо, ясно, тепло. Николай Петрович гуляет по дворцовому саду в одном сюртуке. Вечер прекрасный, созданный для любви: луна, соловьи, тишина, зеленая травка, кусты и пр. Просыпаешься на другой день утром — все снегом покрыто, надевай зимнюю шинель. То ли дело в Варшаве!

Но вздыхать о Варшаве было бесполезно. Надо было примириться с “татарщиной” и делать военную карьеру.

Сначала Николаю Петровичу повезло. На разводе перед Зимним дворцом император строго спросил его: “Откуда приехал?” — “Из Костромской губернии”, — ответил Николай Петрович громко и таким тоном, как будто Костромская губерния лежала у самого полярного круга. Его величество был, по-видимому, нетверд в географии, но именно поэтому ответ Николая Петровича произвел на него впечатление. “Хорошо! молодец!” — сказал импера-

тор — и Макаров был сейчас же произведен в подпоручики и переведен в роту его величества. “Все дело в тоне и в голосе”, — решил Николай Петрович и начал держать себя соответственно чину — несколько величественно.

Время наступило относительно мирное и относительно летнее. Николай Петрович гулял по дворцовому саду и размышлял. Он размышлял очень логично и даже несколько по-шопенгауэровски. “Военное звание и любовь — вещи неразрывно связанные и друг друга предполагающие. Мужчина — воин, женщина — его подруга, его любовница. В военное время воин, конечно, отдает все свои силы войне, — для этого он вооружен саблей и пистолетом. Но в мирное время военная одежда и вооружение имеют другой смысл: они должны соблазнять и очаровывать женщин”.

И вот Николай Петрович решил заняться этой стороной военной профессии — тем более что в ней он был уже достаточно опытен. Оказалось, что у госпитального доктора, старика Аллерта, есть племянница — высокая, белокурая и голубоокая Ида Кнорринг. А у смотрителя того же госпиталя есть 28-летняя жена, очень пикантная лифляндка. А у этой пикантной лифляндки есть старшая сестра, Аврора, тоже пикантная, но только на вечерней заре, при ламповом освещении. Итак, утром можно было ухаживать за Идой, днем (когда муж на службе) — за лифляндкой, а вечером — за Авророй.

Но Николая Петровича всегда подстерегали страдания и неудачи. Вместо легкого флирта его вдруг охватила серьезная страсть — не к Иде, не к лифляндке и даже не к Авроре, а к внучке ораниенбаумского пастора, семнадцатилетней Аннете Гесслинг, приехавшей из Петербурга. Эта страсть, как он сам выражается, “повисла тяжелым огненным облаком, пронеслась ураганом над головой и довела, если не до сумасшествия, то до стихоплетства, что почти все равно”. Она-то, эта страсть, и погубила всю его, так блестяще начатую, военную карьеру.

Дело в том, что у Николая Петровича оказался соперник, и соперник этот оказался более счастливым. Положение осложнялось тем, что этот счастливый соперник был в то же время и другом Макарова. В припадке горя, рев-

ности и досады Николай Петрович написал своему другу-сопернику огромное послание в стихах — по примеру лучших русских поэтов: Жуковского, Пушкина, Рылеева, Баратынского и др. Послание это начиналось так:

Случалось ли тебе видеть в глуши степной,
Как курган порывистый бушует
И степь песчаную взрывает и волнует,
И пыли облака он гонит пред собой.
Или в ночной тиши, когда природа дремлет,
Везде безмолвие, все сладкий сон объемлет,
Луной посеребрен струится ручеек.
Порою легкий ветерок
Повеет и едва коснется
До зыбкого зеркала спящих вод,
И вдруг тогда померкнет неба свод,
В ущельях гор со свистом ветер проснется,
И заревет гроза, и дождь рекой польется,
И, вздутый от дождя, вдруг зашумит поток,
Взволнуется, вскипит его спокойный ток
И быстро мутными волнами понесется.
Так было и со мной: сначала я дремал
В бездействии, души и сердца молодого,
И в звуках музыки, в мелодиях искал
Я тихих радостей и счастья неземного.
Но я узнал ее — и в сердце запылал
Огонь неугасимый.
Как пробужденный лев, ничем не укротимый,
Проснулась так любовь в груди моей,
И буря грозная страстей
Мою всю душу взволновала
И в бездну бед меня стремительно умчала.
Зловещий рок, увы! мне не судил
Взаимности, блаженством наслаждаться.
И жребий горестный он мне определил:
Печален и угрюм, как тень могил,
Я в одиночестве всю буду жизнь скитаться!

“Пробужденный лев” стал страдать и метаться по комнате. Целую неделю он неподвижно пролежал на диване, вставая только раз в день, чтобы выпить два стакана чаю со сливками и с сухарями. Каждый день он думал о

смерти. На стенах его комнаты появились классические изречения древней мудрости, среди которых он и собирался умереть: *Memento mori*, *Sic transit gloria mundi*, *Vanitas vanitatum* и пр. Но любовь к жизни сильнее смерти: надписи висели, а Николай Петрович не умирал. Он даже не очень похудел, а только слегка побледнел и стал несколько задумчивее.

Неизвестно, чем бы это кончилось — куда бы, по выражению самого Макарова, увлек его “этот локомотив сердца и разума” — если бы ему вдруг не пришла в голову прежняя мысль: выйти в отставку и начать новую жизнь. Что, в конце концов, чин подпоручика для такого человека, как он? Ну, будет он поручиком, ну потом штабс-капитаном, ну полковником — а Аннета? Она все равно не будет ему принадлежать. А если так, то зачем ему военный мундир и сабля с пистолетом? Говоря правду, он совсем не рвется в бой с врагом и, в случае чего, опять залезет в бочку или в какое-нибудь другое подобное убежище.

В отставку, в отставку! К черту пистолет, любовь и философию Шопенгауэра. “Проживем без пистолета, без любви и без философии”, — повторял Николай Петрович, снимая со стен надписи и собираясь ехать к дяде в Солигалич.

Но некоторые обстоятельства задержали его. Уже знакомая читателю тетка Николая Петровича, Александра Алексеевна Шипова, поселилась с 1831 г. в Петербурге, вместе с сыном, любимым адъютантом Михаила Павловича. Николай Петрович редко бывал в этом доме. Когда тетка звала его на свои вечера, чтобы попить вино и поесть хороших конфет от Рязанова (лучшего тогда петербургского кондитера), Николай Петрович качал головой и грустно говорил: “Ах, та tante! Ведь у вас все будут графы с графинями, да князья с княгинями, да сенаторы и генералы с сенаторшами и генеральшами, все звездоносцы. И превратятся ваши комнаты в млечный путь. И не перенесет мое слабое чухломское зрение всего этого сияния и блеска. Увольте, молю вас, *chère tante!*”

Тетка жила на Царицыном лугу, в бывшем доме Долгорукова (потом — дворец принца Ольденбургского). Окна ее квартиры выходили прямо на Царицын луг. Во время парадов к ней собирались не только знакомые и родные,

но и совершенно посторонние люди — смотреть из окон на парад. Тетка говорила: “Каждый парад обходится мне недешево: и оршад, и лимонад, и шоколад, и кофе, и чай, и разнообразная закуска с винами и ликерами, и конфеты от Рязанова, и фрукты от Елисеева, и все это в больших количествах”.

Тетка эта кончила тем, что удалилась в монастырь и сделалась игуменьей. Каждый год она приезжала в Москву. Тогда у подъезда гостиницы, в которой она останавливалась, с утра до вечера стояли кареты московских аристократов, приезжавших на поклонение к матушке-игуменье.

Сын ее кончил еще хуже. В детстве у него была странная привычка — беспрестанно дергать себя за нос, как бы с целью вытянуть его. В одну из поездок с Михаилом Павловичем за границу случилось несчастье: экипаж опрокинулся. Адъютант ударился головой о камень; произошло сотрясение мозга, и он помешался. Помешался он на том, что у него стеклянный нос. При виде каждого человека он протягивал руки вперед, потом хватал себя за нос и кричал: “Осторожней! не разбейте!” В конце концов он перерезал себе горло бритвой и умер.

Так вот эта самая тетка, узнав о намерении Николая Петровича вернуться в Солигалич, стала его отговаривать: “Зачем тебе ехать в медвежью глушь? Ведь ты там заглохнешь, одичаешь, заплесневеешь, мохом порастешь. Я могу тебя устроить в любом министерстве. Все директора мои знакомые. Ты можешь составить себе блестящую карьеру”.

И действительно: нашелся некий директор Фандерфлит, который тотчас же устроил Николая Петровича в департаменте податей и сборов. Ему дали две толстые переплетенные тетради об окладных и еще каких-то других сборах и сказали: “Внимательно прочитайте эти тетради и постарайтесь главные мысли выучить наизусть. Это весьма поможет вам сделаться хорошим чиновником”.

Но ничего не вышло из этой гражданской карьеры. После службы в Литовском гвардейском полку, после взятия Варшавы сидеть за столом и писать какие-то ведомости! После стихов Жуковского, Пушкина, Языкова, Рылеева,

Грибоедова читать об окладных и еще каких-то сборах!?. После Аннеты Гесслинг... нет! нет! это невозможно!

Прошло десять дней — и Николай Петрович вернул тетради непрочитанными, поблагодарил тетку, сел в дилижанс и помчался к дяде. К черту! к дьяволу на рога! в Солигалич! в Чухлому!

ГЛАВА XII

НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ НА КОНЦЕ СВЕТА

Солигалич называли тогда “концом света”. Почта, добравшись через всю Россию до Солигалича, дальше уже не ехала, а ночевала и поворачивала обратно. За Солигаличем начинались непроходимые леса и болота. И вот на этом конце света появился опять Николай Петрович, но на этот раз уже без шпаги, без пистолета, без любви и без определенных занятий — с одной гитарой и с званием дворянина. Вот куда его завел или завез роковой локомотив сердца!

Кто он теперь такой? Не офицер и не помещик, не герой и не артист, не чиновник и не писатель. Сплошное “не”. А между тем ему уже 24 года. В эти годы Пушкин написал “Бахчисарайский фонтан”.

Опять заняться волокитством, заменив шпагу гитарой? Нет, даже женщины ему надоели. У соседнего помещика была 16-летняя дочь — прехорошенькая брюнетка, с черными огненными глазами. К ней как нельзя больше шли стихи поэта 30-х годов Вернета:

Прекрасная я перла юга,
Объятая пламенны мои.

И что же? А ничего. “Перла юга” влюбилась в Николая Петровича, а он не обращал на нее никакого внимания: брэнчал на гитаре и пел “Уймись, волнения страсти”, чем доводил дам и девиц до истерики.

Поселился он не у отца, а у дяди — все у того же Валерьяна Макарыча. Папаша совсем разорился и, дожив до

70-летнего возраста, откопал, наконец, замечательный клад: женился на какой-то безобразной, толстой мещанке, неграмотной и нетрезвой. Она пила водку и каждый вечер била своими жирными ладонями бывшего исправника.

За эти 12 лет многое сильно изменилось, но не все изменилось к лучшему. Валерьян Макарыч совсем опустился: ходил босой, в нанковом сюртуке, без галстука и без помочей, а часто и без брюк. Псовые охотники перевелись, шуты и дурачки исчезли. Помещики выписывали “Московские ведомости” и “Библиотеку для чтения”, только что тогда появившуюся.

Из прежних обычаев сохранилось только хлебо-сольство, и то, в сущности, только в доме Валерьяна Макарыча. Он по-прежнему устраивал обеды и вечера, на которые съезжалась вся округа. Валерьян Макарыч в эти дни надевал брюки и туфли. Гости рассаживались в определенном порядке. Половину стола занимали гости почетнейшие: предводитель, судья, исправник, городничий и самые “великодушные” помещики; другая половина предоставлялась разной мелкоте: заседателям, секретарям, протоколистам, письмоводителям и помещикам “малодушным”.

Сам Валерьян Макарыч не садился: он ходил вокруг стола и распоряжался угощением, которое раздавалось тоже по определенной системе. На первую половину стола подавались вина с громкими названиями: лафит, го-со-терн, бургундское, шампанское; другую половину угощали сантуринским и “деригорловкой”, т.е. мадерой местного производства. Валерьян Макарыч, как полководец и стратег, ничего не пил, а только командовал разносом и распределением питий: одному лакею мигнет правым глазом, другому левым; третьему кивнет головой, четвертого толкнет локтем. Это был язык жестов, давно усвоенный слугами.

Валерьян Макарыч не любил ни вина, ни водки. Он не пил даже ни чаю, ни кофе, ни воды; его основным и единственным питьем был квас. Для изготовления кваса был у него отдельный человек, владевший тайной своего рецепта. Для хранения этого кваса был отдельный погреб, ключ от которого висел над кроватью Валерьяна Макарыча. Когда он ехал куда-нибудь по делам или в гости, его со-

проводила партия бутылок с квасом. Отъедет верст пять и кричит: “стой!” Выпьет бутылочку-другую и едет дальше.

Николай Петрович подсмеивался над этим “квасным патриотизмом” дяди и, бывало, говорил ему:

— Эй, дядя! Вы когда-нибудь умрете бесславной смертью. Люди опиваются водкой, ромом, пуншем, а вы погибнете от собственного кваса.

И что же? Николай Петрович, сам того не ожидая, оказался пророком. В 1850 г. Валерьян Макарыч поехал в Москву лечить жену. Доктора приходили, деньги уходили, а жена глотала, глотала всякие лекарства да и померла. Дело было летом, в страшную жару. Возвращаясь с похорон, Валерьян Макарыч завернул в квасной ряд и выпил с горя несколько бутылок квасу, кислых щей и меду. В тот же вечер он заболел холерой и последовал за своей супругой. Николай Петрович ошибся только в том отношении, что дядя погиб не от собственного, а от чужого кваса.

Так грустно кончил жизнь один из важных персонажей этой хроники. Но читателю нечего огорчаться: роль Валерьяна Макарыча все равно уже сыграна, а скоро на его месте появится другой персонаж, гораздо более важный и характерный. Что же касается самого Николая Петровича, то читатель может быть совершенно спокоен: он умрет только вместе с окончанием этой книги, а возможно, даже, что и совсем не умрет.

Героем хроники должен быть человек выносливый и здоровый, не страдающий ни запоем, ни запором, ни склерозом, ни туберкулезом — именно такой, каким был Николай Петрович Макаров. В этом — основная физическая разница между героем хроники и героем романа. В романе автору приходится все объяснять и анализировать: и любовь, и смерть, и идеологию. На эти анализы уходят целые главы, а иногда и части. Что же делать герою, пока его анализируют? Приходится болеть. А когда анализ исчерпан и герой выяснен, то приходится ему убираться на тот свет, потому что автору он больше уже не нужен.

Хроника — совсем другое дело. Она строится на фактах, на поступках, на анекдотах, на мелочах. Герою некогда болеть, а автору некогда анализировать. Что же касается идеологии обоих этих лиц, то ее должен выводить сам

читатель — именно из этих фактов, поступков, анекдотов и мелочей. Пускай и читатель немножко поработает, прежде чем писать критические статьи. Тогда он лучше поймет, что такое литература и литературные жанры.

Этой надгробной речью почтим память Валерьяна Макарыча (а кстати уж, и его жены Катеньки) и вернемся к Николаю Петровичу.

По утрам Николай Петрович писал стихи. Он занялся пока пародированием классических поэм и романсов, переводя их из серьезных жанров в жанры смешные и скабрзные. Дело шло очень легко и быстро. Прошел какой-нибудь месяц — и набралась целая тетрадь, которая получила наименование: *“Комментарии и характеристический маскарад новейших романсов”*. Пародия на Пушкинский “Талисман” начиналась, например, так:

Там, где Висла орошает
Изобильные берега,
Где так скоро вырастают
У мужей на лбу рога,
Где, трактиры посещая,
О свободе тужит пан,
Там паненка молодая
Мне вручила талисман.

По вечерам Николай Петрович играл на гитаре, пел и декламировал. Всем очень нравилось старинное альбомное стихотворение:

Ударил час, медь зазвучала
И будто стоны издала;
Слеза на грудь мою упала,
Душа заныла, замерла.
Свершилось все, расстаться должно,
Коль рок претит нам вместе быть;
Судьбе повиноваться можно,
Но лъзя ль не плакать, не грустить?

Дамы плакали, а Николай Петрович повторял: “Ударил час, медь зазвучала”, и гудел валторной.

Но днем Николай Петрович скучал. Сельским хозяйством он совершенно не интересовался. Почитает “Московские ведомости”, прочтет смесь и библиографию в “Библиотеке для чтения”, а день все еще не кончается. Что бы такое предпринять?

А вот что: не было у него до сих пор истинного друга. Был один, да и того Аннета отбила. Надо найти нового, настоящего, на всю жизнь. Жизнь без друга хуже, чем без любви. Один в поле не воин. Друг и выслушает, и утешит, и совет подаст, и поможет — и все это бескорыстно, просто потому, что он друг. Любовь хороша только вначале, а дружба — как вино, как гитара: чем старее, тем лучше, крепче, полнозвучнее. Другу можно во всем признаться, а женщине нельзя — с ней надо фасон держать, а то она презрительно усмехнется и скажет: “Какой же вы после этого мужчина?”

Число подобных глубокомысленных афоризмов все увеличивалось, а друга все не было. Да и как найти его здесь, на конце света? Нужно, чтобы он был деятельный, добрый, благородный, чтобы у него были деньги (а то будет в долг просить), чтобы у него не было жены (а то станет ревновать.) и т.д. Среди солигаличских дворян ни одного такого не было.

Но кто сказал, что друг дворянина должен быть непременно дворянин? Это предрассудок XVIII века. Теперь не то время. Купец, например, начинает играть важную роль и в литературе, и в общественной жизни. В качестве друга он может быть и полезнее, и приятнее любого дворянина. Купец — человек веселый, широкий, гостеприимный, любит гитару, любит стихи и анекдоты, любит хорошо покушать и других угостить. А дворянин? Дворянин любит только хвастаться и нос задирать. Если на нем большой чин, так к нему и не подступить. “Какой это Макаров, — спросит он, — бывший подпоручик? Сын бывшего исправника, который разорился и женился на мещанке?” Сделает гримасу и повернется спиной.

Нет, уж Бог с ними, с дворянами! С купцами дело куды вернее!

И Николай Петрович стал присматриваться.

ГЛАВА XIII

ОПЫТ ДРУЖБЫ

В доме дяди бывал в числе обычных посетителей один юноша — скромный, белокурый, худощавый и очень застенчивый, Вася Кокорев. Сидел он всегда на самом кончике стула, шевелил руками и молчал. Николай Петрович попробовал заговорить с ним. Вася долго краснел и отмалчивался, но потом стал отвечать и обнаружил много ума, такта и особой русской сметливости.

Он управлял солеваренным заводом своего дяди и жил в маленьком домике. Иногда он собирал у себя гостей — на чай, на вечеринку или на завтрак с блинами, с икрой, с солигаличскими калачами и с неизбежной “старой остиндской мадерой” местного производства (“деригорловка” тож). Тут и болтали, и рассказывали анекдоты, и читали стихи: Пушкина, Языкова и других поэтов, печатные и непечатные.

У Васи, конечно, не было никакого образования. Он, например, не знал французского языка и никогда не бывал в Варшаве. Но зато он аккуратно читал “Московские ведомости” и имел порядочно сведений в области финансовой и торговой политики. Отвлеченных вопросов он не любил, но такие темы, как вывоз хлеба или льна, постройка железных дорог в России, добывание железа и каменного угля, организация кредита, введение серебряного рубля и пр., живо интересовали его и охотно им обсуждались.

Николай Петрович, наоборот, ничего не понимал в такого рода низких, житейских вопросах. Но это не должно было мешать. Как известно, противоположность интересов и стремлений почему-то способствует дружбе. Он рассказывал Васе про Варшаву и про Константина Павловича, про Петербург и про государя, про свои любовные и военные успехи, и сверх того, обучал его французскому языку и читал ему свои стихотворные “комментарии” и критические статьи барона Бромбеуса.

Слушая экономические рассуждения Васи, всегда очень дельные, Николай Петрович думал: “Если этому куп-

чику дать настоящее образование, из него может получиться толк. Он выйдет в люди и меня поблагодарит. А купцы умеют благодарить не так, как дворяне!” А Вася Кокорев тоже думал про себя: “Поучусь-ка я у этого разорившегося дворянчика всяким ихним штучкам. Пригодится!”

Что может быть прочнее такой дружбы? Между ними был заключен как бы молчаливый договор, главный пункт которого гласил: “Ежели я, купеческий племянник Василий Александров сын Кокорев, обучусь французскому языку и русскому красноречию и выйду в люди, то не забуду друга моего и наставника, дворянина Николая Петровича Макарова, и окажу ему, буде явится нужда, финансовую помощь”.

Все было бы хорошо, если бы Николай Петрович не слишком увлекался ролью наставника. А педагог он был неважный: забалтывался и чересчур много говорил о поэзии и о своих стихах. Вася терпел, но думал: “Эк, далась ему эта поэзия. Уж лучше бы про царя рассказал”.

Вот как-то раз Николай Петрович завел свою обычную речь о поэзии. Вася слушал, слушал, да вдруг и спросил:

— А почему вы, Николай Петрович, нигде не служите?

— Мне, Вася, служить не нужно. Я вот окончу свои стихотворения и пошлю их в “Библиотеку для чтения”. Их напечатают — и я стану поэтом. Поеду в Петербург, познакомлюсь с писателями, найду, конечно, к Пушкину. А ты знаешь, как Пушкин живет? Как вельможа! Женат на красавице, бывает при дворе, разговаривает с государем. А нигде не служит. Сидит дома и пишет. Поэтому, Вася, служить не нужно.

Вася усмехнулся, выпил рюмку мадеры, громко высморгался и заговорил — тихо, но очень уверенно и даже наставительно:

— Вы говорите — Пушкин-с. Так ведь Пушкин-то, Николай Петрович, у царя служит-с и царю пишет. То-то и оно! Это дело другое-с, это мы понимаем. Царь позовет его, даст денег и сделает заказ: напиши, мол, мне про Бориса Годунова, да как следует. Ну, Пушкин и напишет-с. Понравится царю — он ему еще денег даст или перстень алмазный

подарит: хочешь, мол, сам носи, а не хочешь — продай, твое дело. А не понравится — скажет: пардон, переделай, чтоб было первый сорт. Это все едино, что служба-с. Да и у нас в торговом деле аккурат то же самое. А что ж ваши стихи? Они хоть и хороши, спору нет, да ведь вам за них ни чина, ни денег не дадут-с. Это так, вроде забавы-с, для девиц.

Николай Петрович стал доказывать Васе, что и он, Макаров, может со временем стать Пушкиным, что Пушкин вот, говорят, уже исписался и начал от стихов отлынивать, что царю может понадобится другой Пушкин и т.д. Но Вася ничем этим не убеждался.

— Тут, Николай Петрович, планида нужна. Это раз в сто годов бывает-с. А вот и не захочет царь другого Пушкина! Довольно, скажет, мне и одного. Мне, скажет, теперича не до стихов. Мне промышленность нужна. Мне нужно мосты строить и железные дороги проводить, чтоб Европу догнать. Стихи, мол, хороши, спору нет, да мы с этими с хорошими стихами на целый век отстали. Ну их, скажет, к лешему! А не то позовет, к примеру, вас и спросит: можешь ты мне про мосты и про железную дорогу поэзию сочинить? А вы — пардон-с, потому вы все про любовь-с пишете. Вот вам и крышка-с.

Самое неприятное было то, что Вася, несомненно, был отчасти прав. Николай Петрович форсил и хорохорился, а в глубине души чувствовал, что его проект стать вторым Пушкиным несколько фантастичен. Но тем сильней была его обида на дерзкого ученика. Какая уж после этого дружба? Для дружбы необходимо взаимное уважение.

Был душный июльский день. С самого утра в доме Валерьяна Макарыча начались скандалы и недоразумения. Такое было атмосферное давление. Катенька, едва встав с постели, стала кричать и топтать ногами. Повар прибил горничную, а лакей за это разбил повару морду. Другой лакей разбил дорогую вазу. Собака сорвалась с цепи и укусила дворового мальчишку. Мальчишка, побежав от нее, потоптал цветы на клумбе. И так далее. А между тем к обеду должны были пожаловать гости, и в их числе доктор, лечивший Катеньку от расстройства нервов.

Николай Петрович проснулся тоже мрачным и злым. Он даже не хотел подниматься с постели. Что ему те-

перь делать в этом проклятом Солигаличе? Зачем ему жить на этом конце света — без дружбы, без любви, без вдохновения? Надо бежать. А куда?

Но с постели он все-таки встал и к обеду явился. Гости съехались. Обед несколько запоздал, но все же состоялся. После обеда гости вышли во двор подышать воздухом. Вышел на крыльцо и Николай Петрович. Он слегка пошатывался, потому что выпил восемнадцать бокалов шампанского. Настроение у него не улучшилось, но явилась потребность в буйстве. Он оглядывал гостей с таким видом, как будто выбирал жертву.

У крыльца стояли две старинные пушки. Они достались Валерьяну Макарычу от его прадедушки, управлявшего тайной канцелярией Петра I. На одной из пушек сидел Катенькин доктор — почтенный и умный человек, но страшный сплетник и лгун. Он, например, распространил слух, будто Николая Петровича выгнали из полка за пьянство и разврат.

Увидев доктора, Николай Петрович скорчил гримасу и сел на противоположную пушку. Минута прошла в молчании — только издали донесся раскат грома. Надвигалась огромная, почти черная туча. Шумели листья и тревожно лаяла собака — та самая, которая утром сорвалась с цепи.

Вдруг Николай Петрович повернулся лицом к доктору, высунул язык и показал ему шиш.

Доктор взглянул на него, пожал плечами и сказал сквозь зубы:

— Идиот!

Николай Петрович медленно слез с пушки, подошел к доктору, со всего размаху ударил его кулаком в нос, а потом схватил за воротник и сбросил с пушки на землю. В ту же минуту сверкнула молния и раздался страшный удар грома. Было такое впечатление, как будто разом выстрелили обе пушки, и одна из них попала в доктора.

Гости бросились к крыльцу. У доктора из носа текла кровь. Николай Петрович стоял около него и по старой детской привычке размахивал руками и кричал: “У-ля-ля. А-лю-лю. Тарарай. Тах-тах. Тара-тах!”

Гроза к вечеру прошла, а Николай Петрович на другой же день нанял лошадей и уехал в Петербург. Что бы там ни произошло, а в Солигалич он больше не вернется.

К черту! К дьяволу на рога! К тетке с Фандерфлитом!

ГЛАВА XIV

НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ В ДОРОГЕ

Но это хорошо сказать: к тетке с Фандерфлитом. А чем эта тетка с Фандерфлитом ему поможет? Она, наверно, обижена на него. И Фандерфлит тоже.

Долой тетку! Он не может служить ни в каких департаментах. Долой Фандерфлита!

Но как же быть?

А вот как. Надо выгодно и солидно жениться. Жена с именем и с деньгами лучше всякого друга, не говоря уже о департаменте.

Но кто пойдет за него, когда кроме гитары и стихотворных комментариев у него нет ничего другого? Купчиха — и та, пожалуй, не пойдет.

Как же быть?

А вот как. Надо вернуться в полк и, дослужившись до чина поручика, жениться. Так многие делают. Что ж такого, что он вышел в отставку? Все товарищи знают, что причиной этого была его несчастная история с Аннетой Гесслинг, а вовсе не разврат и пьянство, как толкует солигаличский доктор.

А ловко он расквасил нос этому сплетнику! Будет помнить.

А Вася Кокорев пусть сидит без французского языка. Так ему и надо. Купчиха, а как заговорил, сукин сын! Пусть сидит в Солигаличе и пьет свою мадеру.

“Да. Я возвращаюсь в полк, — продолжал свои дорожные размышления дремлющий Николай Петрович. — Я справился со своим несчастьем и возвращаюсь обратно на свое место. Ничего в этом странного нет. Это может со всяким случиться. Я уехал из Петербурга в Солигалич, а теперь еду из Солигалича в Петербург. Вот и все”.

— И не смейте распространять про меня гадкие слухи, порочащие мою честь и мой мундир! — вдруг закричал он во все горло.

Ямщик попридержал лошадей, оглянулся, потом совсем повернулся лицом и спросил:

— Чего-с?

Николай Петрович махнул ему рукой: ничего, мол, поезжай, это до тебя не касается.

Но ямщику захотелось поговорить. Он вынул кисет, смастерил сигарку, закурил и, усевшись бочком, обратился к Николаю Петровичу:

— А дохтур-то, ваше благородие, грозитя на вас в суд подать. Чего это вы ему так морду набили? Барин он быдто хороший. Или чего не поладили в женском деле?

— Сволочь он, твой доктор. Мне его нос не нравится. Ямщик помолчал, покурил и опять обратился:

— А чем же у него, например, нос плох?

— Не твое дело. Вези быстрее.

Ямщик дернул вожжами и зачмокал, но не всерьез, а только для виду. Лошади понимали эту политику и попрежнему едва переставляли ноги.

“С этими с господами ехать не то, что с Васильем Александрычем, — думал ямщик, — тот и песню споет, и поговорит, и табачком угостит, и винца предложит. А этот того и гляди в морду даст. Нос ему, вишь, не понравился. А нос у дохтра самый обнаковенный, костромской, аккурат как у меня. Ничего плохого в таком носе нет. Никому он не мсшает, и дышать им способно. Какой же ему сщс нос нужен? До чего разбаловались господа-то! Ай-яй-яй, до чего разбаловались! Нос не понравился — и в морду. А разве он в своем носе повинен? Да и нос самый обнаковенный, настоящий костромской”.

Эти размышления о носе продолжались бы еще очень долго и перешли бы в густой храп, если бы Николай Петрович не ткнул ямщика в спину.

— Чего-с?

— Что ты меня как кислое молоко везешь? Я не солью торговать еду. Вези как следует, а не то я тебе тоже нос расквашу!

“Ну вот и пожалуйте. До моего носа добрался. Ах, до чего разбаловались!” — подумал ямщик. Тряхнув вожжами и слегка почмокав, стал ворчать:

— До моего носа тебе не достать. Ишь ты! Я и сам в нос дам, коли такое дело. “Не солью торговать”. Это он про Василия Александрыча. Так Василия-то Александрыча мы так возим, что любо-дорого! Гривы так и выются по ветру. А тебя вот так не повезу, что хочешь делай! Трюх-трюх, а скорее тебе не будет. Вот и сиди со своим с носом. А до моего тебе не достать. Нет такого закона!

Менялись и кони, и ямщики, а было все то же “трюх-трюх”. Один ямщик сообщал другому характеристику пассажира — тем самым решался вопрос о темпе езды. Николаю Петровичу был на этот раз присужден темп “трюх-трюх”. Поневоле и глава эта двигалась в том же темпе.

ГЛАВА XV

ШПАГА И СТИХИ

Но вот и Петербург. Темп сразу изменился. Все удалось прекрасно. Николая Петровича приняли обратно в Литовский полк. Товарищи встретили его с распростертыми объятиями. Через несколько дней в честь его возвращения была устроена торжественная вечеринка — с шампанским, с музыкой и даже с Аннетой Ёсслинг.

За эти полтора года она превратилась в пышную розу. Соперник Николая Петровича не женился на ней, потому что она предпочла другого, а этот другой в последнюю минуту повернулся спиной и дал тягу. Роза осталась не сорванной, и аромат ее продолжал кружить головы литовским офицерам.

Но Николай Петрович остался хладнокровен и невозмутим. Он был весел, развязен и любезен со всеми дамами, в том числе и с Аннетой, но сердце его билось ровно и воображение не рисовало никаких заманчивых картин. Аннета кокетничала и дразнила, намекая на прошлое и как

бы обещая нечто в будущем. Товарищи тоже намекали на то, что Николай Петрович вернулся не столько к ним, сколько к Аннете. Об этом говорили даже вслух, так что вечеринка стала походить на помолвку.

Тогда Николай Петрович взял со стола томик Языкова, раскрыл наугад и продекламировал:

Смотрю с улыбкою, как прежде,
В глаза кумиру моему,
Но я не верю уж надежде,
Но я молюся — не ему.

— Bravo! Bravo — закричали товарищи. — Ты прямо поэт!

Аннета молчала и искоса поглядывала на Николая Петровича. Щеки ее заметно покраснели. Она стала совсем похожа на розу.

— Ну-ка, Макаров, валяй еще что-нибудь! — кричали товарищи.

Николай Петрович встал, взял в руки бокал с шампанским и, глядя в упор на Аннету, продекламировал большое стихотворение, вычитанное им в библиотеке Валерьяна Макарьча:

Седлайся вновь, конь крепкий мой!
Затеем снова жизнь степную;
Мне опостыл аул родной,
Я в нем без пользы истоскую.

Слыву наездником лихим,
Меня зовут Огнем-Омаром.
Да! шашки лезвием крутым
Не рассекал я воздух даром.

Земли не задевал свинцом,
На ветер пороху не тратил,
Не мчался робким беглецом, —
Лишь смертью с недругами ладил.

И вот задумал бросить я
Приволье жизни одинокой,

Моих наездничеств края,
И все забыть для черноокой.

Но сакли гордая краса
Не поняла любви свободной —
И пламенный, как небеса,
Я презрен девою холодной.

Пускай изнеженный уздень
Ее любовь подкупит златом;
Мне девы жаль: настанет день, —
Сгрустнется ей во сне богатом.

Наскуча роскошью парчей,
Душа прямой любви запросит;
Слух дивных дел дойдет до ней,
И дева взор с уныньем бросит

На хладный панцирь уезденя,
На шашку, сжатую ножнами, —
И поздно, жребий свой кляня,
Зальется горькими слезами.

О дева! вспомнишь обо мне,
Но я умчусь в странах далеких
На богатырском летуне,
В волненьи дум моих глубоких.

Отвага закипит в крови,
Меня Бог брани не покинет —
И жар обиженной любви
Под хладным панцирем остынет!

Впечатление было сильное. Несколько минут все молчали и посматривали на Аннету. Она была бледна, и если все-таки походила на розу, то разве только на чайную. Потом раздались рукоплескания. Николай Петрович поклонился и опустился на стул.

Роман с Аннетой был закончен этим стихотворным эпилогом. Товарищи прониклись к Николаю Петровичу еще большим уважением и стали называть его “Огонь-Омар”. Теперь нужно было позаботиться о друзьях.

Пока он остановился на двух, более подходящих: на поэте Бахтурине и на корнете Болтине. Дружба с первым носила профессиональный характер: поэты должны быть в союзе. Дружба со вторым, сыном богатых помещиков, могла пригодиться для реализации задуманного плана: у него были две сестры, только что выпущенные из Смольного монастыря.

Костя Бахтурин был гусар в отставке. Он принадлежал к распространенной тогда особой военной породе, высшим выражением которой был Лермонтов. Все они были очень свободолюбивы, часто дрались на дуэлях, устраивали скандалы в обществе, пили водку, прекрасно рассказывали анекдоты и очень легко импровизировали стихи. Поэзия была для них уже не столько делом, сколько позой.

Николай Петрович, все еще мечтавший о карьере поэта, сначала очень увлекся Бахтуриным. Прослушав его поэму “Красное покрывало”, он записал в дневнике: “Лицо поэта горело, глаза блестели необычайным блеском. Он был воплощенная поэзия. О, какое счастье испытывал я, слушая его чувствительный, замогильный голос!” Но скоро выяснилось, что необычайный блеск происходил не столько от поэзии, сколько от водки.

Бахтурин то и дело появлялся в лагере под Красным Селом и по несколько дней жил в палатке Николая Петровича. Войдя, он принимал вдохновенную позу и декламировал:

Переплыв чрез Ахерон,
Бахтурин выскочил из лодки:
— Где тут трактир, мой друг Харон?
Нельзя ли выпить водки?

Николай Петрович ставил ему водку, а он ложился на диван и начинал рассказывать анекдоты или сочинять стихи.

Как-то раз Николай Петрович вернулся с ученья и молча сел у стола. Бахтурин лежал на диване, пьяный и злой.

— Распекли?
— Распекли.

— У, сукины дети, кровопийцы проклятые! Дай водку, перо и бумагу.

— Спи лучше!

— Давай, говорят тебе, сволочь эдакая!
Николай Петрович не двигался с места.

Бахтурии вскочил, пошатнулся, ударил кулаком по столу и заорал:

На бритвах слать тебе постель я буду,
Струнами ребра перевию.

Пришлось дать. Бахтурин сел, выпил водки и, едва владея почерком, написал следующее стихотворение:

Однообразные досуги
Сменили бешенство страстей;
Без вдохновенья, без подруги
Проходит время юных дней.

Я свыкся с хладной тишиною,
Душа печальна и нема.
Живу в забвеньи, сиротою,
Нет грез для сердца и ума.

Когда ж опять во мне проснется
Порыв любви, порыв весны?
Когда же чувство отзовется
На глас знакомой старины?

Мое молчит воображенье,
Как льдом покрытая река.
Приди, бывшее наслажденье,
Рассей молодого старика!

Бахтурин сунул Николаю Петровичу свое стихотворение, выпил водки и лег обратно на диван:

— Читай вслух!

Николай Петрович прочитал. Когда он окончил чтение, Бахтурин уже храпел.

Мучительное чувство зависти охватило Николая Петровича. Ведь даст же Господь такой дар! И кому? Беспут-

ному пьянице! А он иногда сидит, сидит — и еле-еле четыре стиха напишет.

Нет, не быть ему поэтом! А если так, то зачем ему эта дружба с Бахтуриным? Она может только повредить. Распустят опять слухи, что он пьяница, а это может помешать женитьбе. Надо прекратить этот рискованный союз. Случай скоро представился. Николай Петрович показал Бахтуру один из своих стихотворных опытов солигаличского периода. Бахтурин посмотрел, презрительно усмехнулся, швырнул бумажку на пол, лег на диван и процедил сквозь зубы: “Куда тебе, дураку, стихи писать!” Потом помолчал и прибавил: “Дай свой альбом”.

Вот что написал Бахтурин в его альбом:

Макаров! В твой альбом гвардейский
Я подмахну стишок злодейский:
Но от ничтожного певца
Не жди похвал, не жди сравнений:
Меня давно Парнаса гений
Назначил в брак, как жеребца.
Что ж написать тебе, мой милой?
Живи сто лет, люби друзей,
Да удивляй своею силой
В объятиях миленьких цирцей.

Николай Петрович воспользовался этим случаем и начал сторониться Бахтурина.

С поэзией приходилось пока расстаться и обратить внимание на действительность. Кстати случилось одно событие, которое как бы оправдало и мотивировало временное прощание Николая Петровича с литературой. 29 января 1837 г. он был на разводе в Михайловском манеже. Здесь он услышал о поединке Пушкина с Дантесом, а на другой день по городу разнеслась другая весть: Пушкин умер.

Николай Петрович вспомнил свой спор с Васей Кокоревым. Он раскрыл дневник и записал: “Солнце русской поэзии закатилось. Нашего северного барда Пушкина не стало. Вместе с ним не стало и поэзии. Да она и не нужна в наше меркантильное время. Homo homini lupus est.

Мосты, железные дороги, сельское хозяйство — вот идолы нашей эпохи. Пушкиным в ней нет места. А найдется ли место Макарову?”

ГЛАВА XVI

СВЕТСКАЯ ПОВЕСТЬ

Конечно, не одна смерть Пушкина заставила Николая Петровича отойти от поэзии. Были и другие причины.

Госпожа Болтина приехала в Петербург и вместе с дочками поселилась у старшего сына. Через своего нового друга, корнета Болтина, Николай Петрович попал в этот дом. Но увы! с ним вместе в этот дом попал другой приятель Болтина, офицер Леонтьев. Все было бы в порядке, если бы Леонтьев влюбился в одну дочь, а Макаров в другую. Но случилось не так, а иначе — т.е. именно так, как случалось в старой литературе: оба влюбились в одну и ту же, младшую дочку, Александру Петровну. Макаров описывает ее с большим восторгом — в духе не то Кукольника, не то Тимофеева:

“Александра Петровна Болтина была одним из прекраснейших и весьма редких женских созданий, которые, время от времени, являются на земле с высоким назначением: поддержать и укреплять слабеющую по временам веру в *настоящую женщину*, т.е. в действительность ее высокого значения в цивилизованном обществе, в отношении нравственном, гражданском и гуманном. Одним словом: распространить и укрепить в массах веру, что женщина призвана в жизни не для того только, чтобы продолжать род человеческий, но чтобы, с тем вместе, через получение гражданской полноправности и через обаятельное содействие, исправлять, улучшать, облагораживать нашу расу, выпрямлять исконную кривизну некоторых членов и вылечивать застарелые, средневековые болячки и язвы этой, то кичливой и самонадеянной, то трусливой и ползающей расы.

Александр Петровне было тогда восемнадцать лет. При высоком, стройном росте и дивной талии, при широких, артистически заокругленных плечах и лебединой шее у нее была привлекательная головка, но которая поражала и очаровывала не столько физической красотой, как отражением высокой душевной, нравственной красоты. Черные, но не как смоль, а с каштановым отливом, густые,

длинные и шелковистые волосы венчали эту прекрасную головку. Большие серые и чудной формы глаза, то веселые, живые, добрые, то гордые и слегка насмешливые или порою задумчивые выражали сознание своего собственного достоинства, ум и девственную непорочность мыслей и желаний. Высокое чело, прямой нос и все остальные черты лица были до того закончены и пропорциональны между собою, что самый талантливый и строгий художник не нашел бы возможности прибавить к ним или убавить у них что-нибудь.

Александра Петровна была умна. Но ум ее не поражал бойкостью, часто не женскою, а был необыкновенно ясен, положителен, осторожен и несколько костичен (caustique), но только в самом аттическом значении последнего эпитета. Да, Александра Петровна была, безусловно, очень умна.

Сердце у Александры Петровны было неоцененное сокровище — один из тех кладов, которые, при настоящих эгоизме, скептицизме и стремлении к одним материальным благам, становятся все реже и реже и готовы скоро совсем исчезнуть из среды щепетильного, меркантильного, развращенного и прокаженного так называемого “модного света”. Вот какова была Александрина Болтина, которая явилась и заблестала ярким маяком в жизни обездоленного, разочарованного, потерявшего веру в себя и в людей молодого человека”.

Все дело портил Леонтьев, которого тоже потянуло к этому маяку. Надо было выработать особую тактику. Леонтьев был красив, весел, любезен и очень нетерпелив. Сознывая свои достоинства, он пошел к своей цели быстро, без оглядки и без церемоний: ездил к Болтиным очень часто и проводил у них целые дни. Николай Петрович, наученный прежними неудачами, действовал иначе. Сообразив свое положение и найдя его трудным, он начертал план действий и определил его в следующей сжатой военной формуле: “Надеяться, страдать молча, не спешить, выжидать, как Кутузов, и потом, если это будет необходимо, действовать быстро, стремительно, как Наполеон”.

Леонтьев сначала был совершенно уверен в своей победе, но по мере приближения к развязке, делался все грустнее и мрачнее. Наконец он попробовал сделать предложение. Через два дня был получен решительный и бесповоротный отказ.

Это было летом, в лагере под Красным Селом. Николай Петрович вошел в палатку Леонтьева. Он сидел у стола, опершись головой на обе руки.

— Что с тобой?

— Для меня все кончено! Я еду на Кавказ, к черкесским шашкам и пулям.

— Мне душевно жаль тебя, — сказал Николай Петрович.

Леонтьев помолчал и, встав, начал декламировать ставшее популярным стихотворение:

Седлайся вновь, конь крепкий мой!
Затеem снова жизнь степную.
Мне опостыл аул родной,
Я в нем без пользы истоскую.

С особенным чувством он прочитал строфу:

Но сакли гордая краса
Не поняла любви свободной,
И, пламенный как небеса,
Я презрен девою холодной!

Он не мог продолжать: зарыдал и закрыл лицо руками. Николай Петрович бросился из палатки.

Итак, да здравствует тактика Кутузова, но пора перейти к тактике Наполеона. На другой же день Николай Петрович переговорил с братьями и с матерью. Они не возражали и уполномочили его переговорить с самой Александриной. Николай Петрович отложил решительное объяснение часа на два и, чтобы дело было вернее, отправился пока к обедне, ко всем святым, что близ Воскресенского проспекта. Впереди стояла Болтина с обеими дочками, позади оказалась тетка Шипова.

— Николай! Почему ты не приехал ко мне? Хорош племянничек!

— Ах, ma tante! Не сердитесь, а лучше помолитесь: я хочу жениться.

И Николай Петрович показал глазами на свою невесту.

— Что за прелесть! Какие дивные плечи и талия! Поздравляю, поздравляю. У тебя недурной вкус.

После обедни Николай Петрович вернулся к Болтиным, но почувствовал вдруг страшную робость. Если будет отказ, он не переживет и даже на Кавказ не поедет, а прямо пустит себе пулю в лоб!

Александрина села за рояль. Николай Петрович стал сбоку, облокотясь о край инструмента. Александрина превосходно сыграла блестящие вариации Герца. Николай Петрович смотрел на клавиши и на пальцы Александрины и думал: “Если заключительный аккорд будет в мажоре — я спасен; в миноре — погиб”.

Прозвучал последний аккорд — полнозвучным, громким мажором, Александрина сняла руки с рояля и взглянула на Николая Петровича. Он бросился к ней, стал на колени и произнес те слова, которые произносят в таких случаях герои светских повестей и романов. Александрина, в ответ на эти слова, протянула счастливицу свою ручку, на которую нанесен был огненный поцелуй.

Но все забыли при этом про папашу, который сидел в своем нижегородском имении. Вдруг он возьмет да и скажет: “Вота-а! с чем подъехал! Не надуешь!”

Папаше написали письмо. Ответ был короткий, но убийственный: “Не могу согласиться на брак моей дочери с г. Макаровым, потому что дочь моя слишком молода”.

Солнце Аустерлица закатилось. Для Николая Петровича наступила ночь — длинная, темная, холодная.

Болтина с дочками двинулась в Нижегородскую губернию. Николай Петрович остался в Петербурге и поселился вместе с Леонтьевым, который на Кавказ не уехал. Единственным спасением и занятием двух бывших соперников, ныне объединенных неудачей, была игра в дурачки. Других игр в карты Николай Петрович не знал и не признавал. Зато в дурачки он играл превосходно.

Как-то раз ему особенно повезло. Что ни партия — он в выигрыше. Что ни козырь — у него все козыри. Вдруг

письмо он Болтина. Николай Петрович читает и глазам своим не верит: “Убедившись в искренней и глубокой любви к вам моей дочери Александры, даю свое согласие на ее брак с вами”.

Николай Петрович положил карты, встал и сказал, сдерживая слезы восторга:

— Меня вызывают в Нижегородскую губернию.

Леонтьев взглянул на него — и все понял. Он швырнул карты на стол и вышел вон из комнаты.

На другой день, в самую весеннюю распутицу, Николай Петрович выехал из Петербурга. Впереди блистал яркий маяк будущего счастья — действительного, настоящего счастья семейной жизни: жена и имение, имение и жена.

Да здравствует действительность! Ура!

ГЛАВА XVII

НИЖЕГОРОДСКАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Жили-были когда-то два брата татарина: Болта и Нарышка. От первого пошли Болтины, от второго Нарышкины.

Петр Александрович Болтин был настоящий азиат: упрямый, ленивый, подозрительный, холодный и молчаливый. В конце XVIII века он вступил рядовым в кавалергардский полк, при Александре I был произведен в корнеты, женился, вышел в отставку поручиком и поселился в своем родовом нижегородском имении.

Он выстроил в имении большой деревянный дом с антресолями, но внутри даже не выбелил — так и не собрался. Мебель в доме была жесткая, тяжелая, некрасивая, построенная еще до нашествия французов. Петр Александрович говорил: “Надо бы завести мягкое кресло”, но жил без него, пока один из сыновей не доставил ему кресла из Петербурга. С тех пор Петр Александрович проводил в нем большую часть своего времени: молчал, пыхтел, нюхал табак, откашливался, дремал, слушал чтение газет и журна-

лов, пил кофе и т.д. На этом кресле он и умер, проговорив: “Вота-а... вот-а-а...”

Он изъяснялся коротко — главным образом при помощи слова “вота-а”. С чем бы к нему ни пришли, он помолчит и скажет: “Вота-а! с чем подъехал!” — и сделает или решит дело наоборот. Заболели у него глаза. Родные стали его уговаривать, чтобы он съездил в соседний город к окулисту. Но на все уговоры он отвечал одно: “Вота-а! поеду я за семь верст киселя хлебать!” Так и не поехал, а незадолго до смерти ослеп.

Николаю Петровичу очень хотелось поскорее сыграть свадьбу, но Петр Александрович, увидев его нетерпение, заявил:

— Вота-а! Сказано в сентябре, в сентябре и будет. Николай Петрович и так и эдак подъезжал к старику — ничего не вышло:

— Вота-а! Сказано в сентябре, в сентябре и будет.

Пришлось выйти в отставку и заняться изучением нравов нижегородских помещиков.

О “восторгах любви” Николай Петрович ничего не рассказывает. Настоящие восторги были отложены до осени; притом в порядочной литературе принято откладывать их до конца книги, части или главы, а там обходить молчанием. Что же касается восторгов второстепенных, вроде вздохов, пожимания ручек, всяческих взглядов и прикосновений, то все это столько раз уже было описано господами беллетристами, что Николай Петрович решил обойти молчанием и этот материал, чтобы не впасть в банальность. Надо заметить, что он считал себя, а отчасти и действительно был, вполне оригинальным писателем.

Итак, глава эта вместо любовной (как мог ожидать читатель) должна поневоле стать этнографической.

Нижегородские помещики сильно отличались от помещиков соседней Костромской губернии. Это были большей частью старички, очень благодетельные, не терпевшие ни попоек, ни шутовства, ни псовой охоты. Сбравшись у кого-нибудь на именинах, они любили рассуждать о суете мирской, а иногда о мистицизме или даже об астрономии и филологии. Все они были люди прошлого ве-

ка, ничего не понимавшие в новых порядках и воззрениях. Несмотря на это, они были очень любознательны, выписывали газеты и журналы и внимательно следили за ходом событий и идей.

Больше всего они любили вспоминать и толковать о Наполеоне. Вышедшая в то время книга Михайловского-Данилевского о кампаниях 1813 и 1814 годов читалась ими до дыр. Года два они судили и рядили об этой книге. Наполеона они ненавидели, всячески унижали и, задолго до Толстого, пресерьезно утверждали, что он не был не только военным гением, но даже просто хорошим полководцем. “Эка штука побеждать с помощью всяких подкупов и обманов! Этак всякий победит. Возьмет столицу, заключит мир, отретурируется, а через несколько недель — трах со всей армией в ту же столицу! Ну, разумеется, разобьет в пух и прах и заберет себе все, что угодно. Какой же это полководец? Наш бывший гарнизонный поручик Кривоногов куды выше его!”

Один из этих старичков, особенно ненавидевший Наполеона, составил проект страшной вендетты, о котором рассказывал с каким-то жутким сладострастием:

— Если бы Наполеона взяли в плен и отдали в мое распоряжение, я бы заставил его съесть самого себя. Обязательно бы заставил. Я запер бы его в пустую комнату и три дня не давал бы ему ничего ни пить, ни есть. Потом вошел бы к нему с подлекарем и приказал бы отпилить ему ногу — т.е. Бонапарту, а не подлекарю. Ну-с, подлекарь хоть и подлец, а сделает это с удовольствием. Из отпиленной ноги я велел бы приготовить разные вкусные кушанья: горячее, заливное и котлеты и предложил бы ему поесть — т.е. Бонапарту. Он бы, конечно, съел и даже с удовольствием. Дня через три я сделал бы то же самое со второй ногой, а потом и с руками. Вот таким манером он и съел бы меня самого, т.е. себя самого, т.е. Бонапарта. Да-с.

Этот проект “субъективной антропофагии” встречал всеобщее одобрение.

Старички эти были в свое время важными персонами, чуть не вельможами. Некоторые из них сохранили свое важничанье и свою спесь до конца. Среди них особенно

славился этим Александр Петрович Новосильцов — мужчина громадного роста, бывший гвардеец. Людей он вообще презирал, а занимался скотами. У него были грациозные коровы, гигантские быки и чистокровные лошади. Читал он только журнал коннозаводства и сочинения, относящиеся к разведению и улучшению домашних четвероногих — другой литературы он не признавал и считал ее никчемной. На стенах его комнат висели портреты знаменитых предков, а рядом с ними — портреты не менее знаменитых жеребцов и кобыл. Он ходил в плаще, подбитом бархатом, и с хлыстом в руке — величаво и гордо, как самодержец.

Николай Петрович, как будущий супруг Александрины Болтиной, должен был объездить всех главных помещиков Сергачевского уезда, чтобы представиться и установить отношения. Поехал он и к Новосильцеву.

Александр Петрович принял его с азиатской важностью. Высоко держа голову, он сел на диван и показал рукой на кресло. Николай Петрович сел. Но разговор не клеился. Александр Петрович встал и пригласил гостя пойти осмотреть скотный двор и конский завод. Перед взорами Николая Петровича прошли восхитительные коровы с длинными, как у светских красавиц, ресницами и величественные быки атлетического сложения. Показали ему и знаменитого английского скакуна Сосерера, сына не менее знаменитого Сосерера, и несравненную Милэди, изящную супругу Сосерера. Александр Петрович требовал от Николая Петровича выражений восторга, умиления, чуть не слез. Николай Петрович старался изо всех сил, но в лошадиной терминологии он был нетверд, а в обыкновенном человеческом языке количество слов, выражающих восторг, очень ограничено: “Какая прелесть! какая красота! чудо! восхитительно! божественно!” а потом опять: “Какая прелесть! какая красота! чудо!” Этот салонный язык не мог удовлетворить сергачского скотолобца. Он морщился и так махал своим хлыстом, как будто намеревался угостить им самого Николая Петровича. Когда Николай Петрович уехал, Новосильцов махнул ему вслед хлыстом и процедил сквозь зубы: “Пошлый дурак! Мальчишка! Неуч!”

Но вот наступил сентябрь. Пожелтели листья. Явился Валерьян Макарыч (последний раз в этой книге). Совершилась свадьба. Наступила эпоха собирания плодов и употребительного счастья. Николай Петрович стал владельцем не только лебединой шеи, артистически заокругленных плеч и классической талии, но и кое-чего другого: Александра Петровна получила в приданое одну из тульских деревень, в 20 верстах от Тулы.

Мечта превратилась в действительность: *жена в имение, имение и жена.*

Что более, что менее
Потребно нам: имение
Иль верная жена?
Бесспорно, что жена
В имении нужна;
Однако тем не менее
Потребно и имение;
А коли есть жена,
Которая верна,
То ясно заключение:
Важнее нам имение,
Имение, имение
И — менее
Жена!

ГЛАВА XVIII

ДВА ПРИРОДНЫХ ИНСТИНКТА

Итак, у Николая Петровича есть, наконец, профессия: он самый настоящий тульский помещик, с женой и с имением.

Но быть настоящим помещиком способен тоже не всякий человек. Для этого надо, прежде всего, трезво смотреть на вещи и не иметь никаких фантазий. А Николай Петрович, как он сам говорит, смотрел на жизнь через призму какой-то удивительно поэтической фантазии: “У меня (стыдливо признается он) бездна поэзии в чувствах, мыс-

лях, разговорах, т.е. поэзии в прозе”. А какая же может быть поэзия в помещичьем деле? Любоваться восходом солнца и загорелыми икрами девок? Но первое скоро надоедает, а второе не подходит женатому человеку.

И вот не прошло нескольких месяцев, как новый тульский помещик стал ходить по кабинету и уныло бормотать: “Увы! что делать нам в деревне?”

Как уже давно не было в его жизни никаких достижений! Жена и имение — это удача, а не достижение. Вот когда он изобретал язык, делал шахматы из пеклеванного хлеба, воспитывал себя по системе Франклина — вот это были достижения!

Нельзя жить действительностью. Действительность должна идти рука об руку с мечтой. А мечта должна основываться на природном инстинкте.

У Николая Петровича было, по крайней мере, два природных инстинкта: к перу и к музыке. На котором остановиться?

Николай Петрович сделал чернила (это было уже похоже на прежние достижения), очинил перо и сел за письменный стол. Он долго не мог сосредоточиться: то мешала жена, то беспокоили мухи, то управляющий приставал с вопросами. Ничего не поделаешь: жена и имение, имение и жена.

Да и что писать? В стихах он разочаровался. Вася Кокорев был по-своему прав: век не тот. А что писать прозой? Вот Марлинский недурно писал. Кукольник хорошо пишет, да еще вот Тимофеев. Но все-таки это не то, что, например, французская литература. Разве можно по-русски написать что-нибудь подобное “Парижским тайнам” Евгения Сю? Русский язык — язык скифов и татар. Его надо шлифовать, отделявать. Мысль должна быть выражена изящно. А для этого надо писать афоризмы и изречения, изречения и афоризмы.

Например: “Мужчина обладает силою и величавостью; грация, красота суть достоинства другого пола”. Недурно, но все-таки, как ужасно звучит слово “суть”. То ли дело французское “sont”. Или: “Женщины слишком хитры, для того чтобы быть откровенными”. Или вот еще: “Когда хочешь писать о женщине, обмокни перо в радугу и стряхни

пыльцу с крыльев бабочки”. Это сказал Дидро. Но слово “обмокни” звучит совершенно невозможно. А чем его заменить? Нет, хорошо писать можно только по-французски.

Николай Петрович положил перо и откинулся на спинку кресла: “Увы! что делать нам в деревне?”

Предок его жены, знаменитый Иван Никитич Болтин, переводил французскую энциклопедию и составлял толковый славяно-российский словарь. Не заняться ли и ему чем-нибудь этаким?

Николай Петрович пожевал язык и обвел взглядом стены своего кабинета.

Ружье. Шашка. Портрет Константина Павловича. Портрет самого Николая Петровича, в военной форме.

Это все в прошлом. Он еще не успел обставить свой кабинет так, как следует помещику, имеющему жену и имение. Диван. Над диваном гитара.

Давненько не играл он на гитаре!

В прошлом году, проездом через Москву, Николай Петрович остановился в гостинице Яковлева, на Тверской. Наступил вечер, стало скучно. Он достал свою гитару, довольно плохонькую, и сыграл, с грехом пополам, первую часть третьего концерта Джульяни.

Вдруг за стеной послышались тоже звуки настраиваемой гитары и раздался громкий мужской голос: “Сейчас мы ему покажем, как надо играть концерт Джульяни! Сейчас мы этому сапожнику покажем! Сейчас мы ему, сукиному сыну, покажем! Ну-ка!”

Николай Петрович побледнел было от гнева, но через минуту покраснел от стыда и зависти. Какая сила! Какая беглость, отчетливость, нежность, выразительность! Что за *orecendo*! Что за *morendo*!

Оказалось, что это был известный гитарист, тульский помещик Павел Александрович Ладьженский. Николай Петрович провел у него весь вечер. Ладьженский много играл, а на прощание дал совет: “Работайте и не унывайте. Артист должен обладать не только талантом, но и терпением. Настойчивостью и терпением”.

С тех пор Николай Петрович не брал гитары в руки. Но вот теперь он тоже тульский помещик, а терпения и настойчивости у него больше, чем надо. Надо дать ход второ-

му инстинкту, музыкальному. Надо сделаться виртуозом на гитаре. Замысел стать вторым Пушкиным потерпел фиаско — надо стать вторым Сихрой.

Николай Петрович закрыл чернильницу, снял со стены гитару и приступил к упражнениям.

Эпоха безделья и хождения по кабинету кончилась. Началась методическая осада крепости, по всем правилам инженерного искусства. Николай Петрович упражнялся по 12-ти и даже по 14 часов в день, не исключая праздников. Нужно было прежде всего победить две главные трудности: хроматические гаммы и трели. Гаммы скоро сдались, но трели не сдавались — сопротивлялся безымянный палец. Сопротивление развивает энергию. Он собственноручно сделал карманную гитару: небольшую овальную доску с тремя струнами. С этой доской он садился обедать и ложился спать. Прошло некоторое время — и трель должна была сдать. В ознаменование этой победы Николай Петрович сочинил огромную пьесу, наполненную хроматическими гаммами в 4 октавы и сложнейшими трелями. Эту пьесу он кое-как записал на нотах и назвал ее “Концерт № I”.

Но зачем ему жить теперь в деревне? Хозяйство он совсем забросил; к соседям перестал ездить, потому что они смеются над ним. Человеку 30 лет, у человека имение и жена, а человек спит с гитарой и не занимается сельским хозяйством. Надо в поле съездить, надо управляющего пробрать, а он сидит в кабинете и бренчит песенки да оперные арии с вариациями. Ему говорят о картофеле, советуют посеять больше льна, предлагают новые сорта ржи, а он точно не слышит: жаривает себе трели и хроматические гаммы, хроматические гаммы и трели.

— Совсем рехнулся наш Николай Петрович! — говорили про него соседи. — Бедная Александра Петровна! Ошибся старик Болтин, ошибся. Хитрый азиат, а тут маху дал! Выдал дочь за какого-то чухломского испанца.

А чухломской испанец дождался весны, взял гитару, накинул плащ и удрал в Петербург.

Дорогу природному инстинкту!

ГЛАВА XIX

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПОБЕДЫ

Вот где раздолье для музыканта.

Правда, погода отчаянная. Весна вовсе на весну непохожа. Ветер, дождь, а то и снег. Но зато все помешаны на музыке. Правда, фортепьяно вытеснило гитару и из хороших домов, и с концертной эстрады. О Сихре почти не говорят, все толкуют о Листе и ждут его приезда. Но это не смутило Николая Петровича — наоборот. Мечта его ведь в том и состояла, чтобы, рассудку вопреки, доказать тульским помещикам и всему миру, что гитара — высший и незаменимый инструмент, а он — высший гитарный виртуоз и композитор, второй Сихра.

Необходимо, конечно, побывать у первого Сихры. Засвидетельствовать ему свое почтение и получить, от него благословение. Но для этого надо сочинить что-нибудь поинтереснее, позамысловатее — какую-нибудь грандиозную симфоническую фантазию. Сначала надо осмотреться, познакомиться, послушать, поговорить.

Через приятеля-офицера, любителя гитарной игры, Николай Петрович попал на музыкальный вечер в известный дом А. Столыпина. Здесь он познакомился с Гилью, членом парижской консерватории, очень любезным человеком и первым солистом на флейте. Узнав о намерениях и планах Николая Петровича, Гилью пригласил его к себе. Николай Петрович явился, захватив и гитару, и рукопись своего “Концерта № I”.

Гилью угостил его превосходным красным вином и стал рассказывать про Париж, про Листа, про Вьетана, про свои успехи в музыкальном и дамском мире. “Русские женщины, — говорил он, — самые музыкальные в Европе. Они так любят флейту, что достаточно взять ее в руки и приложить к губам, чтобы победа была обеспечена. Вы понимаете? Они не выдерживают этого зрелища. Я имею здесь колоссальный успех”. Гилью хохотал, пил красное вино и болтал. Николай Петрович заговорил было о гитаре, но Гилью взял флейту, провел языком по своим пухлым и красным губам и заиграл арию из “Волшебного стрелка”. Тогда

Николай Петрович схватил гитару и стал ему аккомпанировать, а когда Гилью остановился, он прошелся хроматической гаммой по всем струнам, пустил отчаянную трель и заиграл свой “Концерт № I”.

Гилью аккомпанировал жёстами: прищелкивал пальцами, дергал ногой, ударял ладонью по коленке, покручивал усики, махал головой. Эти жесты выражали скорее нетерпение, чем удовольствие. Но когда Николай Петрович кончил, на лице Гилью явилась улыбка восторга, а из пухлых губ вырвалось восклицание: “oh! oh!” Когда же Николай Петрович признался, что он никогда не брал уроков ни композиции, ни игры, Гилью выразил полное изумление:

— Vous devez donc avoir une bosse musicale! Oh! si vous allez de ce train-la!.. Oh! je vous prédis qu’un jour vous serez Paganini de guitare!

Вдохновленный отзывом Гилью, он в ту же ночь сочинил и записал огромную блестящую “Симфоническую фантазию”. В ней были все виды гамм, трелей и аккордов. Гитара едва выдерживала натиск этих головокружительных эффектов. Она стонала, гудела, звенела и даже трещала. Николай Петрович был уверен, что это шедевр гитарной литературы. Он лег спать совершенно счастливый. Выспавшись, он еще раз сыграл свою фантазию и отправился вечером к Сихре.

Андрей Осипович Сихра был тогда уже глубоким стариком. Он вышел к Николаю Петровичу сонный, растрепанный и грустный. Выслушав просьбу, он пожевал губами, опустил в кресло, молча указал посетителю на стул и закрыл глаза. Николай Петрович сел и снял с гитары чехол. Сихра не шевелился и не открывал глаз. Кругом была такая тишина, что странно и страшно было нарушить ее звуками гитары. Даже на улице было совершенно тихо. Сихра жил в отдаленной части города, в маленьком деревянном доме. Слышалось только завывание ветра и стук дождя.

Николай Петрович кашлянул и повернулся на стуле. Стул заскрипел, точно от боли, но Сихра не пошевелился. Тихо как в могиле. Даже дыханья не слышно. Пахнет каким-то лекарством. Может быть старик умер?

Николай Петрович осторожно поднялся и на цы-

почках направился к двери. Дойдя до нее, он оглянулся. Сихра смотрел на него неподвижными грустными глазами. Он чуть не выронил гитару. Старик вздохнул, пожевал губами и опять указал на стул, прибавив глухим голосом: “Я вас слушаю”.

Николай Петрович заиграл свою фантазию — сначала робко, потом смелее. Вот пошли уже трели и хроматические гаммы. Какая-то странная гримаса пробежала по лицу Сихры. Он зашевелился, вытянул свою морщинистую тонкую шею, приподнял худую руку, потом вдруг побледнел, откинулся на спинку, схватился за сердце и застонал. Николай Петрович прервал игру. Сихра весь напряжился, вскочил и закричал каким-то петушиным голосом:

— Это дерзость! Это дерзость, а не фантазия! Вам это не сойдет с рук, милостивый государь! Покажите ваши ноты.

Николай Петрович протянул ему свой манускрипт. Старик пробежал несколько строк. “Бог мой, что здесь делается!” — прошептал он и опять закричал:

— Мне страшно смотреть на эти ноты. Возьмите их, возьмите!

Он опустил на кресло: “Боже, как пало искусство!” Николай Петрович стоял неподвижно.

— Возьмите и уходите, уходите! — почти простонал Сихра.

На улице не было ни души. Ветер срывал с него плащ, дождь мочил гитару и манускрипт. Ужасный город! Ужасные люди!

— Извозчик! Извозчик!!

Открылась фортка и прямо на голову упал забытый им у Сихры чехол. Фортка сейчас же захлопнулась.

Николай Петрович обернул чехлом гитару, сунул бедную фантазию под мышку и побежал.

Эту ночь он почти не спал. Было нечто вроде кошмара. Сихра с чехлом в руке гонялся за ним по улицам. Потом вдруг оказалось, что это не Сихра, а майор Зеленко, который кричит: “не приведи Бог ребро”, хватает Николая Петровича и бросает в Неву, вместе с гитарой и манускриптом. Он тонет, а Гилью стоит на берегу, машет руками и кричит: “Oh! oh! Paganini de quitare!”

Утром Николай Петрович решил, что надо обратиться еще к какому-нибудь третьему, вполне авторитетному лицу. Приятель-офицер посоветовал ему отправиться к известному композитору Александру Сергеевичу Даргомыжскому, и предложил даже сопровождать его. О Даргомыжском Николай Петрович слышал в полку и очень любил его романсы.

Даргомыжский принял их не только любезно, но даже как-то радостно. Офицер представил Николая Петровича, сказав: “Александр Сергеевич, вот monsieur Макаров, бывший гвардеец, мой приятель, замечательный гитарист и композитор. Он горит желанием познакомиться с вами”. Даргомыжский крепко пожал руку и запищал полудетским хриплым голосом: “Очень рад, что имею это удовольствие”. Николай Петрович смутился, но офицер сделал ему знак: не обращай, мол, внимания.

Чтобы начать разговор, Николай Петрович сказал, что он большой поклонник его романсов. Даргомыжский улыбнулся и сразу направился к роялю:

— А я только что сочинил новый романс для Вердеевской. Вы ее знаете? Прехорошенький романс. Послушайте!

Он запел сильным писклявым тенорком. Офицер толкнул Николая Петровича и шепнул ему: “Ну, теперь это надолго. Запаситесь терпением”. Действительно, за этим романсом последовал второй, за вторым третий. Вдруг дверь из соседней комнаты слегка приоткрылась и чей-то женский бас недовольным тоном произнес: “Саша, я же пишу!” Даргомыжский сразу прервал пение:

— Забыл, забыл, Софочка! Не буду.

— Это его сестрица. Старая дева, злюка! — шепнул офицер, — Он ее как огня боится.

— Значит, и на гитаре нельзя будет играть, — подумал Николай Петрович.

Даргомыжский отошел от рояля.

— Я сегодня что-то не в голосе, — пошутил он.

— Вы прекрасно исполняете, — сказал Николай Петрович.

— Да. А вы композитор? Оперу пишете?

— Нет, я для гитары.

— Что же, песни и вариации?

— Нет, вот концерт.

— А, это интересно.

Николай Петрович вынул манускрипт концерта (фантазию он боялся показывать). Даргомыжский быстро просмотрел и, хитро улыбнувшись, спросил:

— Вы не собираетесь издавать ваш труд?

Николай Петрович замялся: “Нет, лучше быть скромным”.

— Нет, не собираюсь. Это первый опыт.

— И прекрасно сделаете. Держите в портфеле. Мыслей у вас много, даже чересчур много, но они не развиты, не разработаны. Вам надо изучить...

— Контрапункт?

— Нет, какой контрапункт! Просто гармонию. Элементарную гармонию. У вас тут септимы не разрешены или неправильно разрешены. А мысли есть, мысли есть. Да. Вот у меня хорошо разрешены септимы! Послушайте.

Даргомыжский опять подошел к роялю и заиграл кусок из “Торжества Вакха”.

— Софочка, спасай! — шепнул офицер.

Николай Петрович фыркнул и стал сморкаться.

За дверью послышался голос Софочки: “Саша, мама зовет!”

Даргомыжский, разрешив септиму, извинился и вышел.

— Давайте уходить, — сказал офицер.

Даргомыжский вернулся.

— Вот как надо разрешать септимы, — пропищал он, прощаясь с гостями.

Странные люди в Петербурге!

А Гилью — хороший человек.

ГЛАВА XX

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

На стене кабинета появилось расписание:

От 8 до 12 играть на гитаре.

От 12 до 1 ч. завтрак.

От 1 ч. до 4 ч. элементарная гармония и композиция.

От 4 ч. до 6 ч. отдых и обед.

От 6 ч. до 10 ч. играть на гитаре.

Потом ужин, разговоры с женой и сон.

Такова была программа действительности, направляемая мечтой.

Мало того, Николай Петрович съездил в Москву, купил там новую гитару и взял несколько уроков гармонии у Иоганниса, директора Большого театра.

Там же он познакомился с разными гитаристами и понял, что между Москвой и Петербургом большая разница. В Петербурге гитаристов мало и гитары почти не слышно; в Москве гитара звенит на каждом шагу, но все по трактирам, все в национальном духе. Московские гитаристы — славянофилы. Они не признают ничего, кроме “Во поле березынька стояла”, да “Не одна во поле дороженька”, да “Выйду ли я на реченьку”. Им нужен надрыв. Им, видите ли, хочется, чтобы гитара пела, как поют русские бабы и мужики. Они против всякой виртуозности. Им не надо ни хроматических гамм, ни трелей. Это школа Сихры. Он и погубил гитару.

Николай Петрович — гитарист европейской, международной, а не славяно-скифской школы. Гилью прав: его образец и учитель — Паганини. Москвичи забыли, что гитара вовсе не русский национальный инструмент. Это грубейшее и вреднейшее заблуждение. Гитара совсем не то, что какая-нибудь бандура, кобза, домра или балалайка. Отнюдь! В Россию гитару привезли итальянцы, а настоящая ее родина — та самая страна, которую Николай Петрович считал своей духовной родиной: Испания. В его жилах текла кровь тореадора. Как это случилось — неизвестно.

Но это факт. В этом его несчастье, но в этом же его судьба, его призвание, его основной инстинкт.

Нет, он не славянофил.

Он не станет следовать примеру московских гитаристов-славянофилов, вроде Стаховича, Аполлона Григорьева или Высотского. Долой народную песню! Она загнала гитару в трактир, в притон, к купцам, к цыганам. Гитаре здесь не место. Она должна царить в великосветской гостиной, в зале дворянского собрания, в парке, в будуаре, где угодно — только не в трактире. Она должна побеждать сердца светских красавиц и вдохновлять на бой, а не содействовать пищеварению купеческих желудков.

Да! Гитара должна содействовать подъему дворянского достоинства, освобождению его от власти купеческого капитала. Да! Гитара должна восстановить изящество жизни и освободить мир от торгашеского, меркантильного, “кокоревского” духа.

Он решил оставить на время сложные формы концертов и симфонических фантазий, в которых надо как-то особенно разрешать септимы. Он возьмется пока за романсы. Это проще и вернее. Ведь и Даргомыжский прославился главным образом романсами.

Но для романсов нужны слова. Вот когда пригодился бы Бахтурин! Николай Петрович стал рыться в своих тетрадах и дневниках и нашел прелестное стихотворение, сочиненное лейб-уланским штаб-ротмистром Ипполитом Меринским, одним из приятелей Лермонтова. Это не хуже Бахтурина:

Тебе понятно вдохновенье,
Твой взор о небе говорит,
Прочь гонит мрачное сомненье
И рай зовет, и рай сулит.

Не удивляйся, что в лазури
Твоих голубеньких очей
Топлю я взор свой: после бури
Я вижу небо майских дней.

Получился прехорошенький романс, весь построенный на контрастах. Такие слова, как “небо”, “рай”, “ла-

зурь” сопровождаются звонкими трелями, а “мрачное сомнение” и “буря” отражаются на гитаре в виде хроматических гамм. “Небо майских дней” звенит целой системой разнообразных трелей, которые заливаются как жаворонки. Потом бешеная, полная блеска гамма через всю гитару — и конец.

Все это было бы хорошо, если бы не действительность. Обыкновенная, пошлая российская действительность: нет денег. Окончательно нет денег!

Николай Петрович кинулся в Тулу, к дворянам. Должны же они в трудную минуту поддержать своего брата! Ведь пройдет год, другой — и они будут гордиться своим знакомством с ним. “Каков наш Николай-то Петрович? — скажут они тогда. — Знай наших!”

Но тульские дворяне не поняли, что перед ними — будущий Паганини. Он им толковал о значении гитары, пел романсы, даже выступил в зале дворянского собрания и с шиком сыграл концерт Джульяни — ничего не подействовало. Они даже как будто считали неуместным и неприличным появление дворянина-помещика на эстраде, да еще с гитарой.

А торговать тульской почтовой станцией прилично? А продавать лен прилично? О, дворяне, дворяне! Заберут вас в плен купцы! — и будут правы.

Сидит Николай Петрович в Туле и горюет. Вдруг письмо. Рука незнакомая. Штемпель — Орел.

“Многоуважаемый Николай Петрович. Я слышал, что вы живете где-то около Тулы... Прошу вас оставить свой адрес в Петербургской гостинице... А еще было бы лучше, если бы вы сами приехали в Тулу... В настоящее время я, вместе с Александром Александровичем Башиловым, управляю в Орле пьяным царством. Мне очень нужны честные и энергичные люди. Примите уверение и пр. Преданный вам В. Кокорев”.

Он несколько раз перечитывал письмо. В его душе проходили и сменялись самые разные и противоположные чувства — как это бывает в музыкальных произведениях: радость, тревога, гордость, смущение, надежда, страх и т.д. “Нужны честные и энергичные люди”. Значит, Кокорев будет предлагать службу у себя. “Управляю в Орле пьяным

царством". Это значит, что Кокорев стал откупщиком. Молодец парень!

Но ему, дворянину-помещику, торговать водкой! Как он смеет обращаться с таким предложением? Как могла прийти ему в голову такая дерзкая мысль!

А Башилов? Он тоже дворянин, гусар, сын сенатора. Мало того: поэт, печатался в альманахах, был знаком с Пушкиным, с Лермонтовым, с Жуковским, его знает вся Москва.

Таков наш век! Homo homini lupus est.

Встреча была радостная. Василий Александрович прижал Николая Петровича к груди и поцеловал. Он был шумен, широкоплеч, румян, красив, с густой бородой, в прекрасном платье — не купец, а прямо купеческий Бог.

— Здравствуйте, дорогой мой! Как я рад, что вас вижу!

Ну, коман ву порте ву? Как поэзия? Как жена, как имение?

Николай Петрович рассказал все откровенно. Кокорев слушал и качал головой.

— Эх, Николай Петрович, Николай Петрович! Будь у меня такое имение, я бы давно был самым богатым помещиком в Туле. Как же вы, батюшка, так? Что же вы делаете?

Николай Петрович рассказал про гитару и про свои мечты. Кокорев пристально взглянул на него, обтер ладонью лицо, пригладил бороду и сказал:

— Чудак вы, ей-Богу! Я тоже на гитаре играю и даже литературой занимаюсь. Ваш ученик! Так разве ж это дело? Ну, друг мой, теперь я вас буду учить, а то вы совсем пропадете. Вступайте в мои дела.

Николай Петрович молчал.

— Решайтесь, батюшка! Откупная наука совсем не мудреная. Башилов вас быстро обучит. Вы посмотрите на себя: бледный, худой!

Николай Петрович жевал язык и молчал.

— Вы будете не управляющим, а участником в моих делах. А дело выгодное: здесь обращаются десятки, сотни тысяч, миллионы. Ну, решено? А то мне ехать пора. Я ведь только для вас в Тулу заехал. Согласны?

Николай Петрович вздохнул и сказал:

— Согласен.

— Вот и спасибо. Вот и прекрасно. Ну-ка, бутылочку шампанского!

Выпили.

— Теперь, батюшка, не такое время, чтоб на гитаре играть. Теперь, батюшка мой, всякий гомогомина лупит-ест.

Выпили еще.

— Я, батюшка мой, теперь всей Русью заведу. Всех в кулаке держу! Кого угодно могу погубить и могу устроить. Был бы Пушкин жив, я бы и его устроил. Ей-Богу!

Кокорев надел шубу и стал еще красивее.

— Ну, батюшка, скоро встретимся. Приедешь в Питер — увидишь, как я живу. Лихо! Ты мне тогда и на гитаре поиграешь. Я люблю.

Грудь моя полна тоской,
Ночь такая лунная!..

Кокорев обнял Николая Петровича, вышел на крыльцо, сел в сани и махнул рукой. Тройка помчалась.

Ночь была лунная... Душа Николая Петровича была полна тоской...

ГЛАВА XXI

ПЬЯНОЕ ЦАРСТВО

Прошла неделя, прошло две. Николай Петрович на гитаре не играет и дела никакого не делает. Ходит по комнатам и бормочет: “*Номо homini lupus est,*” гомогомина лупит-ест... А жена плачет и болеет.

Глядь — эстафета от Кокорева: немедленно ехать в Орел, к Башилову. Собирайте, мол, свои вещи, Николай Петрович, и отправляйтесь в “пьяное царство”. Был бы Пушкин жив — и он бы в Орел поехал водкой торговать.

А жена в слезы: “Жить в питейной конторе? С пьяными мужиками? Торговать водкой?”

Слегла и померла.

Была жена — нет жены.
Был помещик — стал откупщик.
Эх-ма!

Ямщик весело поет и кричит: “эй, вы, соколики!”, а
Николай Петрович уныло декламирует:

Пусть будет песнь твоя дика! Как мой венец,
Мне тягостны веселья звуки.
Я говорю тебе: я слез хочу, певец,
Иль разорвется грудь от муки.

В списке российских городов, стоявших на откупном начале, Орел значился на первом месте. Ученые высчитали, что на каждого орловского жителя приходилось в год 0,69 ведра водки. Конечно, Петербург и Москва не в счет — на то они и столицы. Петербургский житель, не то с горя, не то с радости, выпивает целых 2,25 ведра в год. Ну, а например, в Нижнем — всего 0,54, в Костроме — 0,51, в Смоленске — 0,42, в Вологде — 0,29. Вот и выходит, что Орел впереди, а за ним Тула: 0,63. И это уж прямо с радости, от веселого характера. Какое ж горе может быть в Орле или в Туле?

Итак, Николай Петрович, нечего вам жаловаться на судьбу и декламировать Лермонтова. Вы едете не на погибельный Кавказ, а в самый веселый православный город. Там с раннего утра раздается звон колоколов, а к вечеру все ведра наполняются водкой. А водка — совсем не то, что вода. Вода это “eau”, а водка — “eau-de-vie”. Вот и выходит, что вы едете не на смерть, как Лермонтов, а на жизнь.

Николай Петрович приехал в полдень. Колокола весело перезванивались: “бом, бом! одеви, бом, бом! одеви!” В здании питейной конторы происходило очередное заседание. Управляющий конторой, столбовой дворянин, известный шутник и весельчак Александр Александрович Башилов, собирался в объезд по орловским откупам.

Помощником Башилова был некий Яков Федосеич Яненко, пьяница и живописец. Он возник из знаменитого кружка трех искусств, собиравшегося у Кукольника. Там, вместе с Брюлловым, он представлял живопись, но на самом деле не столько рисовал, сколько пел куплеты, играл

на гитаре и плясал вприсядку. Кокорев заметил его и отправил в Орел. Он отличался шумным и буйным нравом. В конторе его называли “Пьяненко” и укрощали при помощи хлыста.

Третьим лицом был молоденький, полненький, очень румяный и очень смазливый черкес, по прозвищу “Каролинхен”. Он не занимал никакой официальной должности и играл пассивную роль, состоя при Башилове для “особых поручений” интимного характера.

Вокруг этих основных персон группировались друзья, сотрудники и любители откупного дела: лекарь, аптекарь, частный пристав, кое-кто из чиновников, кое-кто из помещиков.

Когда Николай Петрович вошел в контору, компания в полном составе сидела за большим круглым столом. Он никого не знал. Перед ним были разнообразные рожи: кричащие, молчащие, пьющие, поющие.

Чей-то пронзительный голос картавя выкрикивал: “У меня, бьят, не дьемы. Я тебя, юбезный дьюг, туда запьячу, куда Макай тейят не гоняй”.

Кто-то орал густым басом:

Яков Федосеич
Пьян завсегда,
Пьет он ерофеич,
Ром иногда.

Николай Петрович остановился на пороге.

— Новенький! Новенький приехал! — закричал кто-то и захохотал.

Шум затих. К нему подошел высокий мужчина с маленькой головой на конце и, приняв светскую осанку, проговорил:

— Никояй Петъевич Макайов? Очень яд, очень яд.
Это был сам Башилов.

Толстый, лохматый человек, сидевший за столом, вдруг завопил: “Доло-ой!” и стукнул кулаком.

— Пьяненко, цыц! — сказал Башилов и пригласил Николая Петровича к столу.

Его угостили и хересом, и мадерой, и наливками и шампанским. Он молчал, пил и жевал язык, что означало волнение.

Яненко вдруг опять стукнул кулаком по столу:

— Ты думаешь, я дрянь? Я друг Брюллова. Меня император Николай Павлович встретил на Невском, прижал к груди и сказал (Яненко встал): “Яненко, ты спасешь Россию”. Вот я кто!

Яненко сел. Все захохотали. Он скорчил рожу и заорал:

— У, кровопийцы!

Башилов поднял хлыст. Яненко умолк.

К крыльцу подъехали два тарангаса, запряженные лихими тройками. Завтрак кончился. Башилов предложил Николаю Петровичу ехать вместе с ним, чтобы на практике ознакомиться с откупным делом.

В один тарангас сел Башилов с “Каролинхен” и с Николаем Петровичем, в другой — Яненко и поверенный по откупным делам. На козлах разместилась охрана: два бессрочно-отпускных солдата. Сам Башилов был тоже вооружен: нагайка через плечо и толстая палка в руках. “Не Башилов, а баши-бузук какой-то!” — подумал Николай Петрович.

Отряд баши-бузуков двинулся в путь. Замелькала серая, грязная избяная Русь. Церкви и кабаки, кабаки и церкви.

У церквей баши-бузуки крестились, а у кабаков останавливались. Башилов вбегал и сразу начинал кричать на сидельца:

— А мейзавец, попейся? Вот я тебя пьечу, как десять недоимки!

Потом пускалась в ход нагайка, а иногда и палка. Такова была практика откупного дела.

Случались некоторые варианты. В одном кабаке сидельца не оказалось, а за стойкой была его жена, молодая и очень красивая баба, с ребенком на руках. Но на Башилова женская красота не действовала:

— Где сидеец? — грозно спросил он.

— Купаться пошел.

— Вьешь, мейзавка! Не купаться, а мошенничать он пошой!

— Да что ж вы ругаетесь? — спокойно сказала сидельчиха.

Башилов бросился на нее с нагайкой. Ребенок заплакал. Николай Петрович не выдержал. За что ее бить? Хорошенькая женщина, с которой можно было бы поговорить о том, о сем.

Он схватил Башилова за рукав:

— Перестаньте. Что вы делаете? Это же женщина!

Башилов совсем рассвирепел и стал кричать на Николая Петровича. В это время вошел сиделец, с мокрыми волосами и в мокрой, приставшей к телу рубашке. Башилов набросился на него:

— Я тебя пьяучу, мейзавец!

Сидельчиха пошла в другую комнату, чтобы успокоить ребенка. Николай Петрович отошел сначала в сторону, как бы осматривая помещение, а потом последовал за сидельчихой. Пока Башилов ругался, он успел потолковать с ней о том, о сем. Она жаловалась на свою судьбу: и муж бьет, и начальство дерется. “Совсем жисти нет!” — говорила она, давая ребенку грудь.

Николай Петрович сидел рядом и любовался: отчасти ребенком, отчасти материнской грудью. Когда ребенок заснул, он погладил сначала его, а потом материнскую грудь. Сидельчиха немного покраснела, но не пошевелилась. Во всей ее фигуре и позе явилось что-то торжественное, почти каменное. Это был какой-то древнерусский или византийский стиль, совсем незнакомый и непонятный Николаю Петровичу.

— Да, — сказал он смущенно, — жизнь русской крестьянки невеселая.

Русская крестьянка сидела неподвижно, как Богородица.

Но жизнь Николая Петровича была тоже невеселая.

— Что с того, что каждый орловский житель выпивает 0,69 ведра водки и тратит на это 1 р. 57 к. в год? Ведь деньги эти идут не в его карман. Что с того, что колокола весело поют: “одеви, одеви”? Ничего в этом нет веселого.

— Судьба, где ты? — взмолился Николай Петрович. И судьба откликнулась.

“Приезжайте, друг мой, ко мне в Петербург, — писал ему Кокорев. — Я познакомлю вас с писателями, с худож-

никами, с артистами и дам вам отдельные откупа. Не пройдет года — и вы разбогатеете. Заживем лихо!”

— Ура! — воскликнул Николай Петрович и двинулся в в путь.

Ямщик лихой, седое время,
Везет, не слезет с облучка.

ГЛАВА XXII

ДВОРЯНИН И КУПЕЦ

Судьба меняет свои облики и воплощения. Судьбой бывает жена, и друг, и почтальон, и дворник, и редактор, и бухгалтер, и прохожий, и собака, и даже погода.

Судьба Николая Петровича надолго воплотилась в ямщика, сидящего на козлах и покрикивающего на лошадей: “Эй, вы, соколики!”

Из Орла в Петербург, из Петербурга в Москву, из Москвы в Тулу, из Тулы в Орел, из Орла в Щигры, из Щигров опять в Орел; из Орла в Москву, из Москвы в Петербург, из Петербурга в Москву, из Москвы опять в Орел; из Орла опять в Тулу, из Тулы опять в Щигры, а там Вязьма, Гжатск, Харьков, Киев, Смоленск.. Вся Русь!

Но ямщик — это только воплощение судьбы, ее аллегорический образ. А что же такое сама судьба, которая сажает Николая Петровича в тарантас или в дилижанс и гонит его из края в край, из града в град?

Сама судьба — это Василий Александрович Кокорев, бывший солигаличский юноша, а ныне — гениальный откупщик, гигант среди пигмеев, Бог среди людей.

Николай Петрович приехал в Петербург и поселился у него в доме. Он был потрясен, ослеплен, увлечен, покорен. Все знали Василия Александровича Кокорева. Даже министры — и те преклонялись пред его умом и энергией.

За две недели друзья успели и в ресторане Дюссо побывать, и в итальянскую оперу съездить, и обо всем переговорить: о политике, о литературе, об откупах, о тор-

говле, о женщинах, о железных дорогах, о льне и железе, о сале и коже, и опять об откупах, и опять о политике, и опять о женщинах. Обсудили все прошлое, настоящее и будущее России.

Говорил, правда, не столько Николай Петрович, сколько Василий Александрович. Красноречием он не отличался, окал и слегка картавил, слово “идея” произносил так, что звучало “индея”, но говорил живо, бойко, дельно. Он многое критиковал и высказывал часто очень смелые и либеральные мысли. Особенно нападал он на правительство за некоторые финансовые и хозяйственные ошибки, которые грозили, по его словам, серьезными экономическими провалами.

Один из вечеров они целиком провели в беседе на эти темы. Погода была плохая, никуда выходить не хотелось. Кокорев ходил по кабинету и говорил, а Николай Петрович слушал и учился:

— Я ничего не понимаю в этой ихней финансовой науке. Девальвации, консолидации, конверсии — навывдумывали слов! Все это туман, напускаемый на умы. Я рассуждаю с точки зрения здравого русского смысла. Посудите сами. Возьмем знаменитую серебряную единицу. Теоретики твердили: все подешевеет, на серебряный рубль можно будет купить столько же, сколько на три ассигнациями. А наш брат купец говорил, что толку не будет, что серебро Россию разорит. И народ тоже был против. Помните, что народ говорил? “Мы поляков побили дубьем, а они нас рублем”. И правильно. Что вышло? А вышло то, что потекли наши имперьяльчики и целковики Петровских и Екатерининских времен за границу. А мы стали ходить с бумажными кредитками в карманах. Видали картину? А дальше что пошло? Рабочие потребовали прибавки. Прибавили, а как стали сводить счета — убыток. Манифест о серебряной единице появился летом 1839 г., а зимой наш солеваренный завод пришлось закрыть. Невыгодно-с! Ну и покатилося все с горки вниз да в яму. Сто рабочих у нас по миру пошло, да пятьсот дровопоставщиков и извозчиков заработки потеряли. А дальше? В Галиче и в Шокше закрылись все замшевые фабрики. В Костроме полотняные фабрики Дурыгиных, Угличаниновых, Солодовниковых,

Стригалевых. Видали картину? В Ярославле и в Кинешме закрылись салфеточные фабрики. Ну, а следом натурально, уничтожился спрос на лен. А льном-то жили и ярославские, и вологодские, и костромские крестьяне. Вон оно куды пошло! Разве это не провал?

Николай Петрович молчал и смотрел на Кокорева. Кокорев походил, потом остановился у стола и продолжал:

— А сколько нужды-то и горя! Сколько разоренья фабрикантам! Стали они просить графа Канкринина принять у них холст и парусину в казну. Отказал. Ну и обанкрutились. Мой двоюродный брат — слышали про него? Старший Дурыгин, богатеющий был купец. Так он вернулся домой, влез на крышу да и кинулся вниз головой. Через шесть часов помер. Видали картину? Вот тебе и серебряная единица! От одной этой единицы, батюшка мой, убытков стало больше, чем от пожара Москвы в 12-ом году. Я сам только тем и спасся, что уехал в Петербург. Здесь вот откупам занялся, да удостоился благорасположения министра финансов. Да-с. А то бы и я пропал.

— Ну, вы-то не пропали бы! — вставил соскучившийся Николай Петрович.

— Как знать, как знать! А теперь-то разве лучше стало? Провал за провалом! Взялись железные дороги проводить. Дело хорошее, да толк надо для него в голове иметь. Построили от Москвы до Петербурга. А кому она нужна? Чиновникам, а больше никому. Шоссейный тракт есть прекрасный, да еще водные пути. А надо было провести от Москвы к Черному морю. И все умные русские люди так говорили. Ведь война-то вот-вот будет. Как мы будем грузы возить? Как неприятелю мешать? Нет, не послушали. К Канкрину приходили самые первоклассные купцы: Журавлев, Кузин, Лепешкин. Поддержи, мол, нас, ваше сиятельство. А ваше сиятельство-то из ума выжил. Нечего, говорит, строить железную дорогу там, где на волах за грош возят. Слышали индею? И вы увидите, как Бог свят, увидите — этот провал будет посерьезнее первого. В него, батюшка мой, провалится весь черноморский флот. Старик Толь — помните? Он ведь помер от огорчения. Вон оно куды пошло!

Кокорев подошел к окну, поправил занавеску, потом подошел к двери, приоткрыл, посмотрел в соседнюю

комнату и, плотно прикрыв, опять подошел к столу. Он помолчал, побарабанил пальцами и продолжал более тихим и низким голосом:

— Да, много ошибок делает наше правительство. А отчего? Оттого, что там все немцы да поляки сидят, а у них свои заботы, свои выдумки. У нас лен некуда девать, а мы хлопок из Америки вывозим. Ну посудите сами: почему русский мужик должен ходить в ситцевых рубашках? Ведь мы из-за этих рубашек стали данниками Америки. Разве это не вред? Ну как вы скажете?

— Конечно вред. Но ведь нам без заграницы не обойтись. Мы, Василий Александрович, дикари, скифы, татары. Народ-то наш ведь совсем темный. Ему бы только выпить.

Николай Петрович сказал это и испугался: вдруг Кокорев обидится за эти слова? Но Кокорев не обиделся и даже не смутился. Он сел на свое ореховое кресло рококо и продолжал:

— Да кто же говорит об этом, батюшка вы мой? Мы должны догонять Европу в ее промышленном устройстве. Это я всегда и везде говорю. Да делать-то это надо с умом, с толком, с глазомером! А у нас что? Сидит, к примеру, на Волге Степанов — не слышали? Сидит и скупает кости. Платит 3 копейки за пуд, везет в Петербург и продает англичанам по 50 коп. пуд. Видали картину? Этак мы ничего и никого не догоним. Надо, батюшка мой, земледелие повысить. Надо фабрики заводить. Надо купцам дать право на землю. Да-с. Надо пшеницу вывозить мукой, а не зерном. Надо кожу обрабатывать дома. Вот что надо!

Кокорев помолчал и прибавил, улыбнувшись:

— А водка не помешает. Водка народу нужна. Я сам люблю водку. Да-с.

Он посмотрел на Николая Петровича, как будто ожидая возражений. Но Николай Петрович не возражал.

— Вы говорите — скифы. А была же Русь и сильна, и богата? Посмотрите, сколько было лавок в Ярославле, в Вологде, в Галиче, Старице, Торопце. Какая шла торговля! Целые корпуса развалин стоят. Это же все было! Когда? При Петре, при Катерине — вот когда-с. Мы от Катеринушки-то пошли не вперед, а назад. Вот тебе и прогресс! Вот тебе фи-

нансовая наука! Что теперь у нас? Провал и оскудение. Вот и вы ни с чем остались. А кто виноват?

И Кокорев прибавил совсем шепотом:

— Наш народ — чудный народ, да царь ему ходу не дает, вот что. Россию надо спасать. И это должны делать простые русские люди. Да-с.

Кокорев откинулся на спинку кресла и прибавил громким, веселым голосом:

— А водка не помешает! Водка развивает дух смелости и бодрость жизни. Одеви-с, вот наш девиз!

Николай Петрович молчал и думал: “Гений, гений. Гигант. Он спасет Россию. И я вместе с ним. Потому что я настоящий русский дворянин”.

Он забыл все свои прежние мечты. Действительность и мечта слились в одном образе, в одном лице, воплощающем всю Россию — в лице Василия Александровича Кокорева. Кокорев могуч, умен, добр, великодушен. Кокорев все понимает, все знает, все может. Он покровитель торговли и искусств. Он Меркурий и Аполлон вместе.

Они катаются по земле как по небу. Вот уже Москва, вот уже Орел. Ямщики везут лихо. Конские гривы развеваются по ветру, как ковыль. Ковыль развевается, как конские гривы. Русь расступается перед своим спасителем и ложится широкими белыми дорогами.

По дорогам стоят кабаки. В кабаках стоят ведра с духовитой водой. Это не вода. Это “одеви” — дух смелости и бодрость жизни. Выпей и наклонись: увидишь веселое, здоровое русское лицо, лицо самого Василия Александровича Кокорева.

Вокруг ведер стоит чудный русский народ. Что ни человек, то 0,69, 0,89, а то и все 100% смелости. Над кабаками разливается голубое небо, а по небу разливается веселый колокольный звон: “Одеви-с, вот ваш девиз”.

ГЛАВА XXIII

КРЫМСКОЕ БОРДО

Из Петербурга в Москву, из Москвы в Тулу, из Тулы в Орел, из Орла в Щигры. Отсюда их пути пока расходятся. Николай Петрович получает двадцать пять откупных паев и остается в Щиграх, а Василий Александрович едет на юг. У него там какие-то дела с водкой и с самоварами.

Они прощаются как братья, как простые русские люди. Кокорев обещает на обратном пути заехать в Щигры и поговорить еще на разные темы.

Но проходит месяц, проходят два. Наступает осень, а Кокорева все нет. А в Щиграх скучно, особенно осенью. Ночи темные, народ темный. Пахнет, водкой и гнилым листом. Одна подруга — гитара. Надо бы жениться, да еще не время. Денег надо нажить, да и с Кокоревым посоветоваться.

Сидит Николай Петрович вечером, играет на гитаре. Вдруг приносят большой ящик с почты. Открыли, а там — чудесное крымское бордо из садов князя Воронцова. А на другой день — короткое, но очень дружеское письмо: “Заехать, мол, не успел, поехал прямо в Петербург, а тебе посылаю винца, пей и не скучай, приедешь ко мне в Петербург — я тебя женю”.

Ну как не любить, как не восторгаться таким человеком! Крымское бордо — это последняя капля. Надо написать письмо и высказать в нем чувства благодарности, уважения, восторга и любви, переполняющие душу.

Давненько не брал он в руки пера! А письмо надо написать большое и вдохновенное. Ну-ка, крымское бордо, помоги!

“Одиннадцать лет тому назад узнал я вас, и знал тогда за доброго, умного и честного юношу, много обещавшего в будущем. С тех пор судьба развела нас надолго на поприще жизни и света. Из юноши вы стали вполне человеком, и не только оправдали, но и превзошли самые смелые надежды, самые прихотливые ожидания. С участием доброго и благородного старого знакомого предложили вы мне вступить в откупные дела. И я, и покойная моя жена

(этот кроткий ангел) почувствовали самую искреннюю к вам благодарность за непритворное ваше желание нам добра. Благодарству, бескорыстию и великодушию вашему нет пределов и нет имени. Вы осуществили все высокое, о чем я мечтал двадцать лет тому назад. Вы — мой идеал. Я предлагаю вам мою искреннюю, неизменную, преданную и вечную дружбу — дружбу на жизнь и смерть”.

Ах, какая прелесть это бордо! Даже писать трудно. Так бы и выпил целый ящик сразу! А что за слово такое “бордо”? Да это же очень просто для человека, знающего французский язык: bord d’eaux — берег моря. Такой город во Франции есть. Морской город. Оттого и называется Бордо. Вроде нашего Петербурга. Петербург — тоже Бордо. Даже не Бордо, а Бордодеви. Вот она штука-то какая!

Лингвистическое воображение Николая Петровича так разыгралось от вина, что письмо осталось неоконченным. На другой день он опять попил бордо и закончил письмо вдохновенным лирическим монологом:

“Друг! Неужели я не найду сочувствия?.. Мне страшно от одной этой мысли!.. После того я уже перестану верить во все прекрасное: и в добродетель, и в бессмертие души, и в Бога. Я предаюсь тебе с такой доверчивостью и простосердечием!.. И обмануться... Нет! это невозможно!.. Друг! Не отвергай моей дружбы!.. Дух мой очищен и укреплен страданиями, характер закален в бедах и несчастиях, а дружба моя надежна и прочна, как сталь Дамаска”.

Письмо пошло с эстафетой и попало к Кокореву ночью. Его разбудили. Что случилось? Из Щигров. От Макарова. Ох, уж эти дворяне! Напутал там чего-нибудь.

Читает Кокорев подряд, читает через строку, читает через страницу — никак понять не может. Написано много, а толку никакого нет. “Друг... великодушие... идеал... добродетель... сталь Дамаска”. И все восклицательные знаки. А о деле ни слова.

Он просмотрел еще раз, дочитал до “стали Дамаска”, швырнул письмо на пол, проворчал: “вот дурак!”, потушил свечу и лег. Но сон не возвращался. Перед глазами торчала фигура Макарова.

“Ох, уж эти мне дворяне! Когда я их к рукам прибегу? Сидят на земле, как собака на сене, да еще хорохорятся. Мы-де французский язык знаем, за границей бываем.

“Сталь Дамаска”. Вот сукин сын! А кто виноват, что у нас нет такой стали? Ты не сталь Дамаска, а дворянское говно. И всех вас надо разорить, а землю купцам продать. И это будет, будет. И это сделает купец Василий Кокорев. Слыхал? Вот ты у меня тогда попляшешь и на гитаре поиграешь. А я, ха-ха, послушаю”.

Так и не спал в эту ночь раздраженный откупщик.

Зато дворянин Макаров спал крепким сном человека, нашедшего свой идеал и выпившего по этому случаю бутылку превосходного крымского бордо. Ему снился и город Бордо, и город Бордодеви, и сам великодушный, бескорыстный, благородный, гениальный, всемогущий и божественный Кокорев.

Кругом шумит море. На берегу стоит Николай Петрович. В руках у него сталь Дамаска. А из моря выходит Кокорев и ведет за руку орловскую сидельчиху. У нее античные плечи и лебединая шея. А по морю плывет огромное судно, доверху наполненное крымским бордо. Кокорев говорит: “Россия спасена”. Николай Петрович взмахивает дамасской сталью и кричит “ура”. А Кокорев подводит к нему сидельчиху и говорит: “Это и есть Россия. Это — твоя жена”.

А ночь в Щиграх была темная, осенняя. И пахло прелым листом и перегорелой водкой.

А в Петербурге ночь была еще темней, еще осенней. И на улицах пахло разно: на одних — финским ветром, на других — крымским бордо, а на третьих — астраханскими селедками и кокоревской сивухой.

ГЛАВА XXIV

ПЕРЕПИСКА

У “его сивушества” Василия Александровича Кокорева была своя мечта и своя действительность.

Будущее России принадлежит купцам, капиталистам, финансовым гениям. Дворянчиков надо прибирать к рукам, отрывать от земли, разорять, впутывать в коммерческие дела. Довольно они поцарствовали, хватит! Теперь

России нужны не идеалы, не стихи и не французский язык, а торговля и деньги. Земля должна перейти в руки купцов. И это скоро будет. Вот тогда дворянчики схватятся за голову! Да поздно. Мужик не поможет. Мужику с купцом куды лучше, чем с дворянином. Потому что мужик — тот же купец: настоящий русский человек, без всяких этих штучек и фанаберий. Мужика можно даже от крепостной зависимости освободить.

Это дворянину страшно, а купцу ничуть. Мы и денег на это дело дадим. Пожалуйста! Разъезжайте себе по заграницам, господа помещики, только землю нам оставьте. Ваша песенка спета!

Примерно так рассуждал Кокорев и действовал соответственно своим рассуждениям.

Он обнюхивал Россию как огромное вкусное кушанье. Надо только умеючи взяться. Каждый день возникали у него новые проекты: то водка, то сало, то лен, то хлеб, то кожа. Ноздри у него раздуваются и смотрят на все стороны: на север, на юг, на восток и на запад. Всюду пахнет тысячами, миллионами, миллиардами. Дворянчики только лижут Россию языками, а ее нужно пронюхать, прогрызть, прожевать, добраться до мозга костей. И Кокорев нюхал, жевал, грыз и высасывал мозг. А когда попадался ему разорившийся дворянчик, вроде Башилова или Макарова, эдакий беленький хрящик, он его облизывал, обсасывал, а потом с особенным удовольствием клал его в рот и грыз своими крепкими зубами.

Николай Петрович не догадывался об этих вкусах и аппетитах своего солигаличского ученика. Он только стал замечать, что Кокорев поступает иногда непоследовательно, иногда необдуманно, иногда противоречиво, а иногда и несправедливо. И это очень огорчало его.

Не успел он осесть в Щиграх и навести там порядок, как вдруг его посылают опять в Орел. А там вышла неприятность из-за одного крепостного самородка, который хотел выкупиться на волю. Ему не дали денег, а он пожаловался Кокореву, с которым какие-то торговые дела затевал. Ну и влетело: не смейте, мол, настоящего русского человека обижать. А потом Кокорев прислал в Орловскую контору каких-то беспардонных негодяев. Николай Петрович

уличил их в воровстве и выгнал, а они написали на него донос — что он-де ворует больше их и в откупном деле ни черта не понимает. Кокорев взял да и вернул одного из выгнанных негодяев на прежнее место.

Николай Петрович возмутился: “Я не понимаю в откупном деле?” Он сел и написал несколько специальных нравоучительных статей: “Физиология откупов”, “О злоупотреблениях бывшего казенного управления”, “Программа полного и рационального руководства к управлению откупами”. Статьи эти он послал Кокореву, а к ним приложил нравоучительное письмо, в котором высказал свои мысли о необыкновенном человеке и его обязанностях.

Письмо было на шести страницах, а от Кокорева пришел короткий, наспех написанный ответ: “я, мол, сам знаю, как и что мне делать, и в учителях теперь не нуждаюсь”. Затем следовали всякие распоряжения, а в приписке — два слова о статьях: “Видно, что ты откупное дело не только раскусил, но и проглотил”.

Ага!

Но одного этого комплимента было мало для Николая Петровича. Нет, необыкновенный человек не так должен отвечать на письма. Необыкновенный человек понимает возвышенные чувства и умеет откликаться на них.

Надо написать новое письмо, в котором выразить все свои сомнения, всю свою тревогу, все свои чувства.

Николай Петрович писал всю ночь — и получилась огромная лирическая поэма. Она начиналась так:

“Дорогой друг Василий! Мрачна, глубока и неизведанна бездна сердца человеческого! это — тот же океан... Посмотри на этот последний. Повисли над ним грозные тучи, заревел, забушевал сильный ветер и взволновал, избородил спокойную до того поверхность. Седые волны, как горы, как бесчисленное стадо разъяренных гигантских чудовищ, побежали по этой влажной, зыбкой поверхности, под которой находятся неизведанные мрак и глубина... Потом стихнет ветер, рассеются тучи, заблестит снова яркое солнце, но взволнованный океан не скоро успокоится, не скоро примет ровную зеркальную поверх-

ность, которая так величественно отражает и солнце, и небо, и звезды...”

Он перечитал. “Ах, как хорошо! Самому Кукольникову так не написать. Эх, пропадает даром мой талант! Проклятый меркантильный век!”

И поэма двинулась дальше:

“Так бывает и с сердцем и с душою человека! Тишина и самодовольствие царствуют в них... И вдруг! взволновала их невзгода, сомненье, обманутые надежды открылись, и снова облились кровью едва зажившие раны сердца!.. И вот! голос друга хочет успокоить это волнение, рука его хочет исцелить открывшиеся раны... Но увы! облегчается страдание, но не скоро водворится равновесие взволнованной души, не скоро возвратится спокойствие, вера и надежда в испуганное и измученное сердце!..”

А дальше — уже прямо о своих сомнениях, тревогах, разочарованиях и пр.

Такая поэма должна расшевелить даже самого обыкновенного человека. Ведь здесь что ни слово, то образ, что ни знак, то восклицание. Ведь здесь и Байрон, и Лермонтов, и вся русская литература!

Увы! Кокорев опять ответил короткой запиской, в которой раздраженно и насмешливо призывал Николая Петровича к хладнокровию, напоминал о сделанных ему благодеяниях и кончал так: “Прошу отвечать мне без поэзии, без таинственных точек и восклицательных знаков. Пиши толком, что тебе нужно”.

Николай Петрович сел и написал:

“Мне нужна была твоя дружба, одна твоя дружба и уважение. Интерес, деньги, все откупные богатства, но без твоей дружбы и уважения — для меня прах и грязь, которые оскверняют мою благородную и любящую душу. А чтобы доказать тебе это на деле, я отказываюсь от всякого участия в твоих делах, которые без твоей дружбы для меня тошны и гадки”.

А кончалось это письмо так:

“Прощай и прости меня на прощанье за все неприятности, которые наделал тебе мой пылкий характер. По крайней мере, в успокоение своей совести, я могу сказать, что едва ли кто другой может любить тебя так искренно,

так горячо, так свято, как чтил и любил тебя бывший твой
Н. Макаров".

Это письмо было написано и отправлено 7 октября 1846 года, из Орла.

А 9 октября Николай Петрович был уже в Туле и вечером, оставшись один, поиграл на гитаре.

А 10 октября он написал Кокореву второе письмо, в котором уже не отказывался от откупных богатств, а выказывал христианское смирение и винил самого себя.

А 11 октября он написал третье письмо — среднее между двумя первыми.

А 12 октября он приехал в свою деревню, выпил чаю, поиграл на гитаре и пописал дневник.

А 13 октября встал, выпил чаю и записал в дневник "Мои догматы или катехизис моего сердца".

А 14, 15 и 16 была гитара и были слезы. Душа Николая Петровича волновалась, как океан.

А 17 октября, не дождавшись ответа от Кокорева, он двинулся в Москву, но Кокорева там уже не застал.

А 24-го он записал в дневнике: "Вчера получил письмо из Петербурга от Кокорева. Оно меня воскресило, и я снова верю, что он вполне благородный и великодушный человек".

А потом — опять Тула.

А из Тулы опять в Орел, а из Орла опять в Щигры.

И запись в дневнике: "Грусть не покидает меня ни на минуту. Письмо Кокорева я прочитал несколько раз: в нем мало того тепла, которое в состоянии было бы вылечить мою душу... Наставления, нравоучения!.. Он принимает меня за ребенка. А сам-то он что?.. Что за толпа воров и негодяев вторглась было в его дела!"

И опять темная, осенняя ночь в Щиграх. Такая же, как в прошлом году. Но в душе Николая Петровича уже не те чувства.

Крымского бордо нет. Он играет на гитаре, а душа его волнуется, как океан, и обливается кровью едва зажившие раны сердца!

ГЛАВА XXV

“КОЛИ ТЫ ТАК, ТАК ВОТ ТЕБЕ!”

Да, раны сердца продолжали ныть, а иногда и обливались кровью.

Поводов для этого было так много, что о них и рассказать трудно. Кокорев играл с Николаем Петровичем как кошка с мышью.

Николай Петрович навел в Щиграх порядок и написал Кокореву необыкновенно деловое и необыкновенно содержательное письмо. Не письмо, а целый научный трактат: с цифрами, с таблицами, с пунктами, с процентами и без единого восклицательного знака. “Коли ты так, так вот тебе!” — думал он, когда писал это сочинение.

А Кокорев ответил ему насмешливыми похвалами и нравоучениями, приветствуя его отказ от прежних привычек, неуместных в коммерческом быту. Очень, мол, рад, что ты изменился и отбросил прежнюю торопливость, рассеянность и взбудораживательность.

Как вам нравится это слово: *“взбу-до-ра-жи-ва-тель-ность”*? И это он смеет говорить человеку, воспитавшему себя по системе Франклина!

А потом пришло очень душевное письмо: я, мол, был, есмь и буду постоянный почитатель твоей высокой честности и горячей преданности сердца. А потом Кокорев вызвал его в Вязьму, где обнял и поцеловал. А потом повез его с собой в Гжатск, где предоставил ему 25 паев. А потом они поехали в Москву, а из Москвы в Харьков, а из Харькова опять в Москву, а из Москвы в Петербург. В Петербурге завтракали у Елисеева и Смурова, обедали и ужинали у Дюссо, а после Дюссо еще кое-куда заглядывали.

Несколько раз во время этих путешествий и развлечений Николай Петрович заговаривал о том, что ему пора вернуться к делу. Но Кокорев махал руками: в Щиграх, мол, все устроено, а в Гжатске сидит превосходный управляющий, свой человек. Да и нельзя же все работать! Надо и повеселиться. А между прочим, надо и жениться. Тоже большое дело. И жениться надо обоим, чтобы никому обидно не было.

Почему-то этот сюжет особенно интересовал Кокорева. Николай Петрович сначала не мог понять, зачем они едут в Харьков. Оказалось, что это была целая комбинация. В Харькове проводил лето некий золотопромышленник, приятель Кокорева. Отец его был очень богат, а при сыне дела маленько порасшаталась, потому что он был не столько сибирский золотопромышленник, сколько петербургский сибарит. Остался у него небольшой капитал, парижская карета с орловским рысаком и восемнадцатилетняя дочь.

А Кокореву не давали покоя эти золотые прииски. Как бы их себе забрать? Вот он и придумал: женить Николая Петровича на золотопромышленной дочке. Дело кончится разореньем и прииски перейдут к нему. А Николай Петрович окажется тогда в полной его власти. Все, что надо.

В Харькове была не жизнь, а Эльдorado: обеды, ужины, старые вина, экипажи, рысаки. А дочка? Дочка худенькая, бледненькая, бескровная, молчаливая — не столько золотопромышленная, сколько золотушная. Притом же окружена толпой каких-то допотопных тетушек, дядюшек, бабушек, кузин и кузенов. Такие китайские церемонии, что не добраться!

Продолжение сюжета было в Петербурге, без дочки: папаша, Кокорев и Николай Петрович. Опять Дюссо, или Дюма, или Сен-Жорж, потом итальянская опера, потом опять Дюссо. Сидят в круглом кабинете, папаша про рысаков рассказывает, а Кокорев Николаю Петровичу на ухо шепчет: “Товори-де — и дело с концом. Я пойду сватать. Отказа не будет. Шесть тысяч в год! Золото в Сибири!” Но Николай Петрович молчал.

Зачем ему та золотопромышленная и золотушная девица, когда у него в Москве уже намечена другая? Он человек со вкусом и с фантазией. У этой другой: прелестное лицо, покрытое безыскусственным румянцем во всю щеку и окаймленное густыми русыми волосами, мягкими как шемаханский шелк, черные глаза, прекрасная талия, роскошный античный бюст и крошечные ручки и ножки. Все, что надо.

Под предлогом гжатских дел Николай Петрович вырывается из широких объятий Кокорева и летит в Москву.

Там он устраивается в его доме и едет к шемаханской Софье. Все дело решается в два дня. Родителей у Софьи нет, старший брат согласен и даже очень рад. Шутка ли? Друг самого Василия Александровича Кокорева, будущий миллионер!

И вот Николай Петрович торопится обрадовать Кокорева. Он пишет письмо, исполненное поэзии и страсти. Кокорев ничего: поздравляет, посылает невесте брошку в виде золотой змеи, сообщает, что тоже женится, и прибавляет: “Весною все мы едем за границу”.

Николай Петрович читает и не понимает: кто это “все мы”? Можно понять так: Кокорев с женой и с мамашей. А можно и так: Кокорев с женой и Макаров с женой. Иначе говоря: Николай Петрович получит отпуск от гжатских дел и некоторую субсидию на путешествие.

Воодушевленный этой перспективой, он посылает Кокореву новое письмо, очень оригинальное: в форме дневника с присоединением трех строф поэтической прозы, восхваляющей прелести и добродетели шемаханской невесты. А в конце, в виде постскриптума, фраза: “Надеюсь, друг, что ты возьмешь и нас, когда поедешь за границу”. Больше ничего. И вот это невинное письмо испортило все дело.

Кокорев вдруг взбесился. Подействовала ли на него так поэтическая проза или приписка о загранице, но он решил: “Коли ты так, так вот тебе!” И ответил письмом, последствия которого сказались на всей дальнейшей жизни Николая Петровича, а тем самым — и на сюжете этой книги.

Был полдень. Николай Петрович, очень веселый и сильно помолодевший, собирался к невесте. Он уже надушился, положил в карман чистый носовой платок и подошел к зеркалу, чтобы посмотреть на самого себя и на выражение своего лица. Выражение было сильное, молодое, гордое, горячее. “Не боюсь я тебя”, — говорило это выражение. “Коли так, так вот тебе”. Николай Петрович даже сжал кулак и показал его самому себе, воображая, что перед ним стоит Кокорев.

В эту минуту постучали в дверь: письмо. Николай Петрович вернулся к зеркалу и, продолжая поглядывать

на свое отражение, стал вскрывать конверт. Письмо было на какой-то странной, почти оберточной бумаге и начиналось без обращения. Почерк знакомый — кокоревский.

Один Николай Петрович читал письмо (спиной к читателям этой книги), а другой, в зеркале, терял с каждой минутой свой прежний вид: лицо бледнело, старело, глаза теряли блеск, появились морщины, образовалась складка на лбу. Потом кровь бросилась ему в лицо. Потом она отхлынула и облила раны сердца.

Письмо дрожало в его руках. Он читал не подряд, а перескакивая и ловя отдельные фразы. Эти фразы кололи иголками: “Выехав отсюда месяц тому назад, ты не только не думаешь быть в Гжатске, но даже заявляешь намерения ехать в Петербург и мечтаешь не о деле, а о поездке за границу... Дружба дружбой, а служба службой. Чем крепче дружба, тем тщательнее должна быть выказана любовь к делу с засвидетельствованием ее результатов в чистых рублях... Я не столько не разумен, чтобы не понять, как много от этого примера, поданого тобою, должна страдать моя администрация... Ты наполняешь свою голову не делом, а фантазиями. Для фантазий нужны деньги, а для денег нужен труд”.

Николай Петрович вынул платок, отер выступивший на лбу холодный пот и взглянул в зеркало. Он сам ужаснулся выражению своего лица, отошел, опустился в кресло и стал читать дальше:

“Чувства мои окончательно пострадали от прочтения записки о Софье в трех периодах, начинающихся со слова “если”. Боже мой! Какая дерзость и какая глупость, превосходящая даже персидскую поэзию! Я убежден в том, что твоя разумная Софи устыдилась бы этого сочинения. Что касается до меня, то я более не друг твой, а просто знающий тебя человек”.

Потише, г. Кокорев! С вашей стороны не совсем благоразумно выражаться так о человеке, пропитанном до костей духом воинской чести. Неровен час!

В конверте была еще отдельная записка на хорошей бумаге:

“Милостивый государь, Николай Петрович.

Мне нужно для полноты моих соображений знать, когда вы можете приступить к делам; а потому потрудитесь

меня об этом известить. В Гжатск вам ездить теперь не нужно, ибо время не допускало медленности, и я все распоряжения сделал отсюда сам. Прошу вас не стесняться и назначить то время, в которое вы будете свободны, ибо дело для вас будет всегда готово.

С совершенным почтением имею честь быть покорнейшим слугою.

В. Кокорев".

Что ж это: сон или действительность?

Ни то, ни другое.

Это — судьба. Проклятая чухломская судьба, которая преследует его с самого детства.

Она дразнит, мучает, издевается, искушает, унижает, обманывает. Она меняет свои воплощения так часто и так неожиданно, что никак не догадаться.

Когда-то она была его матерью, потом стала женой Валерьяна Макарыча (Катенькой), потом устроила варшавский бунт и загнала в плен, где выступила в лице майора Зеленки и гусара-банкомета, потом воплотилась в прелестную девицу (Аннету Гесслинг) и, наконец, явилась открыто, в виде Кокорева, предлагая мир, дружбу, богатство и всяческие блага жизни. Как было не соблазниться?

Ну, подожди! Коли ты так, так вот тебе!

ГЛАВА XXVI

КОНЕЦ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

Но как бороться с действительностью? Кокорев опутал его со всех сторон.

Живет он откупам Кокорева.

Получил согласие на брак как друг Кокорева.

Поселился в Москве в доме Кокорева.

Даже спит на постели Кокорева!

Когда в семье невесты узнали о происшедшем разрыве, поднялся целый ураган. Брат Софьи называл Николая Петровича обманщиком, кричал и грозил дуэлью. К счастью, сама невеста оказалась кротким ангелом. "Nicolas! —

сказала она, — неужели ты думаешь, что мною руководили какие-нибудь расчеты, когда я отдавала тебе мою руку? И неужели я выдерну эту руку оттого, что изменились твои обстоятельства и рушились некоторые твои надежды? Я навеки твоя”.

Николай Петрович восторженно целовал ее ручки и настаивал на скорейшей свадьбе. Надо или добиться возвращения в Гжатск, или заняться сельским хозяйством, или... Или что? Взяться опять за гитару, а пока жить на небольшой капитал жены. Иначе говоря: поставить крест на действительности и вернуться к мечте.

Кокореву он написал подряд три письма. В первом просил разрешения еще до свадьбы съездить в Гжатск и привести в порядок дела. Во втором просил вернуть тетрадь с дневником и поэтической прозой, а также запрашивал относительно дальнейшего пребывания в его доме. Так как ответа не было, то в третьем письме он повторил эти три просьбы и прибавил несколько общих слов, касавшихся разрыва: “Я и так довольно наказан вашим письмом от 26 ноября, которое, сверх личных мне оскорблений, омрачило счастье моей женитьбы и даже потрясло его в самом основании... Тяжелый грех примете вы на свою душу, Василий Александрович, если погубите честного человека, отца двух сирот, которого вся вина состояла в том, что он слишком искренно в преданно полюбил вас и уверовал в искренность и прочность вашей дружбы”.

Кокорев наконец ответил по всем трем пунктам. На поездку в Гжатск он согласен, но после свадьбы — “то есть, когда вы будете в более спокойном положении”. Тетрадь вышлет, но без поэтической прозы, потому что ее он бросил в камин, где она и сгорела. Что касается дальнейшего пребывания в его доме, то: “предоставляю вашему усмотрению и скажу только то, что в хозяйство домовое я не мешаюсь, оно принадлежит маменьке”.

Несмотря на семейный ураган, свадьба состоялась 17 января 1848 года, а 29 января Николай Петрович вместе с женой выехал из Москвы в Гжатск, где и поселился в питейной конторе.

Назло Кокореву (“коли ты так, так вот тебе!”) он взялся за откупные дела с необыкновенным рвением: сна-

чала выгнал всех негодяев и воров, а потом написал статью о спиртомере академика Гесса. Статья имела успех: Кокорев показал ее академику, и академик нашел все замечания вполне справедливыми.

Скоро после этого умер от холеры главноуправляющий смоленской конторой — тоже Макаров, только Николай Гаврилович. По этому случаю Николаю Петровичу пришлось переехать в Вязьму... Сообщая ему об этом, Кокорев сделал специальную приписку, очень неожиданную и даже несколько трогательную: советовал не употреблять зелени и носить на животе фланель, а на ногах теплые чулки.

Без всякой фланели на животе Николай Петрович немедленно двинулся в Вязьму. Там он выгнал всех воров и негодяев и написал большое сочинение на двадцати страницах мелкого письма. Сочинение это было проникнуто одной общей идеей и направлено к одной цели. Оно называлось: “Соображение о смоленских откупах”. Это был стратегический план: как вести откупа сообразно новой системе и новому взгляду.

Мало того, Николай Петрович написал еще статью под заглавием: “Нечто о сложной цене и об аглицкой водке”. В ней он доказывал вред для самих же откупов от чересчур высокой цены на разливное вино.

Мало того, Николай Петрович решил составлять ежемесячно особое “соображение”, в котором предугадывать и предначертать движение капиталов, выборы и переборы питий и высылку денег в Петербург.

Он соображал, вычислял, сравнивал, сопоставлял, прикладывал на счётах. Из хаоса цифр он создал нечто стройное, ясное, гармонически связанное. Питейный вопрос превращался под его рукой в поэтическую прозу. Россия выглядела каким-то островом блаженных, из которых одни пьют волшебный напиток жизни, а другие ходят по берегу и собирают кучу золотых монет. Бордо-деви.

И все это он делал без всякой фланели на животе и с самыми обыкновенными чулками на ногах.

Необыкновенная деятельность Николая Петровича удостоилась наконец награды: “акцизный падишах” при-

слал ему два ящика тенерифу и медоку и бутылок двадцать отличнейшей (не солигаличской) мадеры и портвейна.

Ага!

Но теперь он уже не Дон-Кихот Щигровского уезда. Нет! С того времени утекло много водки и крымского бордо. Нет! Он теперь не напишет такого письма, как тогда.

После брошки в виде золотой змеи пришло письмо на оберточной бумаге. Как бы и после тенерифа не грянул новым гром? Николай Петрович пил тенериф и повторял про себя после каждой рюмки: “timeo Danaos et dona ferentes”.

Вино, как всегда, подействовало на его лингвистическое воображение. Повторя латинскую цитату, он вдруг заметил: если в слове “ferentes” отбросить “s” и переставить буквы, получится “teneref” — тенериф! Какое удивительное, какое зловещее совпадение!

И Вергилий был прав.

После тенерифа Николай Петрович послал еще целый ряд соображений и ведомостей, думая окончательно поразить дона Василья и получить что-нибудь более существенное. А дон Василий, как истый данаец, вдруг пишет: “Посылаю к вам Ивана Федорыча — не в виде наблюдателя или советника, а в виде действителя, то есть не тратить напрасно времени на соображения и бумажный обмен мыслей, из чего никаких результатов никогда не бывает. Я не имею времени все ведомости рассматривать во всей подробности, да и не люблю этого, а определяю дело бегло, по сложным ценам продажи и расходов, а главное — по частому получению денег от дел. Как со времени смерти Николая Гавриловича я имею удовольствие ни копейки не получать от вас, то мне и кажется, что дело идет плохо. В июле и августе вы меня водили за нос в отношении посылки 10 тысяч, и все-таки не выслали. Потом прислали соображение о движении денежных сумм, по которому определили выслать в Петербург в августе 5 тысяч, октябре — 10 тысяч и ноябре — 22 тысячи; а на деле все эти определения и соображения вышли мыльные пузыри”.

Вот тебе и фланель на живот! Вот тебе и теплые чулки на ноги! Вот тебе и тенериф с мадерой!

Николай Петрович ответил сухим, деловым письмом, наполненным одними цифрами, но в ответ пришла уже сплошная ругань: дураки, скоты, ослы, болваны.

А тут еще несчастье: жена, не выдержав обстановки питейной конторы, заболела серьезным расстройством нервов. Дело было даже не только в питейной конторе, но и в поведении самого Николая Петровича. Чтобы жить с таким мужем, надо было иметь очень крепкие нервы и очень здоровый организм. А Софи была хоть румяна, но не очень вынослива.

Пришлось вызвать сестру и отправить с ней жену в Москву для лечения.

А затем Кокорев приехал в Вязьму и с улыбкой заявил следующее: “По зрелом соображении мы с Иваном Федоровичем нашли, что главная контора в Вязьме — вещь совершенно лишняя. А потому: а) решено упразднить главную вяземскую контору; б) с упразднением главной конторы упраздняется и место главноуправляющего и в) чувствительнейше вам благодарны за добросовестную вашу службу, но больше в ней не нуждаемся. А потому вы можете теперь отдохнуть от понесенных вами трудов и озаботиться лечением вашей супруги”.

Точка и черта.

Это произошло 18 декабря 1849 года. Николай Петрович собрал весь свой скарб и поехал в тульскую деревню — в этот мирный приют, покинутый и забытый им после смерти первой жены. Здесь — родина его мечты! Здесь были побеждены трели и хроматические гаммы! Здесь был написан “Концерт № 1”!

Конец действительности.

Да здравствует мечта!

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГИТАРА И ЛЮБОВЬ

ГЛАВА XXVII

ЗДРАВСТВУЙ, ЕВРОПА!

Русский дворянин — не настоящий русский дворянин, пока не поедит по Европе. Западник он или славянофил, человек с определенной программой или только с дворянским инстинктом — это безразлично. Дело тут не в программе и не в убеждениях.

Россия — теплый домашний угол: с постелью, с халатом, с женой и туфлями. Что Щигры, что Орел, что Тула, что Москва — разница небольшая. Петербург? Ну что ж Петербург! — вода и чиновники.

Россия — это проза. А ведь у человека есть потребность и в поэзии. У человека есть потребность в хорошей музыке, в хорошем отеле, в хорошем вине, в хорошем климате, в хорошем пейзаже и т.д. У человека вообще много разных потребностей, а у русского дворянина особенно.

Николай же Петрович был не простой русский дворянин, а дворянин с мечтой, с фантазией. Кокорев сбил его с толку и чуть не погубил. Ну и довольно! Расчеты с Кокоревым, с Россией и с действительностью покончены.

Россия — сплошная питейная контора, с полугарами и недогарами. В России нужно быть самодуром и поддельщиком. В России не понимают ни поэзии, ни музыки, ни мечты. Долой Россию!

И вот — Николай Петрович уже на пароходе. Из Петербурга в Травемюнде, из Травемюнде в Любек, из Любека в Гамбург.

Здравствуй, Европа!

И вот — Николай Петрович уже в Кельне. О, небо! О, воздух! О, ландшафты! О, отели!

Он бросается в чистые воды знаменитого Рейна и смывает с себя всю мерзость и все грехопадение питейной жизни.

Нет больше питейного вопроса!
И нет России.

Европа — совсем не то, что Россия.

Куда ни пойдешь, куда ни помотришь — все ландшафты и ландшафты. Вот ландшафт с рекой, вот ландшафт с горой, а вот ландшафт с немочкой в соломенной шляпке с голубыми лентами. Так и хочется сказать: “их либе зи!”

А вернешься в отель — хозяин встретит целым рядом любезных вопросов: “Как чувствует себя Herr Baron? Как нравятся барону наши ландшафты? Какое вино любит Herr Baron? Любит ли барон музыку?”

Но это не главное! — главное — мечта. Главное — гитара. Что скажет Европа о его трелях и хроматических гаммах? Как отнесется Европа к его “симфонической фантазии”?

Итак, за дело.

Но гитара — инструмент не для немцев! Немцы помешаны на своем Бетховене, а Бетховена на гитаре никак не сыграешь. Ну а к последнему их помешательству, к “музыке будущего” Рихарда Вагнера, Николай Петрович относился с решительным презрением. “Самохвальство самохвалств и всяческое самохвальство!” — восклицал он, слушая речи вагнеристов. “Кваканье кваканий, карканье карканий, и всяческое кваканье, и всяческое кваканье!” — восклицал он, слушая произведения Вагнера. “Это — оскорбление музыки, это — растление искусства, это — прославление и апофеоза безобразия и уродливости!” В порыве возмущения он даже сочинил бичующую эпиграмму:

“Прекрасное есть то, что безобразно”.
Так Виктор¹ рек и не напрасно:
Сбылось пророчество ужасно —
Придя в неистовый азарт
Вдруг музыку попрали Рихард.

¹Очевидно — Виктор Гюго.

В Майнце нашелся один гитарист, маэстро Камбергер. Выслушав “фантазию” Николая Петровича, он сказал: “Schön. Sehr schön!” Но больше ничего нельзя было от него добиться. Он курил трубку и молчал. Притом сам он оказался гитаристом очень средней руки: ни отчетливости, ни круглоты, ни вкуса, ни стиля, а сверх того, дребезг в басах.

Надо ехать дальше.

Дальше Николай Петрович попал в Брюссель и добрался до самого Цани де-Ферранти, придворного гитариста.

Это было интересное свидание.

— Я — русский гитарист, — сказал, представляясь, Николай Петрович. — Проехал Германию и явился к вам. Ферранти очень обрадовался и даже заволновался:

— Скажите, как поживает Гильельмо Кюхельбекер?

Думая, что это какой-нибудь известный немецкий гитарист, Николай Петрович быстро ответил:

— О, прекрасно!

— Передайте ему мой привет. А что делает Александр Пушкин?

Николай Петрович замялся.

— Пушкин? Разве есть такой гитарист?

Оказалось, что в 20-х годах, после неудач со скрипкой, Ферранти жил в Петербурге: был библиотекарем у сенатора Мятлева и секретарем у директора театров Нарышкина. Знал и Кюхельбекера, и Пушкина, и Жуковского, и других русских писателей.

Николай Петрович рассмеялся.

— О, с Александром Сергеевичем мы были друзьями! Но разве вы не знаете, что он погиб на дуэли? Как же! Еще в 1837 году. Из-за жены.

— Так он женился? Жаль, очень жаль. Ну, а что Сихра? Вы, вероятно, ученик этого почтенного маэстро?

— Нет. Сихра отстал и устарел. Он совсем выжил из ума. У меня своя метода. Я считаю себя учеником Паганини.

Ферранти изумленно промолчал, потом снял со стены оправленный в рамку лист бумаги и торжественно протянул его Николаю Петровичу. На листе было написано: “Свидетельствую, что г. Zari de Ferranti — один из величайших гитаристов, доставивший мне невыразимое на-

слаждение своей чудной, восхитительной игрой”. И подпись: *Nicolo Paganini*.

Что бы сказал этот *Nicolo Paganini*, если бы дожил до трелей и хроматических гамм *Nicolo Makarov'a*?

Кстати о трелях. Николай Петрович добывал их совершенно особым способом: четырьмя пальцами на двух струнах, в то же время аккомпанируя на басах. Получалось впечатление, будто соловей поет на берегу моря. А хроматические гаммы он производил тремя пальцами (а не двумя, как другие), результатом чего была их неслыханная быстрота и сила. Соловей пел, море шумело, а над морем проносились и завывали буйные вихри. Надо еще прибавить, что на гитаре Николая Петровича было уже не шесть и не семь струн, как у других, а восемь. Все это вместе произвело впечатление на Ферранти. Прослушав “фантазию”, он сказал по-русски “спасибо” и прибавил по-французски:

— Да, вы виртуоз. Но мода на гитару прошла! Кому теперь нужна гитара? Я сам занимаюсь больше литературой, чем гитарой. Перевожу Ламартина на итальянский язык. Очень приятная работа.

Николай Петрович произнес целую речь о том, что он хочет возродить гитарное искусство, что гитара — высший музыкальный инструмент, что презрение к ней несправедливо и т.д. Ферранти грустно покачивал головой.

— Попробуйте, попробуйте, — повторял он, улыбаясь. Вы — русские — смелее нас. У вас вот восемь струн, а у нас шесть.

На прощание Ферранти сыграл Николаю Петровичу “*Rosa-Walzer*” Штрауса. Он играл превосходно, но это была старая школа.

Надо ехать дальше.

Николай Петрович сел в Остенде на пароход и поехал в Лондон — разыскивать гитариста Шульца.

Он провел ужасную ночь. Погода была бурная. Закутавшись в свой широкий плащ, он пролежал всю ночь замертво на палубе. О него спотыкались и падали другие пассажиры, ругаясь на всех языках мира.

Утром пароход вошел в Темзу.

Несколько дней Николай Петрович искал Шульца и никак не мог найти. Оказалось, что он был известен не

столько как гитарист, сколько как мот и кутила. Он не имел постоянного адреса, потому что прятался от кредиторов. Наконец свидание состоялось — через портного, упрямого немца, долго не хотевшего верить, что Николай Петрович не принадлежит к числу кредиторов его клиента.

Шульц пришел в восторг от трелей Николая Петровича. Он ударил его по плечу и заявил: “Этого не может сделать ни один гитарист! Чего вы приехали в Лондон? В Париже или в Вене вас сразу провозгласят первым в мире гитаристом. А в Лондоне вам нечего делать”. При этом он выгащил целую кучу своих гитарных произведений, оставшихся неизданными. Тут были романсы, и вальсы, и мазурки, и рондо.

— Видите, никто не печатает.

Николай Петрович, взволнованный отзывом Шульца, купил всю эту кучку и обещал издать в России. Увы! Эти произведения оказались, при ближайшем рассмотрении, никуда негодным хламом. А Николай Петрович заплатил за них вдесятеро дороже, чем за печатные.

Итак, в Париж за славой!

ГЛАВА XXVIII

Н. П. МАКАРОВ И Луи БОНАПАРТ

Это было осенью 1851 года.

Николай Петрович вступил в Париж и поселился на знаменитой улице *Caussèe d'Antin*.

Все в порядке — как будто и не было революции 1848 года. На улицах — нарядная толпа, блестящие магазины, элегантные экипажи. По-видимому, Николай Петрович выбрал удачный момент. Но как сделать, чтобы этот веселый, многолюдный, многомагазинный и многоэкипажный Париж узнал, что на улице *Caussèe d'Antin* поселился первый в мире гитарист?

Квартирный хозяин, сам большой любитель гитары, сообщил Николаю Петровичу, что с гитарой в Париже плохо. Из знаменитостей остался один Наполеон Кост, да

и тот с горя поступил музыкальным репортером в какую-то газетку. Дело в том, что президент республики, Луи Наполеон, преследует гитаристов, подозревая их в наклонности к радикальному образу мыслей.

— Надо вам сказать, что королева Гортензия, мать президента, обожала гитару. Она сама сочиняла романсы и заставляла сына петь их. Но надо вам сказать, что сын ненавидел матушку и мстил ей. А тут еще всякие революции, песенки Беранже, вольные общества гитаристов. И вот, надо вам сказать, гитара у нас вроде как запрещена.

Николай Петрович изумился. Гитара и политика? Гитара и революция? Он не предполагал ничего подобного. Надо отыскать Наполеона Кост и заключить с ним союз против Луи Наполеона.

Сказано — сделано. Наполеон Кост явился. Он подтвердил слова хозяина и сообщил некоторые дополнительные сведения.

Еще недавно гитара была самым популярным инструментом. Дамы высшего общества предпочитали ее всем другим. Париж был наводнен гитарами, гитаристами и гитарными сочинениями. Но тут вдруг вмешалась политика, как это бывает во Франции. В 1823 г. бежал из Мадрида в Париж знаменитый Гуэрта, автор гимна в честь генерала Риго, повешенного Фердинандом VII. Гимн перевели на французский язык и стали распевать:

L'âme allègre et sereine,
Vaillante, libre de chaîne

и т.д.

И вот гитара стала политическим инструментом. Гитаристы славили свободу, а это не нравилось правительству. Их начали высылать и сажать в тюрьму. Появились карикатуры, фельетоны и романы. Высшее общество отвернулось от гитары как от инструмента для черни, для рабочих, для санкюлотов.

— Вы, конечно, знаете роман Леона Гозлана “Аристид Фруассар”?

— Не имею понятия.

— Как же! Это знаменитый роман. Он произвел большое впечатление и окончательно погубил у нас гитару.

Там выведен один гитарист, друг Фруассара, беспутного гуляки и шарлатана. Его называют “La dernière guitare”. Над ним смеются, его романсов никто не слушает и не издает, а он мечтает о возрождении гитары и рассуждает так: “На свете есть только один инструмент, на котором можно объясниться в любви к женщине, не делаясь при этом горбатым, как играющие на скрипке, не становясь похожим на обезьяну, которая держит в руках палку и плюет в дыру, как это делают играющие на флейте, и не поворачиваясь спиной, как это приходится делать играющим на фортепьяно. Только на гитаре можно выразить охватившую вас любовь лицом к предмету, без гримас и без уродливых положений тела. И вот этот единственный инструмент проклинают, изгоняют, уничтожают! Я верну ему славу и репутацию”.

— И он совершенно прав! — воскликнул восхищенный этим рассуждением Николай Петрович. — Я хочу видеть этого Леона Гозлана. Это я говорил! Это моя идея!

— Нет, это я, — грустно улыбнувшись, сказал Наполеон Кост. — Я был знаком с этим Гозланом. Мы вместе кутили. Пустой человек, продажная душа! Знаете, как он стал писателем? Жил в Марселе, играл на гитаре и бедствовал. Стал думать — как бы разбогатеть? Набрал где-то деньжонок, купил сотню или две шампанского, погрузил на корабль и повез продавать в Африку. Продам, думает, по высокой цене, куплю чего-нибудь этакое африканского, привезу в Марсель, продам, куплю еще шампанского, опять повезу в Африку и т.д. Накоплю денег и уеду в Париж, стану знаменитым гитаристом. Только не успел он доехать до Африки, как все бутылки с шампанским взяли да и лопнули. От жары или от качки — не знаю. Это было похоже на пушечную стрельбу. На корабле была паника. Шампанское вылили в море, а Гозлан приехал в Африку матросом. Там он с горя влюбился в какую-то африканку и написал поэму, в которой воспевал крокодилов, носорогов, пальмы, пирамиды и женщин. Поэма имела успех, и он сделался писателем. Был даже секретарем у покойного Бальзака. Пишет без конца: романы, водевили, комедии. Но знакомиться с ним не советую. Пустой и неверный человек!

Николай Петрович слушал и думал: “Похоже на мою историю с откупами. Неужели и гитара лопнет? Тогда

я тоже сделаюсь писателем. Но сейчас надо сделать свою карьеру”.

— A bas Louis-Napoleon et Léon Gozlan! — воскликнул Николай Петрович.

Наполеон Кост испуганно оглянулся по сторонам и крепко пожал протянутую ему руку.

Они очень подружились. Наполеон Кост приходил почти каждый день и восторгался трелями Николая Петровича. Они играли на двух гитарах, а в промежутках беседовали о Луи Наполеоне и Леоне Гозлане.

Как-то раз Наполеон Кост пришел очень веселый и заявил:

— Гениальный план! Недаром же я состою музыкальным репортером? Дадим в хронике заметку: “На днях в Париж прибыл знаменитый русский гитарист, Nicolas Makaroff ученик Паганини. Его игра превосходит все до сих пор слышанное. Его трели феноменальны. Он скоро выступит перед парижской публикой”. Правильно? С русским гитаристом Луи Наполеон ничего не сможет сделать. Гитара будет восстановлена, Леон Гозлан будет посрамлен, вы сделаетесь знаменитостью, я брошу газету — и все будет в порядке!

Он быстро написал заметку и побежал в редакцию, а Николай Петрович сел обдумывать афишу.

Репертуар огромный — можно играть хоть сутки. 25 больших концертных пьес разных авторов, всевозможные вальсы, мазурки, рондо, и, наконец, собственные сочинения: Концерт № 1 (заново переделанный) и “Симфоническая фантазия”.

Но прошло несколько дней, а о Наполеоне Кост ни слуху, ни духу. И вдруг — потрясающее известие: Наполеон Кост *арестован!*

— Это шутики Луи Наполеона! — воскликнул Николай Петрович. — О, я все понимаю! Заметку обо мне перехватили, дали знать этому президентушке, а президентушка, напуганный моим приездом, велел арестовать Коста. Уж не собирается ли он арестовать и меня? Посмотрим!

Дело ясное! Луи Наполеон решил, что он приехал делать революцию при помощи гитары. Этаким дуралей,

трусилка! А еще президент республики! То ли у нас в России? Играй себе на гитаре сколько хочешь, никому до этого дела нет. Да, республика вещь негодная. Во главе государства должен стоять император, как у нас в России. Императору гитара не страшна. Если бы я был на месте Луи Наполеона, я бы обязательно сделался императором.

Николай Петрович высказал некоторые из этих своих размышлений хозяину. Хозяин совершенно с ним согласился и посоветовал ему сходить в парламент и послушать речи министров и депутатов, прибавив, что по Парижу ходят слухи о каком-то перевороте. Николай Петрович забеспокоился: неужели повторится Варшава? Везет же ему на всякие бунты и перевороты! Неужели опять плен, бочка, плевки в темя, пепел от сигары? Надо сходить в парламент.

Это было в конце ноября. Заседание было очень бурное, но бестолковое. Николай Петрович никак не мог понять, о чем идет речь. Один за другим высказывали на трибуну депутаты и выкрикивали какие-то слова, а сидевшие на местах непрерывно лаяли: “à-bas! à-bas! à-bas!” Особенно стало шумно, когда на трибуну вскарабкался пузатый министришка Давиель: он понес такую околесицу, что весь парламент захохотал. Давиель стоял красный как рак и вытирал платком пот, а председатель Дюпен поднял руку и, хитро улыбаясь, произнес: “Messieur bien ou mal, laissez parler le ministre!”

Тут поднялся такой гвалт и хохот, что ничего нельзя было разобрать.

Николай Петрович стоял на хорах. Вдруг среди всеобщего гвалта ему послышался чей-то пронзительный голос: “à-bas la guitare!” На самом деле это было, вероятно, что-нибудь совсем другое — какая-нибудь фамилия министра или депутата. Но Николай Петрович сразу поверил своим ушам и сразу догадался: “Это, конечно, Леон Гозлан, узнавший о моем приезде!”

Он отпихнул в сторону своего соседа, нагнулся через барьер и закричал во все горло:

A-bas Léon Gozlan! A-bas Louis Nap...

Рука соседа закрыла ему рот.

— Вы рехнулись, гражданин?

— Я — знаменитый русский гитарист Nicolas Makaroff, и я не позволю оскорблять гитару!

— А я — не менее знаменитый французский писатель Léon Gozlan, и я советую вам взять свои слова обратно!

Николай Петрович отступил, побледнел и кинулся вон из парламента.

Он засел дома и со скуки сочинил новую пьесу для гитары — “Венецианский карнавал”. Пьеса была замечательная. Соловей пускал трели, море шумело, а над морем проносились бешеные вихри хроматических гамм.

Но в действительности происходило нечто очень похожее: в парламенте раздавались трели французского красноречия, Париж шумел, а над Парижем проносились вихри политических страстей.

Николай Петрович узнавал о событиях от хозяина.

— Надо вам сказать, — сообщал хозяин, — что наш Луи Наполеон вроде как задумал стать императором. Все идет к тому. На улицах неспокойно. Кричат то “Vive la république” то “Vive l’empereur”. И надо вам сказать, что последние кричат громче.

Хозяин сообщал ему все последние новости: как маршал Сент-Арно продал республику Луи-Наполеону в уплату своих огромных долгов; как потом этот же Сент-Арно украл 300 тысяч франков из-под пресс-папье в кабинете императора и убил его ординарца; как маршал Маньян продал за полтора миллиона собственноручную записку Луи Наполеона, в которой значилось: “Tuez, massacrez tout!” и так далее, и тому подобное.

А Николай Петрович слушал и думал: “Понимаю: Луи Наполеон так испугался моего приезда, что решил провозгласить себя императором. Ну что ж! Каждый заботится о себе. Авось, став императором, он не будет так бояться гитары. Надо ему помочь”.

4 декабря, утром, он отправился на Итальянский бульвар — в отель, где жила компания русских. В это время войска проходили от церкви Мадлен к Порт-Сен-Мартену.

Николай Петрович стал у раскрытого окна. Какое прекрасное зрелище! Он высунулся из окна и закричал изо всех сил: “Vive l’empereur!” В ответ на это один из русских, стоявших позади, крикнул еще громче: “Vive la république”.

Раздался выстрел. Пуля пролетела над самой головой Николая Петровича и ударилась в стену. Он достал ее и положил в карман.

Луи Наполеон стал Наполеоном III. У него трон, двор и корона.

А у Николая Петровича — пуля в кармане и больше ничего.

Ни кола, ни двора. Вот именно: Nicolas Nidvoras!

ГЛАВА XXIX

ЕВРОПА С ГИТАРНОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

Итак, Германия, Бельгия, Англия и Франция обследованы. Ничего замечательного. Надежды на Париж лопнули, как шампанское у Леона Гозлана.

Остались: Италия, Австрия и Испания. Николай Петрович посетил и Флоренцию, и Рим, и Неаполь, и Милан, и Венецию. Архитектура интересная, но в гитарном отношении — нуль. Играют в трактирах — как у нас в Москве. И всюду говорят о политике — тоже как в Москве.

Рекомендовали ему в Неаполе некоего Иордана как гитариста “первого сорта”. Ну уж и первый сорт! Дребезг во всех струнах, ни чистоты, ни беглости, ни вкуса — только захлебыванье ртом и какие-то страшные гримасы.

Нет, Италия с гитарной точки зрения — страна безнадёжная.

Усталый и разочарованный приехал Николай Петрович в Вену.

Какой веселый, легкий, обаятельный город! Какое изобилие замечательных красавиц! Какие рестораны и какая дешевизна! Здесь можно отдохнуть от разочарований.

Собралась как-то компания русских, с которыми познакомился Николай Петрович, в Шенбрунн. Осмотрели дворец с портретами Марии-Терезии и пошли обедать на вокзал. Съели 9 блюд, выпили 2 бутылки красного вина и бутылку шампанского, а потом еще пили кофе и ели мороженое. И вот за весь этот прекрасный обед, со всеми прибавлениями, заплатили по два флорина и 50 крейц-

ров (т.е. по 1 руб. 50 коп.) с человека. Вход в вокзал стоил 12 крейцеров за место, да место в отличной крытой коляске стоило в оба конца 34 крейцера.

Итого: вся эта очаровательная поездка обошлась по 1 р. 80 коп. с человека.

В Петербурге или в Москве самая скромная прогулка в одно из наших увеселительных мест с плохим чаем, с рюмкой “светланы” или “шведской водки” (не пить же коревскую сивуху!) обойдется гораздо дороже, чем обошелся в Вене целый день, проведенный наиприятнейшим образом.

Но главное — гитара.

В этом отношении Вена тоже несколько утешила. Николай Петрович нашел здесь, во-первых, удивительного гитарного мастера Шерцера и, во-вторых, величайшего композитора современной гитарной музыки — Мерца.

В Вене вообще очень любят гитару. Не имея никого знакомых, Николай Петрович решил зайти к посольскому священнику — просто, чтобы с кого-нибудь начать. Оказалось, что батюшка — большой любитель и знаток гитары. И оказалось, что “херувимская”, например, очень недурно звучит на гитаре. Батюшка держался даже того взгляда, что духовная музыка выходит на гитаре гораздо лучше, чем светская. Но Николай Петрович с этим не согласился.

Мерц сам явился к Николаю Петровичу. Это был человек лет пятидесяти, ни худой, ни полный, очень скромный и совсем непохожий на гитариста. Он стеснялся и молчал, но как только заиграл свои сочинения, Николай Петрович понял, что открыл Америку. Это не то, что Падовец, Каркасси, Бобрович, Байер, Сусман, Кюффнер или лондонский Шульц. В сочинениях Мерца было все: богатое содержание, превосходная разработка и развитие идей (Даргомьжский позавидовал бы), свежесть и широта стиля, разнообразие и полнота гармонии, необыкновенно блестящие и смелые эффекты. Да, здесь было чему поучиться!

— Почему же вы не издаете?

— Никто не покупает. Не для кого!

Николай Петрович купил все его манускрипты. Гитара у Мерца была тоже замечательная. На ней было десять

струн и два грифа. По сравнению с ней гитара Николая Петровича звучала как дрянная балалайка.

— Где вы ее достали? Кто вам ее сделал?

— Здешний мастер, Шерцер.

— Ведите меня к этому Шерцеру.

На самом краю Вены, в маленькой квартирке жил этот мастер Шерцер: маленький, худенький человечек с грустным лицом.

— Я хочу иметь такую гитару, как у Мерца. У меня гитара работы Штауфера, но она устарела.

— Штауфера? — переспросил Шерцер сердитым тоном. — В котором году?

— В 1849.

— Две? Под палисандру?

— Совершенно верно.

— Вы господин Макаров?

— Точно так.

Шерцер ядовито улыбнулся.

— Эти гитары делал я. Собственными руками. И в этой самой комнате.

Он открыл шкатулку, порылся и достал письмо.

— Вот. Штауфер просит сделать две гитары для г. Макарова. И я сделал две гитары для г. Макарова.

Шерцер грозно смотрел на Николая Петровича.

— Сколько взял с вас Штауфер?

— По 80 флоринов.

— А я получил по сорока.

Он захлопнул шкатулку, поставил ее на место и сел за свой рабочий стол. Николай Петрович думал: “Вот как богатеют и жиреют торговые и многие прочие знаменитости, вроде Кокорева, на счет истинных, но скромных талантов”.

Он отсчитал 80 флоринов и положил на стол около Шерцера. Шерцер встал, поклонился и пожал ему руку.

Николай Петрович заказал ему новую, десятиструнную гитару и просил выслать ее к концу июля в Берлин, где он будет в это время проездом в Россию.

Испанию придется оставить на следующий раз. Тогда надо поехать с хорошей гитарой и с хорошими деньгами. А он несколько поистратился: и на дорогу, и на развле-

чения, и на манускрипты Шульца, и на манускрипты Мерца, и на гитары Шерцера.

Начался обратный путь: Прага, Дрезден, Лейпциг, Франкфурт-на-Майне, Крейцнах (где лечилась жена), Берлин.

На Берлинской таможне Николая Петровича ждал огромный ящик с новой гитарой. Превосходная работа! Большой формат, два грифа, 10 струн. Мало того: внутри, вдоль гитары, проходят два железных прута, благодаря которым верхняя дека не коробится и свободно вибрирует, а это увеличивает силу и певучесть тона. Мало того: двойная нижняя дека. Прежде дно гитары упиралось непосредственно в грудь играющего: сила звука поглощалась сукном платья. Второе дно устраняло это неудобство. Наконец, колки были механические, благодаря чему гитара настраивалась легче и вернее.

Все эти усовершенствования были изложены Шерцером в письме, приложенном к гитаре. Да, это был большой прогресс! Гитара звучала так, что могла соперничать с фортепьяно. Ну, держись теперь, Леон Гозлан!

С двумя гитарами и с женой сел Николай Петрович в Штетине на пароход “Владимир” и поплыл домой.

Здравствуй, любезное отечество!

Из Петербурга в Москву, из Москвы в Тулу, из Тулы в деревню.

“Привет тебе, приют священный!”

ГЛАВА XXX

ДЫМ ОТЕЧЕСТВА

В отечестве было все то же. Никаких переворотов. Как всегда — разговоры о каких-то предстоящих реформах. Как всегда — бесчисленные проекты и комиссии. И как всегда — ожидание какой-то войны. А сверх этого — славянофилы и западники.

Все это мало интересовало Николая Петровича — особенно после Европы. Он не славянофил, а потому само-

му и не западник. Западники — те же славянофилы, только навыворот. Он — человек международный, космополитический.

Такому человеку трудно жить в Петербурге, потому что он заполнен западниками; но в Москве тоже трудно, потому что она заселена славянофилами. Такому человеку надо жить в Европе.

Ну, а уж если приходится жить в скифо-татарской России, то лучше поселиться в деревне. Это, по крайней мере, дешевле.

Каково же было экономическое положение Николая Петровича после Европы? Говоря проще: сколько было у него денег?

Ответить на это нелегко.

Слово “деньги” имело в XIX веке два смысла: 1) капитал, 2) проценты.

Капитал было понятие абстрактное, философское. Оно таилось в каких-нибудь бумагах или в каком-нибудь деле. Только смерть разоблачила эту “вещь в себе”, переводя ее из области метафизики в область арифметики.

Реальным бытием обладали проценты. Ими поэтому и определялось сознание (тогда как капиталом определялось только настроение и отчасти — пищеварение). Мало того, проценты были казенные и частные. Казенными процентами пользовались люди непредприимчивые, неосознательные; остальные пользовались частными.

С Николаем Петровичем все это обстояло еще сложнее, потому что сознание у него было двойное: оно определялось не только процентами, но и гитарой. Мало того: большую роль в его жизни, как мы знаем, играла мечта, фантазия, затемнявшая деятельность сознания. Итак, умозаключать от его сознания к его процентам трудно, а прямо установить размеры получаемых им процентов невозможно за неимением документов.

Известно только одно. Вскоре по возвращении Василий Александрович Кокорев уведомил его, что оставляет откупное дело и просит получить обратно вложенный им в откупа капитал.

Легко сказать: получить обратно! А что он будет делать с этим капиталом? Положить на казенные проценты —

это значит сократить свое бытие, по крайней мере, вдвое. Этого Николай Петрович не хотел. А как найти частные?

Пришлось пуститься в аферу. В России, как это давно выяснилось, надо быть или помещиком, или чиновником, или купцом. Первое у Николая Петровича не получилось, второе не годилось. Оставалось третье.

Года четыре назад один иностранец устроил близ Шлиссельбурга некое промышленное заведение: известково-обжигательные печи и плитную ломку, с железно-конной дорогой. Окончив устройство этого заведения, иностранец умер, задолжав англичанам более тридцати тысяч. Заведение перешло к кредиторам; но не успели они затопить эти обжигательные печи, как вспыхнула восточная война. Кредиторы уехали в Лондон и поручили продать несчастное заведение хоть за гроши.

Обо всем этом Николай Петрович узнал от одного своего приятеля, товарища по гвардейской службе. Соединив вместе свои гроши, они купили это заведение. Скоро из труб повалил густой дым отечества, обещавший большие выгоды и проценты.

Приятель стал управлять заведением, а Николаю Петровичу пришлось переехать из деревни в Петербург, чтобы жить поближе к процентам.

Это произошло в 1885 году, после смерти Николая I. Славянофилы и западники зашумели еще больше, разговоры о предстоящих реформах усилились, проекты и комиссии росли как грибы. А сверх того, пошли слухи о крестьянских бунтах.

Но Николай Петрович не волновался: его бытие определилось. Он жил скромно, но с комфортом. Имел хорошую квартиру, свой экипаж, ложу в итальянской опере и один вечер в неделю, предназначенный для музыкальных собраний. А что касается крестьянских бунтов, то Николая I сменил Александр II. Значит — все в порядке.

Случилось еще одно событие, о котором надо было сказать раньше: жена его умерла скоро по возвращении из-за границы. Но он настолько был занят своей новой гитарой, что это никак особенно не отразилось на нем. Он уже стал привыкать к тому, что жены вообще быстро умирают. Впрочем, в дневнике появилось несколько скорбных

строк, но в свойственном ему патетическом стиле: “Разрывайся же теперь, мое сердце! Терзайся, моя душа! Лейтесь, жгучие, разъедающие слезы! Могила на кладбище Александровского монастыря вырыта, и 5 марта 1854 года в нее опущено тело обожаемой жены; и черный каменный крест возвышается теперь над нею и стоит грозным обвинителем и обличителем кривды и бесчеловечия... Мир праху твоему, добрая жена и друг!” Слова о кривде и бесчеловечии относились, по-видимому, к Кокореву.

Итак, в Шлиссельбурге из обжигательных печей шел дым отечества, приносящий проценты, а в Петербурге звенела венская десятиструнная гитара, обещавшая славу. И настроение, и сознание, и пищеварение были отличные.

На музыкальных собраниях, происходивших по четвергам, Николай Петрович угощал гостей своей гитарой и своими произведениями. Особенно нравился всем один романс, в котором Николай Петрович воспел свои поездки по откупам:

Однозвучно, гремит колокольчик,
И дорога холмится слегка,
И далеко по темному полю
Разливается песнь ямщика.

Столько грусти в той песне унылой,
Столько чувства в напеве простом,
Что в груди моей мертвой, остылой,
Разгорелось сердце огнем...

Мне припомнились ночи другие,
И родные поля и леса,
И на очи давно уж пустые
Набежала неволью слеза...

Однозвучно гремит колокольчик,
Издали откликаюсь слегка,
Призамолк мой ямщик..
А дорога
Предо мной далека, далека...

Под пальцами Николая Петровича гитара звенела как настоящие бубенцы под дугой.

Гости уговорили его выступить на любительском концерте в зале Петербургского университета. Он согласился и имел большой успех. В газетах было сказано, что граф А.Н. Кушелев-Безбородко, игравший на цитре, и Н.П. Макаров, игравший на гитаре, “смело могут соперничать с известными артистами”.

Правда, нашлись люди, которые говорили во всеулышание, что “в Петербурге нет ни одного сапожника, ни одного кучера, ни одного дворника, который не сыграл бы гораздо лучше”. Но ведь давно сказано: “никто не пророк в своем отечестве”.

Выступление это имело и более серьезные последствия. После концерта Николай Петрович познакомился с известным композитором и музыкальным критиком Бертольд Дамке. Этот Дамке, близкий друг Берлиоза, попал в 1845 г. в Петербург и так прославился, что застрял в нем на целые десять лет. Теперь он собирался вернуться в Брюссель и отдохнуть от уроков с благородными русскими девицами.

Николай Петрович рассказал ему о своей поездке по Европе и просил прийти в один из четвергов. Дамке явился. Разговор зашел о гитаре вообще и о том, что фортепьяно окончательно вытесняет ее. Дамке интересовался, как смотрит на это Николай Петрович.

— Фортепьяно самый прозаический инструмент, — говорил Николай Петрович. — Это даже не инструмент, а какая-то деревянная постройка, входящая в состав мебели. А многие чистосердечно верят, что вся музыка состоит, заключается и оканчивается на фортепьянных клавишах! Отнюдь! Фортепьяно — то же, что фотографический прибор, не больше. Увлечение им стоит в связи с современной тенденцией к материализму, с современным упадком вкуса. Золото музыки разменяли на медную монету.

Так говорил Николай Петрович, а Дамке не возражал. Это, конечно, очень смелые и парадоксальные мысли, но ему вообще нравилась эта русская смелость, этот русский радикализм. Его друг, Берлиоз, тоже очень любил смелость суждений. Надо бы познакомить Берлиоза с Макаровым, думал Бертольд Дамке.

Николай Петрович говорил очень много на тему о необходимости возродить гитару и о своих надеждах на это. И вот, наконец, Бертольд Дамке пришла в голову замечательная идея: он поедет скоро в Брюссель, а через некоторое время пусть приезжает туда же Николай Петрович и устраивает конкурс на лучшие гитарные сочинения и на наилучше сделанные гитары. Это привлечет интерес к гитаре, вызовет соревнование, обнаружит новые таланты и т.д. Берлиоз тоже, вероятно, заинтересуется этим конкурсом.

Блестящая идея! Дело, конечно, потребует расходов, но зато оно, скорее всего, принесет славу. А дым отечества оказался настолько прибыльным, что можно некоторую долю процентов пожертвовать на такое международное дело. Да здравствует Бертольд Дамке! Спасибо за идею!

ГЛАВА XXXI

СКАЗАНО — СДЕЛАНО

Николай Петрович сочинил обширную программу конкурса и сам перевел ее на французский язык. Русский текст он отнес в редакцию “С.-Петербургских ведомостей”, где она, без всяких возражений и изменений, появилась через несколько дней, а именно — 5 апреля 1856 г. (№ 78). Что же касается французского текста, то дело вышло иначе. Взгляды Луи Наполеона, очевидно, проникли даже в редакцию “Journal de St-Petersbourg”. Николаю Петровичу заявили, что программу могут напечатать только в том случае, если он заплатит за нее побуквенно, как за обыкновенное объявление. Иначе говоря, эту программу, написанную в стиле серьезной передовой статьи, напечатают на последнем листе, между объявлениями о вновь изобретенной вакцине и о Ждановской жидкости?!. Нет, на это он не может согласиться!

Вот русский текст этой передовой статьи (по-французски она звучит еще лучше).

ПРОГРАММА КОНКУРСА НА ПРЕМИИ ЗА ЛУЧШИЕ СОЧИНЕНИЯ ДЛЯ ГИТАРЫ И ЗА НАИЛУЧШЕ СДЕЛАННЫЕ ГИТАРЫ

В числе музыкальных инструментов, которые изгнаны из огромной семьи инструментов оркестровых, находится гитара. Грустная судьба этого поэтического инструмента, зашедшего к нам из отчизны Дон-Хуана! Бывший когда-то в большом употреблении и в моде инструмент этот в настоящее время почти вышел из употребления и сделался предметом или самого убийственного равнодушия, или самых злых насмешек и обвинений в своей неблагодарности, ничтожности и неспособности к выражению и к дельной музыке. Не входя в разбор того, насколько есть пристрастия и несправедливости в подобном приговоре, я сделаю несколько замечаний насчет главной причины современного неуспеха гитары.

Бесчисленные открытия и усовершенствования по всем отраслям наук, изящных искусств и промышленности, которыми ознаменовалась первая половина нынешнего столетия, отразились и на большей части музыкальных инструментов, в особенности на фортепьяно, которое усовершенствовано до того, что нет никакого сравнения между фортепьянами лучших нынешних мастеров и теми, какие делались лет двадцать назад. Что касается до гитары, то, осмеянная, зоброшенная, она не принимала ни малейшего участия в общем стремлении к усовершенствованию и влачила жалкую, чахоточную жизнь свою в руках тех немногих любителей и артистов, которые после смерти Мауро-Джулиани, величайшего гитариста и композитора гитарной музыки, не наследовали и тени его огромного таланта. Таким образом к бедности механических средств собственно инструмента присоединились и совершенные бедность и ничтожество современных сочинений, издаваемых для гитар и обличающих, с немногими исключениями, отсутствие вкуса и вдохновения, а порою и грубое незнание первых правил музыки. Правда, в последние годы в Вене сделано много улучшений к шестиструнной гитаре, к которой постепенно прибавлено еще четыре струны, и в которой, через увеличение ее объема, тон сделался гораз-

до сильнее и певучее, так что гитара много выиграла и в гармоническом и в мелодическом отношениях. Но эти усовершенствования не получили никакой гласности и, стало быть, прошли незамеченными и даже непринятными большею частью артистов и любителей гитары.

Итак, чтобы поднять гитару и вывести ее из того унижения и ничтожества, в котором она, музыкальный пария, томится в продолжение последних тринадцати лет, надо возбудить к ней сочувствие или, по крайней мере, любопытство публики вообще и музыкального мира в особенности. Достигнуть же этого можно не иначе, как дав сильный толчок сочинителям гитарной музыки, и особенно гитарным мастерам, который бы вывел их из китайской их неподвижности и, породив между ними соревнование, возбудив в них деятельность и вдохновение, произвел бы в этом запоздалом инструменте коренные перемены и самые неожиданные и блестящие усовершенствования, а вместе с тем талантливые сочинения доказали бы, что гитара способна к дельной серьезной музыке и к блестящему стилю и поразительным эффектам современной концертной и салонной музыки. Тогда гитара, возродившись, так сказать, и поднявшись во мнении артистов и любителей, могла бы занять почетное место не в числе инструментов оркестровых, на что она и не имеет претензии, но между инструментами салонными, которым и вне оркестра предстоит довольно обширное в блестящее поприще.

Теперь, руководствуясь моею бескорыстной любовью к музыке, и в особенности к гитаре, и для того чтобы возбудить соревнование и деятельность, о которых я сейчас говорил, в небольшом и безвестном гитарном мире, я назначаю следующие премии:

1) За наилучшее сочинение для гитары 800 франков (200 руб. сер.).

2) За второе лучшее сочинение 500 франков (125 руб. сер.).

3) За наилучше сделанную гитару 800 франков (200 руб. сер.).

4) За вторую лучшую гитару 500 франков (125 руб. сер.).

Вот правила, на основании которых должны быть присуждены премии:

ДЛЯ СОЧИНЕНИЙ ГИТАРНЫХ

Сочинения для гитары должны быть оригинальные или фантазии на известный мотив. Главное их достоинство должны составлять: оригинальность и изящество музыкальных идей и особенно правильное развитие и обработка этих идей; новизна стиля; вкус и блеск музыкальных эффектов вообще, а гитарных в особенности, так чтобы все сочинение было совершенно в духе и средствах инструмента и могло вполне выказать все его особенности и достоинства.

Сочинения должны быть написаны для шестиструнной или десятиструнной гитары, с аккомпанементом фортепьяно или квартета и без одного.

Каждый композитор может представить к состязанию по нескольку своих сочинений и имеет право получить один обе премии, если два из его сочинений признаются лучшими из всех присланных. Преимущество будут иметь еще и те сочинения, которые могут быть разыграны в присутствии присуждающих премии или самим композитором, или другим артистом, или любителем. В противном случае, то есть если некому будет исполнять какое-либо сочинение, премию оно может получить не иначе как тогда, когда, сверх музыкальных его достоинств, *его найдут возможным быть исполненным*, разумеется первоклассным гитаристом, ибо встречаются и встречались иногда такие гитарные сочинения, которых никто, даже сам сочинитель, не был никогда в состоянии исполнить и которые поэтому *принадлежат к музыкальной фантазмагории*.

ПРАВИЛА ДЛЯ ГИТАР

Гитары должны быть большие и преимущественно десятиструнные. Лишние четыре струны следующие басы: *contre D, G, contre C* и *contre H*. Терц-гитары к состязанию не допускаются.

Достоинства гитары должны составлять: сила, густота и звучность тона; при этом мягкость, нежность и певучесть, т.е. возможная продолжительность звуков и возможность делать на ней хорошие *vibrato, legato* и *portamento*.

Гриф гитары должен быть совершенно плоский, довольно широкий, преимущественно на винте, т.е. долженствующий заключать в себе полных две октавы. Особливо должен соединять в себе следующие редкие достоинства: чтобы струны лежали довольно низко и вместе с тем чтобы ни на одном их ладе не дребезжало, что бывает с большей частью грифов.

Колки должны быть преимущественно механические, но могут быть и простые.

Гитара должна отличаться чистотою отделки, но вместе с тем изящною простотою, и потому наружные украшения, если они не послужат к улучшению тона, не будут иметь никакой цены.

Конкурс должен происходить в Брюсселе, куда и должны быть присланы сочинения и гитары к октябрю сего 1856 года, т.е. к сроку, назначаемому для этого конкурса.

Николай Макаров.

Санкт-Петербург. 2 апреля 1856 г.

Номер “С.-Петербургских ведомостей” с этой программой Николай Петрович послал Бертольду Дамке в Брюссель, а через некоторое время получил от него номера французских (бельгийских) и немецких газет, в которых она была напечатана — и на вполне достойном месте.

Номер французской газеты Николай Петрович отправил в редакцию “Journal de St-Petersbourg”. К программе он написал эпиграф из Вольтера: “Никакое препятствие не останавливает победителя”.

ГЛАВА XXXII

БРЮССЕЛЬСКОЕ ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ

В Брюсселе Николая Петровича постигли сначала некоторые огорчения и неудачи.

Во-первых, Цани де Ферранти, на помощь которого он сильно рассчитывал, окончил перевод Ламартина и уехал на родину, в Болонью. Во-вторых, из Вены пришло известие о смерти Мерца — того самого Мерца, произведе-

ния которого Николай Петрович хотел предложить конкурсу на премии.

В-третьих, директор брюссельской консерватории, 72-летний старец Франсуа Фетис, принял Николая Петровича с высоты своего величия и заявил ему, что гитарный конкурс — смешная и нелепая идея, недостойная серьезных музыкантов.

Но скоро все благополучно и даже блестяще устроилось. Бертольд Дамке познакомил его с лучшими брюссельскими музыкантами и профессорами консерватории, в числе которых были такие знаменитости, как Серве, Леонар, Блаз, Бендер, Куффра и др. Все они приветствовали идею конкурса и обещали свое содействие.

Затем Бертольд Дамке посоветовал Николаю Петровичу выступить перед брюссельской публикой и тем самым популяризировать свою идею. Николай Петрович выступил 23 сентября, в час пополудни, в зале филармонического общества. День и час были выбраны неудачно: в это же время происходил блистательный концерт в Зоологическом саду, в присутствии всей королевской семьи. Однако на концерт Николая Петровича собралось все-таки до четырехсот человек.

Он играл один, без малейшего постороннего содействия. Гитара раздавалась на всю залу — так громко, что входившие с улицы в сени принимали ее звуки за фортепьяно.

Вещи самого Николая Петровича произвели большой фурор — особенно мазурка и “Венецианский карнавал”, сочиненный им еще в Париже. В этом карнавале есть эффекты, от которых дрогнула вся зала: играется тема на басах и в то же время слышится быстрейшая трель на верхних нотах, играемая на двух струнах четырьмя пальцами. В Париже эти эффекты, как известно, вызвали политический переворот; в Брюсселе все сошло благополучно: ни бельгийский король Леопольд, ни его министры не боялись гитары.

Наоборот!

После концерта к Николаю Петровичу подошел товарищ министра финансов г. Адан. Он был страстный любитель гитары и слышал всех знаменитых гитаристов: Ка-

рулли, Джульяни, Леньяни, Сора, Агуадо, Штоля, Цани де Ферранти, Гуэрту. Пожав ему руку, он сказал: “Никто не подвинул так сильно гитарную технику, как вы; ни у кого не слышал я таких трелей”. А на другой день на квартиру Николая Петровича явился огромный курьер с огромным конвертом, на котором стояла печать министра финансов. “Деньги!” — мелькнуло в голове Николая Петровича. — Понимаю: министерство финансов дает мне субсидию на устройство конкурса и ассигнует капитал на открытие гитарной школы в Брюсселе. Вот здорово!” Но в конверте оказался манускрипт “Rond”, сочиненного г. Аданом и посвященного Николаю Петровичу.

Денег в конверте не обнаружилось.

Жаль, конечно, что г. Адану не пришла в голову эта мысль, но, во-первых, она, может быть, еще придет, а во-вторых — это не так важно. В Брюсселе — необыкновенная дешевизна, и не только на съестные припасы, но и на концерты. Все устройство концерта, вместе с афишами, стоило 21 франк, т.е. 5 руб. 25 коп., а именно: 6 франков за афиши (с расклейкой по домам) и 15 франков привратнику филармонического общества, который проветривал залу, зажигал свет и расставлял стулья и скамейки. И то директор общества ужасался такой расточительности и находил, что он заплатил привратнику “по-княжески”.

После этого концерта о Николае Петровиче заговорил весь Брюссель — по крайней мере тот “весь Брюссель”, который был нужен Николаю Петровичу. Он торжествовал. “Слава, слава! Наконец-то я тебя завоевал!” — восклицал он, нежно прижимая к груди свою единственную подружку, венскую десятиструнную гитару с двойным дном и с двумя железными пружьями внутри.

За первым успехом последовали второй и третий.

В Брюсселе жили два брата Даннетан, бароны. Один барон Даннетан был секретарем короля Леопольда, а другой барон Даннетан был генеральным сборщиком податей. Оба барона были большими любителями музыки.

Сначала был устроен вечер у одного барона (сборщика), потом у другого (секретаря). На первом Серве играл на виолончели, а Николай Петрович на гитаре. Он исполнил произведение Мерца и заслужил громкие

рукоплескания. Второй вечер был более блистательным. Серве превзошел себя, потом бесподобно пела молодая и прекрасная собой графиня Росси, потом играл на фортепьяно Бертольд Дамке и наконец Николай Петрович на гитаре.

Он играл дважды: в начале вечера и в самом конце. Шумные рукоплескания наградили и исполнителя, и память покойного композитора. Под конец Серве сыграл свой блестящий “Souvenir de Varsovie”. Но этим дело не кончилось. Хозяйка дома подошла к Николаю Петровичу и попросила его сыграть еще раз.

— Как, баронесса! Играть на гитаре после пения графини Росси и после виолончели г. Серве? Это была бы неслыханная дерзость!

Но тут подошел Бертольд Дамке и сказал вполголоса:

— Сыграйте свой карнавал.

Николай Петрович сел на стул, прижал к груди свою подругу, призвал на помощь тени великих гитаристов — и начал.

Победа была полная. Графини и баронессы жали ему руки и говорили самые любезные похвалы.

После этих выступлений к Николаю Петровичу кинулись гитаристы разных наций.

Сначала явился поляк Щепановский, которого Николай Петрович помнил по его провалу в Петербурге, в зале Михайловского театра. “Я, — заявил он, — первый гитарист в Европе. Играл в Лондоне, в Париже, в Вене, в Константинополе, а в Петербурге убил своей игрой пианиста Лешетицкого”. А Николай Петрович ответил ему: “Не знаю, как было дело в Константинополе или в Томбукту, но о ваших петербургских лаврах я помню и советую вам говорить о них скромнее”. Щепановский покрутил свои длинные рыжие усы, помычал, пожал плечами и испарился.

Вторым пришел некто Ирадье — “chevalier de l'ordre de Charles trois, professeur du chant au conservatoire de Madrid et ci-devant maître de chant de l'impératrice des français”, как значилось на визитной карточке. Это был веселый, откровенный и бесцеремонный испанец. Он вихрем влетел в комнату, стал болтать, брэнчать на гитаре, петь ис-

панские народные песни, с пристукиванием, с прищелкиванием и с присвистыванием. Потом наконец умолк и попросил Николая Петровича сыграть ему. Николай Петрович сыграл фантазию Мерца на тему из “Moteschi”. Ирадьё вскочил, вытаращил глаза, ударил себя кулаком по лбу и заорал: “Вы меня убили!” Оказалось, что он начал готовить для конкурса фантазию на ту же тему.

Третьим пришел Чибра — тоже кровный испанец, из Севильи, но переселившийся сначала в Лондон, а потом в Париж. Игра его была замечательна, но только в медленных темпах — *largo*, *adagio*, *andante*. Как только дело доходило до *allegro* или *presto*, так появлялся резкий металлический звук — недостаток почти всех испанцев. Они отпускают на правой руке длинные ногти и держат пальцы над струнами не отвесно, а облически: не ударяют ногтем по струнам, а только налагают его и потом скользят со струны на гриф. Певучесть получается необыкновенная: гитара вздыхает, стонет и рыдает; но в быстрых темпах ногтевая метода никуда не годится. А нельзя же держаться только на *largo* да *andante*. Нельзя кормиться только сладостями: необходимо иногда и мясо, а иногда и горчица, и перец.

Поговорив с ним об испанской ногтевой методе, Николай Петрович спросил его:

— А не знаете ли вы, что случилось с моим бедным парижским другом Наполеоном Кост?

Не успел Чибра ответить, как дверь распахнулась — и в комнату влетел сам Кост. Какая неожиданность!

— Что в Париже? Как гитара? Как Наполеон III?

— Все в порядке. Ждут вас. Страх перед гитарой прошел.

— Я так и думал! Гитара страшна только для республики. Из Брюсселя я приеду в Париж и дам концерт. Ну, держись теперь Леон Гозлан!

Кост отвел Николая Петровича в сторону, взял его за руку и сказал вполголоса:

— Друг мой, все надежды на тебя. Как хочешь, а премия должна быть моей.

Николай Петрович ответил ему тоже вполголоса:

— Постараюсь. Сделаю все, что возможно.

Последними явились к Николаю Петровичу два молодых испанца из Гибралтара: дон Навале и дон Пасквале, скрипач и пианист. Они уговаривали его посетить их отечество, ручаясь, что его, вместе с гитарой, пронесут на руках с одного конца Испании до другого и обратно. Николай Петрович сиял от счастья и говорил, что Испанию он считает своей духовной родиной и что весной он непременно совершит это поэтическое путешествие.

Итак, впереди — мировая слава!
А где слава, там и деньги.
А где слава и деньги, там и любовь.
А где слава, деньги и любовь, там и счастье!

ГЛАВА XXXIII

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС

Как, вообще, начинать конкурс?

Ясно: обедом.

Всех членов будущего жюри Николай Петрович пригласил в ресторан Дюбоста (брюссельский Донон) и угостил их великолепным обедом.

Собралось девять человек, а блюд было съедено двенадцать и притом самых тонких: и остендские устрицы, и суп из черепахи, и омары, и страсбургский пирог, и разная рыба, и всевозможная дичь, а затем изысканный десерт, кофе и ликеры. Сверх того было выпито: две бутылки шабли с устрицами, шесть бутылок превосходного старого бордо (лучше крымского) и четыре бутылки шампанского “*moг glасé*”. Знай наших!

Ну, а как вы думаете: сколько стоил этот превосходный обед в лучшем брюссельском ресторане?

В архиве Николая Петровича сохранилась карта этого исторического обеда. Все вместе стоило 149 франков и 90 сантимов, что составило бы на наше серебро или, вернее, на нашу медь — 37 руб. 47 коп. А так как всех было девятеро, то на каждого приходилось по 4 руб. 15 с третью коп.

А вот — другая карта, сохранившаяся от обеда у знаменитого петербургского ресторатора в Большой Морской — только не у Дюссо, а у его визави, Бореля. Всех было четверо. Обед состоял из шести блюд, и не самых тонких. Смешно сказать: щи из щавеля, потом котлета со щавелем (!), потом кусок засушенного судака с кусочком лимона и тетерка, от которой, как от гоголевского Петрушки, шел “свой собственный запах”, очень сильный. Вот и все. При этом выпито было: две рюмки “светланы”, четыре рюмки дрянного хересу, бутылка Лафиту (тоже очень так себе!) и рюмка коньяку. Ну и кофе, конечно, и вот вся эта мизерность стоила 13 руб. 25 коп., то есть по 3 руб. 31 коп. с человека.

Вот и живите после этого в Петербурге! Борелю-то хорошо, но посетителям его заведения скверно. После Дюбоста Николай Петрович и на другой день не мог ничего есть и даже думать об еде, а после Бореля пришлось дома плотно поужинать.

Итак, конкурс начался блестяще. Были приветствия, тосты, речи и анекдоты. Один из членов жюри предложил, между прочим, тост за здоровье Франсуа Фетиса, который праздновал недавно 50-летний юбилей своей музыкальной деятельности. Николай Петрович, слегка подвыпивший, крикнул “долой!” и выругался. Произошло некоторое смущение, но ненадолго.

Через несколько дней, 16 октября 1856 года, жюри собралось на квартире у Николая Петровича. Это было уже деловое заседание. Президентом был избран, конечно, Николай Петрович — единогласно и при шумных аплодисментах. В ответ на это он произнес речь, в которой подробно развил главные тезисы программы. Возражений не было.

Затем были выработаны условия и правила относительно присылки на конкурс и обратной отсылки гитар и гитарных сочинений. Днем присуждения премий было назначено 1 декабря (потом он был переложен на 10 декабря). Это постановление было сейчас же опубликовано в брюссельских газетах, а отсюда перепечатано во французских и немецких газетах.

И вот со всех концов мира стали приходить гитары и сочинения, сочинения и гитары. Сочинений было полу-

чено 64, а гитар 7: одна из Вены от Шерцера, одна из Петербурга от Аргузена, одна из Парижа (ага!) от Лакота, одна из Праги, две из Мюнхена и еще две из Вены, опоздавшие.

Вместе с сочинениями приходили обыкновенно и письма, в которых Николая Петровича называли покровителем гитары и титуловали то бароном, то графом, то князем. Некоторые письма были очень оригинальны. Вот для примера одно:

«Ваша светлость (Monseigneur)

Господин граф.

Посылаю при сем вашему уважаемому Конкурсу три пьесы, написанные мною для гитары. Одна — по случаю моей страстной любви, увенчавшейся браком (*Mazourka générale*), другая — по случаю смерти тещи, очень злой женщины (*Marche funébre*), третья — по случаю происшедшего на прошлой неделе в моей квартире пожара (*Fantasia sans fin*). Она замечательна тем, что ее можно играть без конца.

Прошу уважаемый Конкурс выслать мне как можно скорее до востребования объявленные 1300 франков за два сочинения — третье отдаю даром. На эти деньги я приобрету себе новую мебель, новую и гитару (старая сгорела в огне пожара) и новую квартиру, а также и новую жену, потому что старая моя жена тоже сгорела.

Шлю привет вам, господин граф, и вашему уважаемому конкурсу».

Следует подпись и адрес.

Настало 10 декабря. В 8 часов вечера члены жюри собрались на квартире у Николая Петровича. Прежде всего был поставлен вопрос, как вотировать премии: с прениями или без прений? Решено: сначала прения, потом премии.

Из 64 сочинений допущено было к конкурсу 40, а из этих 40 были признаны достойными премий только: 4 сочинения Мерца, 4 — Коста, 2 — Комарного и 1 — Кеннеля. Итого — 11.

Начались прения. Николай Петрович произнес хвалебную речь о Мерце и его сочинениях. Вдруг раздался голос:

— Позвольте! Да ведь Мерц умер! Заявляю отвод.

Это был голос того самого члена, который предложил на обеде тост за Фетиса. Он, очевидно, решил отомстить Николаю Петровичу. В ответ на его слова послышались разнообразные восклицания: “Правильно!”, “Это не считается!”, “Долой мертвецов!” и пр. Николай Петрович растерялся, а ядовитый член жюри продолжал:

— В программе не указано, что мертвецы могут участвовать в нашем конкурсе. У моего покойного дядюшки тоже есть прекрасные гитарные сочинения.

Поднялся шум. Довольный скандалом, ядовитый член, поворачиваясь направо и налево, громко ораторствовал:

— Этак, господа, все наши премии пойдут на могильные памятники? Мы — не похоронное бюро и не общество для выдачи пособий вдовам и сиротам. Умер — и Бог с ним! “Спящий в гробе мирно спи!”

Наконец Николай Петрович нашел выход из положения. Он потребовал тишины и заявил:

— Господа! Мы здесь не формалисты, не чиновники, а музыканты, люди вольной профессии и вольного мышления. Стыдно нам ссылаться на бумажку! Покойный Мерц — самый замечательный композитор. Мы не виноваты, что он умер. Для нашего конкурса он не умер. Он умер в октябре, а эти сочинения я получил от него еще летом, в Петербурге. Итак, даже с формальной точки зрения он в отношении к конкурсу как бы не умер.

Раздались голоса: “Правильно!”, “Ерунда!”, “Довольно!” и др.

Перешли к вотированию. Большинством голосов решено: так как смерть Мерца приключилась *после* опубликования программы конкурса и так как, сверх того, вещи, присланные на конкурс, были сочинены им еще при жизни, считать, что в отношении к конкурсу он как бы не умер.

Но ядовитый член не успокоился.

— У Мерца грубые ошибки. В его концертино неправильно разрешены септимы.

“О, эти септимы!” — подумал Николай Петрович.

— Покажите, покажите! — зашумело жюри.

— Вот, полюбуйте: в этом аккорде стоит соль-диез вместо ля-бемоль.

Действительно у Мерца стояло несомненное сольдиез. Наступила напряженная тишина. Тогда Николай Петрович вскочил со своего президентского кресла и стал кричать:

— Разве вы не понимаете, что это нарочно? Разве вы не знаете, что гитаристы боятся бемолей как огня? Подумаешь — какая ошибка! Разве уши пострадают от этого? Кто мы здесь: гитаристы или канцеляристы? Позор!

Он схватил гитару и сыграл спорный такт. Уши не страдали: разрешение септимы звучало превосходно. Ядовитый член был вторично посрамлен. “Довольно! К черту септимы! Вотировать!”, — зашумело жюри.

Принесли урну.

— Господин Макаров! — раздался опять тот же голос.

— К черту! Довольно! Вотировать! — шумело жюри.

Николай Петрович постучал карандашом. Стало тихо.

— Господин Макаров! — продолжал ядовитый член, — если случится, что покойному Мерцу достанется не первая, а вторая премия, вы тоже будете протестовать и ругаться?

— Я буду огорчен, но подчинюсь решению большинства. На билетиках написали по два имени — для первой и для второй премии. Секретарь опрокинул урну. Билетики лежали перед Николаем Петровичем. Сердце у него сильно билось, когда он стал подсчитывать.

Ух! он вздохнул полной грудью и объявил:

— На первую премию: Мерц — 4 голоса, Кост — 2 и 1 голос за какого-то Фрица.

— Это мой покойный дедушка, — заявил ядовитый член.

— Итак, первая премия присуждена Мерцу!

— “Со святыми упокой!” — запел приятель Фегиса.

Секретарь подсчитал вторую премию:

— Кост — 4 голоса, Кюннель — 2, Комарный — 1. Вторую премию получил Кост.

Вопрос о гитарах был решен без прений и без скандалов: первую премию получил Шерцер, вторую — Аргузен.

В заключение Николай Петрович сыграл на каждой из увенчанных гитар по пьесе и объявил, что обе гитары покупает в собственность. При прощании он преподнес

каждому члену жюри по два фунта превосходного чаю из Петербурга. Ядовитый член получил такую же порцию и был тронут. Таким образом, конкурс кончился совершенно благополучно.

Теперь — в путь за мировой славой!

ГЛАВА XXXIV

ЛЮБОВНАЯ ИНТЕРМЕДИЯ

Но дело было не в одной славе. Где слава, там и любовь.

Читателю уже известно, что Николай Петрович был крайне влюбчив. Но до сих пор, по естественным условиям и законам сюжетосложения, мы останавливались только на тех его увлечениях, которые либо кончались законным браком, либо приводили к каким-нибудь серьезным последствиям (как, например, история с Аннетой Геслинг). Теперь надо дать простор этой теме и этим фактам — хотя бы в виде передышки, в виде интермедии, отделяющей гитарную часть от части следующей, уже ничего общего с гитарой не имеющей.

Это тем более уместно, что давно уже мы не давали слова самому Николаю Петровичу. А делать это хоть изредка необходимо, чтобы читатель слышал его собственную речь — получал непосредственное ощущение его личности. Именно о своих любовных увлечениях и приключениях Николай Петрович рассказывает очень выразительно и оригинально. Это целое обозрение, построенное хронологически.

Итак, слово предоставляется Николаю Петровичу Макарову.

ХРОНИКА МОИХ ЛЮБОВЕЙ, ЛЮБОВНЫХ ЭПИЗОДОВ И ЛЮБОВИШЕК

ПРОЛОГ

Расскажу о том, каким я был сердечкиным.

Мне кажется, что прежде нежели явиться на свет, мне была дана специальная миссия — влюбляться. Создав-

ший меня отдал моей душе строжайший приказ: “Иди, воплощайся, родись дворянином на берегу Чухломского озера, назовись Николаем, имей безотрадное младенчество и будь: сначала гвардейским офицером, потом служителем питейного дела, потом знаменитым гитаристом, потом еще тем-то и тем-то; будь мечтателем, добрым малым для всех, умным для немногих, Иовом многострадальным, рыцарем Дон Кихотом и пр., но главное — влюбляйся и люби, люби и влюбляйся, и потом — опять влюбляйся и люби, и так до бесконечности. Ну, валяй! Марш!”

Как же после этого не влюбляться? Невозможно не влюбляться. Начальство приказало! А я никогда не осмеливался ослушиваться начальства. Вот я и тер любовную ляжку. А теперь буду историографом моего любвеобильного сердца.

Вызываю воспоминания, начинаю считать по пальцам и насчитываю сперва 10. Мало. Проверяю, припоминаю еще и дохожу до 22 любовных кампаний. Потом вспоминаю еще о четырех. Если бы поусердствовать, так можно было бы насчитать еще столько же, да не стоит; то была мелкота и большею частью без *air fixe*.

Итого — 26!

В военной службе за каждую кампанию дают по медали. Если бы давали также и за любовные, грудь моя была бы украшена 26 медалями! Каково!

Итак, сердце мое растворялось 26 раз — то настезь, то на одну половинку, то чуть-чуть. Приступаю к описанию этих моих любовей, любовных эпизодов и любвишек. Для наглядности буду обозначать первые знаком +, вторые знаком ×, а третьи звездочкой.

Начинаю.

№ 1

АННЕТА ЗЕЙФЕРТ

Это было на седьмом году моего возраста, в Чухломе. Аннета была воспитанница одной знакомой вдовы, одних лет со мной: кроткое, веселое, живое создание с большими голубыми глазами. Это было чувство непорочной любви между двумя младенцами, чувство неземное, а чисто

небесное, еще так близкое к своей небесной родине. Поэтому я не буду распространяться о нем.

№ 2

*МАШЕНЬКА НЕВЕЛЬСКАЯ

Мне было десять лет — и я влюбился в Машеньку, в кузину моего кузена. Мы вздыхали, мы мечтали, вписывали пренежные стишки в альбомы друг другу и даже целовались. Потом Маша уехала к бабушке. В 1835 г. я встретил ее в доме дяди. Моя Дульсиня превратилась в толстую Марью Ивановну и была женой почтмейстера. Он охал и молчал, а она вздыхала и, обращаясь ко мне, говорила, картавя: “Вы — друг моего детства”.

№ 3

*МАШЕНЬКА МАЛИЦЫНА

Эта Машенька воспитывалась у той самой тетки Шиповой (в Богородском), у которой воспитывали и меня от 1821 до 1823 года. Ах, какая она была милая! Когда меня увозили в Варшаву, мы горько плакали и горячо целовались. Она мне подарила бисерный кошелек и шнурок для часов собственной работы. Долго хранил я эти вещи и целовал их каждый вечер перед сном! Потом они куда-то исчезли. Тетка ушла в монастырь — и я потерял всякую связь с Машенькой. А и теперь, как вспомню, в сердце моем происходит что-то необыкновенное: и сладко, и горько, и отраднo, и плакать хочется. Машенька, где ты? Отзовись!

№ 4

*ЭМИЛИЯ ГЛАДКОВСКАЯ

Как уже известно, в Варшаве мы поселились на Закрочимской улице. Управляющий домом был некто Гладковский. У этого Гладковского было три дочери: старшая — Клементина, брюнетка, только что вышедшая замуж; вторая — Эмилия, прелестная блондинка с чудными голубыми глазами; третья — Констанция, шатенка, моя ровесница, будущая оперная знаменитость.

Мы очень подружились с Констанцией: играли,

ссорились, мирились и опять ссорились. Она была на-смешница и прозвала меня *makaron do rosolu* (макароны в супе). Эта самая Констанция сделалась потом предметом первой и, увы! несчастной страсти тогда малоизвестного, а впоследствии знаменитого Шопена (в Варшаве его называли Шопин). 15 октября 1830 г. она выступала в концерте вместе с Шопеном. Вся в белом, в венке из роз, она пела каватину из оперы Россини “Дама у озера” (“*quante lacrime per te evrsai!*”). А потом Шопен уехал, а она вышла замуж за какого-то помещика и ослепла.

Но с Констанцией я только дружил, а влюбился я в голубоокою Эмилию. Она была одна из самых пикантно-прелестных и романтических мечтательниц. Хотя ей было 18 лет, а мне всего 14, но она не побрезговала мной и “романсовала” со мной вовсю. “Романсовать” — непереводаемое польское слово, заключающее в себе целый мир всевозможных приемов ухаживания и оттенков платонической любви. Потом мы переехали на другую квартиру, потом я стал прапорщиком и забыл про Эмилию.

Прошло пять лет. Сменяюсь я с караула, веду солдат в казармы, поднимаю голову кверху — и вижу в окне одного дома голубые глаза Эмилии, такой же пикантно-прелестной, как и прежде. Что мне было делать? Она улыбнулась, я отсалютовал саблей — тем дело и кончилось. Как я потом узнал, она была на содержании у одного из наших литовских офицеров. Счастливец!

№ 5 и 6

* ПАННА КАТАРЖИНА И *ПАННА АНЗЯ

У цесаревича Константина Павловича служил берейгором некий Гаврилов. Он был мастер, виртуоз своего дела и нисколько не боялся цесаревича. Цесаревич кричит на него, а он усмежается. Цесаревич поднимает на него хлыст, а он завопит: “Подерись, батюшка, подерись! Только лошадей-то я тебе больше выезжать не буду. Шабаш!” При такой страшной угрозе —

Все кипенье в миг прекращается,
И рука вдруг с хлыстом опускается,
Цесаревич уж добр, не ругается,

А напротив — зело улыбается
И Гаврилова он уж потом
Хочет ласкою взять, не хлыстом.

Так вот у этого Гаврилова была дочь Катерина. Ну и Катерина! Восемнадцать лет, роскошный античный бюст, лебединая шея, чудный цвет лица, волосы русые с красноватым оттенком (как у Кардевилль в “Парижских тайнах” Евгения Сю); большие черные, огненные, смелые, вызывающие глаза с длинными ресницами; полные, сочные розовые губки на маленьком ротике с перловым рядом зубов и с дыханием жарких полуденных стран. При этом ловкость и гибкость серны, ум острый, жгучий, сердце страстное, вулканическое. А движения, а жесты! Величественные, как у королевы, а порою резкие, как у пуассардки. Словом — это была разжигательнейшая из всех встречавшихся в моей жизни красавиц. И вот с такою-то красавицей и ультрапоэтической женской личностью привелось мне иметь общение, и очень короткое, в продолжение четырех лет.

А у нее была подруга, сиротка, панна Анзя — прелестная блондинка с задумчивыми голубыми глазами, тихая, скромная, робкая. Одним словом — полный контраст!

Это была замечательная школа для сердца и ума. Бывало, сижу я на диване между двумя молодыми красавицами: с правой стороны панна Катаржина, а с левой — панна Анзя. Панна Катерина согреет, разожжет, обласкает, вскипятит всю кровь, а панна Анзя сидит грустная — и вдруг влажный алмаз блеснет в лазури ее отуманенных очей, и крупная слеза, словно жемчужина, медленно скатится с ее длинных ресниц. А в следующий мой визит — панна Катаржина не в духе: исцарапает, изранит меня; зато панна Анзя повеселеет и наложит бальзам горячего участия на мои ожоги.

Так и дышал я воздухом двойной любви. Это был университет, в котором я прошел полный курс (4 года) любовного факультета и получил диплом на доктора и специалиста любви и всевозможных нежных и страстных чувств.

№ 7
+ШАРЛОТХЕН

История с Шарлотхен (в Вольбоже) была выше изложена.

№ 8
× ИОГАСЯ

История с Иогасей (в Кельцах) была изложена выше.

№ 9
*ТЕКЛЯ ОЛЕНСКАЯ

Это было во время плена, в Шавлях. Я бывал на балах у литовских помещиков и на одном из таких балов познакомился с хорошенькой шатенкой — Теклею Оленской. Я был ослеплен, опоем, поработан. Что я писал тогда в дневнике! Это был пожар воображения, поток бурных, клокочущих чувств. Тут подошло освобождение и отпуск, а я не могу оторваться от Текли. Приятель мне говорит: “Одумайся! В кого ты влюблен?.. в Феклу!” — “Нет, не Фекла, а Текля!” — “Ну пусть Текля. Бери дорожную и отправляйся в дорогу. Тебя так растрясет, что на десятой станции ты и думать перестанешь о своей любви”.

Я махнул рукой — и двинулся в путь. И в самом деле: не на десятой, а уже на пятой станции я забыл свою Теклю.

№№ 10, 11 и 12
*КРЫЖАНОВСКАЯ, *ИДА КНОРРИНГ
И +АННЕТА РЕССЛИНГ

О них было уже рассказано.

№№ 13 и 14
*ЛИЗА ЛЬВОВА И НАТАЛИ КУПРЕЯНОВА

Об этих — два слова. Это были любвишки во время жизни у дяди, в Солигаличском уезде, в 1834 г. Сначала я хотел жениться на Лизе Львовой, потом — на Натали Купреяновой. Но одна оказалась невестой инженера, за кото-

рого и вышла, а другой оказалось не 20 лет, как я предполагал, а 36. Узнав об этом от дяди, я бежал от нее, как ошпаренный кот.

№ 15

+АЛЕКСАНДРА БОЛТИНА

Эпопея об этом ангеле во плоти подробно рассказана выше.

№№ 16 и 17

+ЕЛЕНА И ЕЛИЗАВЕТА КАРЛОВНА

После смерти первой жены, этого ангела во плоти, я жил некоторое время в Петербурге, в огромном доме Штольца на Обуховском проспекте, у шурина (старшая из его дочерей-двойняшек вышла потом замуж за известного сатирика Салтыкова-Щедрина).

Живу хорошо, без всякого дела — просто шалберничаю: играю на гитаре, езжу в концерты, в итальянскую оперу, обедаю у Болтина. Но сердце томится, жаждет чего-то...

И вот встречаю раз на лестнице прехорошенькую миниатюрную девочку. Мы переглянулись и улыбнулись. На другой день — опять, а на третий мы заговорили и познакомились. Она служила камеристкой у полковницы Елизаветы Карловны, которая жила на одной со мной площадке. Хорошенькую Леночку (ей было 17 лет) пленила моя игра на гитаре — и мы подружились. Я провел очень приятный месяц. Но вот встречаю я раз на той же лестнице даму... Боже! Писаная красавица и, с тем вместе, *belle femme* с роскошнейшими формами... Черт возьми!

Оказалось, что это и есть Леночкина госпожа, полковница Елизавета Карловна. Леночка сообщила мне, что она живет врозь с мужем, а деньги ей дает некий Александр Петрович, который служит у гр. Клейнмихеля. Он бывает почти каждый день — они обедают, ездят в театр, за город и т.д. Так вот оно что! Отлично.

Дело было накануне нового года: купил я четыре фунта конфект у Балле (лучшего тогда кондитера), уложил их в хорошенькую картонку и написал записочку: “Пре-

красной соседке от очарованного соседа” и пр. Ну, а потом все пошло как по нотам. Соседка объявила, что она страстная любительница гитары. Я предложил ей устроить музыкальное утро у меня в комнате. Музыкальное утро удалось вполне — мой талант был оценен по достоинству. После этого наши музыкальные сеансы и упражнения повторялись и учащались.

Они происходили уже у нее в квартире и иногда затягивались на всю ночь, до самого утра.

Но вдруг случилась беда. Пятилетняя дочь полковницы, *enfant terrible*, спросила как-то мамашу в присутствии Александра Петровича:

— Мамаша, кто это выходил от нас вчера утром?

— Как кто? Дядя Саша.

— Нет. У дяди Саши нет усов, а у того усы.

Картина бури. А на другой день мне передали ульгиматум и длинный реестр: “На квартиру и стол столько-то, на туалет столько-то, на выезды в театр столько-то” и еще, и еще. А в итоге бюджета — весьма почтенная цифра.

Пробежал я этот реестр, вздохнул, махнул рукой и сказал: “Спускаю свой флаг и ретируюсь”. Будущее мое не было обеспечено и зависело от прихоти самообожавшего афериста и проходимца. А у меня две сиротки, которым я должен заменить мать. Я всегда чтил всякий долг, а тем более — долг отца семейства. И вот — я разорвал, растерзал свое сердце.

Меня обуяла мрачная тоска. Некоторое время меня утешала милая крошка Леночка, но мысль, что рядом со мной, на той же площадке находится земной рай, из которого я изгнан, не давала мне покоя.

Я бросил Петербург и уехал изучать питейное дело.

№ 18

*СОФИК

Это та самая золотопромышленная Софи, о которой было рассказано.

№ 19

+СОФИ БОГАЕВСКАЯ

Это вторая моя жена, второй ангел во плоти.

№ 20

+ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ЗВОЛЬСКАЯ

Это — героиня моего романа “Банк тщеславия”, псевдоним. Отсылаю читателей ко второй части этого романа (“Зловещая комета”), в которой рассказана вся история этой безумной моей любви.

№ 21

Это была даже не любвишка, а просто не более как проба гомеопатического средства “клин клином выбивать”. Дело было в провинции. Но не стоит и рассказывать: клин оказался гнилым.

№№ 22, 23, 24, 25

+ДАША И ТРИ СИЛЬФИДЫ: КАТЯ, МАША И ЭЛЕОНОРА

Даша — это была камеристка моей тетушки. В Варшаве она дразнила меня и давала щелчки в нос, а потом, когда я приехал после плена в отпуск к дяде, щелчков я уже не получал, а получил кое-что другое.

Катя была горничная шурина, а Маша — дочь конторского сторожа в Гжатске. Обе тонкие, эфирные, белокурые, с томными темноглубыми, как небо Италии, глазами, настоящие сильфиды.

Ну, а уж подлинной сильфидой была восхитительная и таинственная Элеонора, в Эртелевом переулке, на углу которого жил я в нижнем этаже дома Шляндера. Усмотрел я ее в свой отличный эллиптический бинокль. Познакомился, играл ей на гитаре, декламировал “Седлайся вновь, конь крепкий мой” — но и только. Кто была она — до сих пор не знаю.

№ 26

+СОФИ (АНГЕЛОВНА) ГЕМАР

Это было воплощение ангела, посланное на краткий срок на землю для того, чтобы, дав понятие о женском совершенстве, изумить, ослепить своей лучезарной красотой и затем, блеснув ярче полуденного солнца, закатиться навеки, т.е. возвратиться в свою небесную отчизну.

Дело было в Брюсселе, во время международного конкурса гитаристов. Я не могу описать, что произошло в моем сердце, когда я увидел эту дивную женщину. Это мог бы описать только Тургенев, симпатичнейший из наших беллетристов.

Я пал перед моим божеством — и получил соглашение после того, как подробно описал свое социальное и имущественное положение ее старшей сестре, заменявшей мать. Я написал так: “Мое прошлое — это карьера военная, которой я честно следовал в продолжение 14 лет и которую покинул в чине майора. Мое положение есть положение русского дворянина, которое доставляет мне некоторые привилегии и некоторое уважение. К этому присоединяется слава мирового гитариста, которая будет расти все больше. Состояние мое состоит: 1) из поземельной собственности с крепостными крестьянами, что все вместе приносит мне от семи до восьми тысяч франков; 2) из довольно большой фабрики, купленной мной два года тому назад и которая приносит мне от тридцати до сорока тысяч франков в год”. Далее я еще прибавил, что жене своей я вместо седьмой части, обусловленной законом, завещаю половину доходов фабрики, т.е. почти половину всего состояния.

И вот — моя владычица на диване, а я — у ее ног, на легком ковре и на вышитой подушке. И вот раздается лебединая мелодия ее голоса:

— Знаешь ли, кого ты держишь в своих объятиях, чьи пьешь поцелуи? Несколькими годами назад у моих ног, перед моими коленями ползала и проползла значительная часть аристократии гордого Альбиона. Бароны, графы, герцоги добивались моего благосклонного взгляда. Я была дивно прекрасна, но холоднее льда, тверже мрамора... И вот, несмотря на все это, я с радостью последую за тобой в твою холодную родину. Не боюсь ваших морозов: в твоих объятиях, на твоей груди мне не будут страшны никакие климатические неурядицы, ни бури, ни ураганы.

О, счастье! О, блаженство! О, любовь!

И что же? Моя владычица заболела и умерла.

Я посвятил ее памяти большую поэму на француз-

ском языке (150 страниц in folio под заглавием “Poeme d’amour”. Я писал ее 16 дней — писал горькими, жгучими слезами навеки разбитого сердца, писал дымящеюся кровью этого сердца.

В 1860 г. я послал поэму в Париж к Бертольдусу Дамке и скоро получил ответ. Известная писательница графиня д’Аш бралась устроить поэму в одной из больших парижских газет, но с условием: 1) опустить весь пролог, а остальное сильно сократить и изменить и 2) уплатить ей 400 фр. гонорара. Против последнего условия я не возражал, но первое меня возмутило. Выпустить все 20 страниц пролога — и какого пролога!? ...Нет, это невозможно.

Так и застряла моя поэма у Дамке, а черновую рукопись я нашел на письменном столе, изорванной детской рукой моего маленького сына. Если бы он знал, что попало ему в руки!

ЭПИЛОГ

Заклучу афоризмами, собранными мною из разных известных авторов и верно определяющими подругу нашей жизни:

“Всегда найдется сказать о женщинах что-нибудь новое, пока хоть одна останется на земном шаре” (De Bouers).

“Женщина есть образцовое произведение вселенной” (Lessing).

“Человек — это вселенная, у которой женщина составляет небо” (Voiste).

“У женщины нет более жестоких врагов, как женщины” (Duclos).

“Мужчина приобретает хитрость, а женщина родится с нею” (S. Dubay).

“Женщины всегда постояннее в ненависти, чем в любви” (Go).

“Женщина — это кушанье, достойное богов, если только черт не приправит его” (Calderon).

“Женщины привлекают к себе наслаждением, но удерживают только отказом” (St. Prosper).

“Золото пробуют огнем, женщину золотом, а мужчину женщиной” (Chilon).

“Даже развратники любят скромность в женщине; тогда как скромные женщины всегда предпочитают наглого мужчину” (Makaroff).

ГЛАВА XXXV

“КОГДА ЛОПАЮТСЯ БУТЫЛКИ С ШАМПАНСКИМ...”

Итак, мечты о любви уничтожены смертью.

А мечты о славе?

Какая уж тут слава, когда в кассе ни копейки!

Накануне нового года Николай Петрович получил из Петербурга письмо. Один из петербургских друзей извещал его, что лицо, которому он поручил управление делами, злоупотребил доверием и подвергнул опасности целостность всего состояния, а поэтому Николай Петрович должен немедленно явиться в Петербург. “У тебя есть дети, — писал он, — ты должен заботиться о них, а не о своей эфемерной славе, которая не даст денег”.

Николай Петрович мужественно перенес этот новый удар и 5 января 1857 г. выехал из Брюсселя в Петербург.

Управляющий оказался величайшим вором и негодяем. Пользуясь отсутствием Николая Петровича, он бросил все дела по заводу и по торговле на руки приказчиков, а сам пьянствовал и крал немилосердно.

Кончилось тем, что из труб известко-обжигательных печей должен был вылететь сам Николай Петрович, собственной международной персоной.

Но судьбе и этого было мало.

Николай Петрович кинулся в Москву к приятелю. Приятель подумал-подумал да и отвез его прямо к Кокореву, в его замечательный византийско-нижегородский особняк.

Кокорев тогда окончательно вошел в силу и в славу — и не только как откупщик, но и как общественный деятель,

как публицист, как покровитель литературы и изящных искусств. Его статьи печатались в журналах; в Париже у него была даже собственная газета “Le Nord”, защищавшая русские интересы за границей; на обедах и собраниях он произносил либеральные речи, в которых приветствовал “зарю освобождения” и предлагал дворянам свои деньги.

Особенно прославился Кокорев своею речью, *не* произнесенной на грандиозном обеде, устроенном 28 декабря 1857 года по случаю высочайшего рескрипта на имя виленского, гродненского и ковенского генерал-губернатора. В этом рескрипте разрешалось приступить к составлению проектов об освобождении крестьян и выражалась надежда, что “при помощи Божьей и при просвещенном содействии дворян дело сие будет кончено с надлежащим успехом”.

Москва заволновалась. Как ответить на такой сногшибательный рескрипт? Ясно: обедом.

В двух залах купеческого собрания (у дворян не хватало места) собралось около 200 лучших московских жителей. Тут были и профессора, и литераторы, и чиновники, и помещики, и купцы. Шампанское стреляло в потолок. Говорил Катков, говорил Погодин, говорил Бабст, говорил Кавелин.

По окончании обеда хотел произнести речь и Василий Александрович Кокорев. Но лучшие московские жители, находившиеся уже в сильном подпитии, не пожелали ее слушать. Поднялся шум, дворяне стали кричать “долой!” и стучать кулаками по столу. Было заранее известно, что Кокорев приготовил зажигательную речь, в которой клеймил дворянство и называл его “кривым и дряблым побегом”.

Василий Александрович успел сказать несколько приветственных слов. Так как дело пахло скандалом, то ему посоветовали ограничиться этим. Но через несколько дней речь эта полностью появилась в “Русском вестнике”, и имя Кокорева стало еще более популярным.

Николай Петрович читал эту речь и удивлялся: откуда такое красноречие? кто его научил? “Для пятнадцати миллионов людей восходит заря гражданской полноправности. От этого и мы все вступаем в новую жизнь, пере-

рождаемся; пульсы наши бьются иначе: ровно, твердо, сильно... Европа в своих движениях приходила к пропасти смутной неизвестности; мы пришли к упованию, значит, мы читали историю европейских народов внимательно и обратили в свою пользу самую нашу запоздалость” и т.д. Прямо оратор, Мирабо!

После появления этой речи Кокорев начал получать со всех концов России письма, в которых помещики предлагали, просили и даже умоляли купить их имения. Он сиял от гордости, но не знал, что ответить. “Пусть царь распорядится, — говорил он, — я куплю все эти имения и отпущу крестьян на волю”.

Николай Петрович попал к Кокореву в тот момент, когда он придумал ответ на эти письма. Кокорев встретил его ласково и шутливо:

— Вот, батюшка мой, дела какие! Помещики предлагают мне купить всю Россию. Хотите пополам?

Но Николаю Петровичу было не до шуток. Он рассказал о своих делах. Кокорев похал, похал, накормил его обедом, напоил вином.

Николай Петрович разговорился и, видя интерес Кокорева, предложил написать обозрение всего своего промышленного производства, чтобы представить ясную и верную идею самого дела. Кокорев одобрил эту мысль — и Николай Петрович написал целое сочинение. Само собой понятно, что сочинение это, как плод опыта, составляло коммерческую тайну и не предназначалось для посторонних.

Вернулся Николай Петрович в Петербург и в ожидании ответа пошел в итальянскую оперу — разогнать тоску и послушать пение очаровательной Бозио. В фойе встречает его одна личность, прикосновенная к делам Кокорева.

— Как поживает ваше дело?

— Какое?

— А известковое и плитное заведение? Я с великим удовольствием и большой пользой прочитал вашу брошюрку.

А через неделю Николай Петрович узнал, что личность эта скупает плитку у промышленников, чтобы убить всех конкурентов. А еще через неделю личность эта купила

тот самый плитный двор, который прежде держал Николай Петрович. А еще через некоторое время Николай Петрович оказался окончательным банкротом и несостоятельным должником.

Из труб известко-обжигательных печей опять повалил густой дым отечества, но проценты от него шли уже в карман Василию Александровичу Кокореву и К°, а не Николаю Петровичу Макарову.

А Николай Петрович Макаров ходил по комнате и машинально твердил одно и то же: “И дым отечества нам сладок и приятен”.

Но вот его осенила новая мысль. Он вспомнил о Леоне Гозлане.

— Когда лопаются бутылки с шампанским, надо братья за перо. Я отомщу вам господин Кокорев и К°! О, как я отомщу! Я предам гласности все ваши преступления, а именно:

1) После всех письменных и устных уверений в дружбе и уважении к моей высокой честности вы вдруг лишили меня и дружбы, и уважения за то только, что я “сооружаю свое счастье не на господстве разума над всеми чувствами, а на восторженной любви к невесте”, и своим возмутительно-циническим письмом бросили раздор в честном семействе и отравили все мое счастье жениха, а потом и мужа, и жены;

2) Вы ни во что поставили мое самоотвержение, когда я поехал спасать ваши дела, несмотря на явную опасность по случаю сильнейшей холеры, и потом, без всякой причины, кроваво оскорбили меня своим грубым письмом от 17 ноября, в котором бросали тень сомнения на мое честное имя по щекотливому вопросу о денежных суммах;

3) Не дождавшись от меня ответа и оправдания, вы снова предались неправому, малодушному гневу по поводу какой-то формулы откупных ведомостей, придуманной мною, и прислали тетрадь собственноручных ругательств в главную контору;

4) Вместо того чтобы стараться загладить свою неправоту и нанесенные мне оскорбления, вы изволили выбросить меня из ваших дел под самым лживым предлогом;

5) Встретив меня ласково и напоив вином, вы употребили во зло мою доверенность по поводу такого важного дела, как брошюра о моем промышленном заведении, и таким вопиющим злоупотреблением приготовили мне страшную конкуренцию и, быть может, крайнее разорение, да, пожалуй, что-нибудь и еще гораздо худшее...

6) А как достойный венец всех этих маккиавельских проделок над ними возвышается черный крест, под которым лежит прах обожаемой жены. И угас этот ангел-хранитель моего семейства, сошел он в раннюю могилу, которую приготовили вы своими бесчеловечными со мною поступками.

И теперь, когда двадцатилетняя борьба с ожесточенным гонением судьбы сокрушила во мне всю энергию, всю силу души и тела, когда здоровье мое потрясено, — передо мною перспектива разорения и нищеты...

Коли ты так, так вот тебе. Я буду мстить тебе всю жизнь, до последнего вздоха! Я, автор “Поэмы любви”, напишу теперь “Поэму ненависти”, которая потрясет мир и сделает твое имя символом зла, несправедливости, коварства и лжи! Я скажу о тебе словами китайского поэта о продавце опиума:

Взбесился от жира
Рябой сатана.
Не хочешь ты мира —
Война так война.
Исчадие ада!
Продажей ты яда
Богатство стяжал.
Губитель Китая!
Народ отравляя,
Ты в люди попал.
И проклятый миром,
Рябой сатана,
Зальешься ты жиром —
Война так война!

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ТУЛА И ЛИТЕРАТУРА

ГЛАВА XXXVI

ПОЭМА НЕНАВИСТИ

Момент для “Поэмы ненависти” был самый подходящий. Кругом говорили о гласности и писали обличительные статьи, обличительные очерки, обличительные повести и обличительные романы.

Николай Петрович заглянул в журналы. Было бы очень хорошо напечатать поэму в “Русском вестнике”, но это не удастся: Кокорев печатает там свои статьи; втерся, каналья, в самый дворянский журнал.

Зато в “Современнике” его кроют почти в каждом номере. Да как!

В марте 1859 г. появилась статья какого-то Федоровского — “Подольско-Витебский откуп”. Здесь объявлялось во всеуслышание, что Кокорев дает местной администрации взятки и таким образом избавляет себя от конкурентов.

Молодец Федоровский! Молодец “Современник”! Нечего размышлять — туда и надо отнести “Поэму ненависти”.

Но ведь в “Современнике”, говорят, сидят какие-то “нигилисты”? Прилично ли дворянину и помещику там печататься? Что скажут потомки?

Позвольте! Печатается же, например, в “Современнике” Михаил Евграфович Салтыков, настоящий дворянин, и притом рязанский вице-губернатор, женатый на племяннице его жены? Ну, Салтыков, скажем, был вроде как выслан за резкость языка. А Писемский Алексей Феофи-

лактович, такой же чухломской дворянин, как и Николай Петрович? Ну он, скажем, пьет и плохо разбирается в направлениях. А граф Лев Николаевич Толстой, такой же тульский помещик. А сам Иван Сергеевич Тургенев? Что же, все они нигилисты, по-вашему?

Да и что такое, вообще, нигилисты? Дворянина, например, ограбили. У дворянина был капитал, был завод, были проценты, была слава, были мечты, была жена. И дворянина ограбил купец Кокорев.

Получилось:

Капитала — нет!
Завода — нет!
Процентов — нет!
Славы — нет!
Мечты — нет!
Жены — и той нет!

Ничего нет. Иначе говоря — nihil est!!

Так вот и выходит, что он, Николай Петрович Макаров, дворянин-нигилист.

Николай Петрович, привыкший разбираться в вещах и понятиях с лингвистической точки зрения, имел не совсем верное представление о нигилистах и не совсем точные сведения о “Современнике”. Он не знал, например, что граф Лев Николаевич Толстой уже перешел из “Современника” в “Русский вестник”, а Иван Сергеевич Тургенев собирается сделать то же самое. Он не знал, что в “Современнике” появились новые люди — не из ограбленных купцами дворян, а совсем из другого сословия. Многого не знал Николай Петрович!

Из литературы он любил только обличительные статьи о Кокореве и великосветские романы. К политике он по-прежнему относился с презрением, считая, что это дело Кокоревых и ему подобных, а не Макаровых.

А Кокорев и в самом деле занимался политикой очень старательно. Прочитав в “Современнике” статью Федоровского, он швырнул книгу на пол и воскликнул:

— Знаем мы, что за Федоровский! Это все тот же Добролюбов. Ну, погоди же ты!

И вот сначала по Москве, а потом и по Петербургу пущен был сенсационный слух: неподкупный и строгий Добролюбов получил 80 000 рублей от купца Бенардаки за статью против Кокорева. Вот, мол, они, эти рыцари пера — щелкоперы, бумагомаратели, пачкуны, зубоскалы проклятые. Бить их надо!

Именно в это время Добролюбову принесли из редакции толстую рукопись со странным заглавием: «*Задуманная исповедь*. Нравственная быль. С вариациями на тему “точки зрения” Н. Макарова». На рукописи была пометка рукой Некрасова: “Посмотрите эту чепуховину. Это о Кокореве. Не пустить ли с сокращениями”.

Добролюбов стал читать.

Рукопись открывалась посвящением сыну, с цитатами из Наполеона и из Гейне. “Да благословит же тебя Бог на жизненный путь, трудный и тяжелый для всякого истинно честного и нравственного человека, который непременно, рано или поздно, должен искупить страданиями свою высокую честность и особенно свою правдивость” и т.д.

Потом следовал “Пролог”: “Гласность, гласность и гласность! Вот современная и модная тема в России, тема, которую распевают на разные тоны и различными голосами, то громкими, светлыми и очень верными, то хриплыми и фальшивыми, — тема, на которую сочиняют множество вариацией и фантизией, то дельных и доказательных, то нелепых и пошлых. Но, несмотря на этот нестройный и оглушительный концерт по поводу гласности, никто из современно образованных людей не будет оспаривать огромного значения, которое имеет в новейшей цивилизации гласность, этот главнейший рычаг прогресса среди образованных народов нашего столетия”.

Какая дурацкая болтовня!

Но дальше шла речь как раз о статье “Подольско-Витебский откуп” в связи с ответом Кокорева, напечатанным в “Русском вестнике”. Добролюбов стал читать.

Автор рассуждал так: “Обвинительный акт напал на лицо, им описываемое, как на откупщика, то есть с той стороны, с которой он облечен в двойную броню и не боится ничьих нападений, имея возможность всегда легко отра-

зять их; ибо, что ни говори, а описываемая личность в сказанном обвинительном акте — все-таки лучше многих откупщиков, что, впрочем, еще ничего не доказывает: мулат хотя и белее негра, но все-таки ему далеко до белизны лица, например, англичанок”.

Ну и философия!

Наконец делался переход к герою исповеди, прозрачно названному Василием Андроновичем Штукаревым, — обладателю миллионами, домами, дачами, картинными галереями и кучею разных акций.

Самая “исповедь” подробно рассказывала историю двадцатилетних страданий, испытанных автором по милости Штукарева, а кончалась перечислением всех несправедливостей Штукарева и патетическим к нему обращением:

“Да падет же на вашу голову все это здание неправд и бесчеловечия, которых не искупить вам вашею искусственною поддельною филантропиею, истекающею не из сердца, а из головы! Да осудят же вас Бог и общественное мнение, к которому я теперь обращаюсь! Знаю, что для защиты вашей от всевозможных обвинений вы имеете адвоката, очень красноречивого, увлекательного, обаятельного, — это ваши пять миллионов, о которых вы объявили во всеуслышание! Но надеюсь, что между шестьюдесятью семью миллионами моих сограждан найдется довольно благородных, беспристрастных и независимых сердец, на которые не подействует обаяние чужих миллионов и которые не побоятся произнести неподкупное и справедливое мнение; не побоятся осудить кичливость ложных доблестей, неправду, лицемерие, высокомерие и жестокосердие, как бы искусно их ни маскировали, как бы глубоко ни прятали под кучею банковых билетов, акций, домов, дач и картинных галерей”.

Печатать или нет? Конечно, это совсем не то, что нужно: какие-то домашние дела, а не общественное обличение. Но, с другой стороны, важно то, что это человек из той же среды, знающий всю подноготную; это — не обличитель, не врач, не следователь, а сам больной; это — бытовой документ. Мы даем слово самому участнику дела, вопиющему, как он умеет, о жестокости своего патрона. Мы

видим здесь двух человек: один пользуется обстоятельствами, другой делается постоянною жертвою этих же самых обстоятельств. Читатель видит, как сами жертвы обстоятельств помогают не только обогащению, но и возвеличению тех, которые из тех же обстоятельств извлекают свои выгоды. А это имеет большое общественное значение. Это помогает осознанию и побуждает к борьбе.

Да. Напечатать с сокращениями и снабдить предисловием, объясняющим появление на страницах “Современника” столь странной вещи.

Николая Петровича пригласили в редакцию “Современника”.

ГЛАВА XXXVII

КАК НАДО ПИСАТЬ

Его принял сам Некрасов.

Николай Петрович как-то недавно заглянул в том его стихотворений — ничего стихшки! Конечно, далеко ему до Пушкина, но стих бойкий и едкий. Нечто вроде Ювенала. Ему должна нравиться “Задушевная исповедь”.

Некрасов задумчиво ходил по кабинету. Увидев Николая Петровича, он остановился:

— Макаров. Да, да, помню: про Кокорева. Садитесь, отец мой, садитесь. Как же это вы так?

Николай Петрович сел и не знал, что сказать. От волнения он жевал язык, а Некрасов стал опять ходить по кабинету и бормотать стихи:

Анафеме там предан Чернышевский,
И Кокорева ум нашел себе приют.

Потом остановился против Николая Петровича и опять спросил его:

— Как же это вы так, отец мой? Плохи ваши дела! Плохи, плохи ваши дворянские дела.

Николай Петрович догадался: это не о рукописи, а о Кокорева. Он перестал жевать язык.

— Рукопись мы вашу напечатаем, но сократить ее надо, сократить надо.

“Ах, эти сокращения!” — подумал Николай Петрович и опять, принялся за язык.

— Как вы насчет сокращений?

— Что ж там сокращать, Николай Алексеич? Каждое слово правда и каждая фраза — обличение.

— Правда-то правда, верю вам. Ну, а зачем, например, Рейнский водопад?

— Нельзя же без поэзии!

По лицу Некрасова пробежала судорога. Он опять зашагал по кабинету.

— Вы вот, отец мой, прочитайте Салтыкова статью, скоро у нас появится: “Скрежет зубовой”. Там тоже о Кокореве есть. Вот это настоящая поэзия! Литература — дело трудное и серьезное. Это не то, что на гитаре играть.

Николай Петрович пошевелился.

— Вы не обижайтесь, отец мой. Если хотите быть литератором, вам надо подумать, почитать и поработать. Поучитесь у Салтыкова. Хороший, настоящий писатель.

Пришлось уступить и Рейнский водопад, и многое другое. Ничего не поделаешь! Такое время. Homo homini lupus est!

Некрасов — сатирик, моралист, мрачный человек, как все русские писатели. А Николай Петрович — писатель европейского типа, как Эжен Сю, например.

У нынешних русских писателей ему, в сущности, учиться нечему и незачем. Что Салтыков! “Задуманную исповедь” Николай Петрович написал в пять недель, а ведь в ней, вместе с Рейнским водопадом и прочей поэзией, больше десяти печатных листов. Вы, нынешние, ну-тка!

Конечно, можно, если угодно, почитать и Салтыкова. Но куда же Салтыкову до Тимофеева или Тургенева! Лучше всего так: одну вещь написать по Салтыкову, другую — по Тургеневу. Это самое надежное и правильное.

Николай Петрович положил слева “Скрежет зубовой” Салтыкова, а справа “Дворянское гнездо” Тургенева, и стал писать два романа сразу: один — обличительный, другой — великосветский. Один будет называться “Две сест-

рички или новое фарисейство”, а другой — “Банк тщеславия”. В одном он опишет Чухлому, родителей, родственников, помещиков, предводителей дворянства и Кокорева, а в другом — прелестную, но коварную женщину, которая предпочла его страстную любовь титулу баронессы и семи тысячам годового дохода. Первый роман он отдаст в “Современник” (вот, мол, вам, Николай Алексеич, по Салтыкову), а второй — в “Русский вестник”.

Ой нет! В “Русский вестник” нельзя. После “Задуманной исповеди” ему туда вход закрыт. Кокорев увидит — пожалуй, в драку полезет. Ну что ж! Он отдаст оба романа в “Современник”. Прошла неделя — готова первая часть одного романа и первая часть другого романа. Прошла еще неделя — готовы вторые части обоих романов. Один день на эпилоги — и конец. Просматривать и перечитывать не стоит — хорошо и так.

Но скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Обе рукописи Николай Петрович отнес в “Современник”, а ответа никак не может добиться. Некрасов не принимает, а Добролюбов говорит — не успел прочитать.

— Когда же вы читаете?

— Со временем.

Вот уж подлинно “Современник”.

А потом Добролюбов вдруг уехал за границу — и дело совсем остановилось.

Николай Петрович решил взять обе рукописи и издать их самостоятельно. Так делают многие французские писатели.

Но издать надо под псевдонимом, а то Кокорев, пожалуй, подкупит всю критику — и тогда крышка!

А в псевдониме должна быть сила, энергия, страсть и едкость. Псевдоним должен быть такой, чтобы в глаза бросался, чтобы в мозг впивался, чтоб в ушах застревал, чтоб по сердцам ударял. Что за псевдоним, например, у Салтыкова? Обыкновенная фамилия — Щедрин. Нет, надо, чтобы ясно было, что автор скрывается, что это не настоящая фамилия, а ребус, загадка, три звездочки.

Вот и готово: *Трехзвездочкин*.

А к этой фамилии — имя: сильное, едкое, чтобы запоминалось. Не Николай, не Петр, не Иван, а... *Гермоген*.

И не роман. Мало ли романов на свете? Надо, чтобы поняли, что все это правда, что все это было, бывало. Не роман, а “бывальщина”.

Но как сделать, чтобы героиня “Банка тщеславия” поняла, что это про нее?

Очень просто: “*Банк тщеславия*. Бывальщина. Написана *Гермогеном Трехзвездочкиным*. Издана *Н. Макаровым*”. Вот и все. Sapienti sat.

Обе книги вышли почти одновременно. “Две сестрички” — это так себе, это для Некрасова и Салтыкова. А вот “Банк тщеславия” — это книга! Николай Петрович читает ее, перечитывает в оторваться не может. Вы, нынешние, ну-тка!

Вот, например, страничка из первой части, описывающая Лидию Александровну Звольскую: “Гвардеец (барон фон Штурцгейм, соперник Николая Петровича) подошел к Лидии, отвесил ей казенный поклон, взял протянутую ему ручку, хотел сказать что-то, но слова замерли на его устах: в эту минуту пламя лампы вспыхнуло как-то особенно ярко, и дивно-восхитительный облик Лидии рельефно отделился от темного фона материи, которою обита была кушетка. Шелковистые светлокаштановые волосы, обвивавшие высокое и белое чело; большие голубые глаза, светящиеся умом и негою из-под длинных ресниц; полуоткрытые алые уста, хранящие нектар самых упоительных поцелуев; белоснежная шейка и роскошные античные плечи; высокий и гибкий стан — одним словом все, от макушки до кончика носка, все в Лидии было изящество, грация, нега; все являло в ней воплощение самой высокой красоты, которую задумать и воспроизвести на полотне удавалось только редким из гениальных живописцев. При взгляде на Лидию гвардеец едва устоял на ногах. Электрическая дрожь пробежала по всему его телу, а по жилам, с удвоенною быстротой, протекал приток молодой крови”.

Во второй части Летнев (т.е. сам Николай Петрович) после долгой разлуки встречается с Лидией в Париже. Его охватывает страсть: “В продолжение целого месяца Летнев почти каждый день посещал Звольскую и все теснее осаждал неприступную крепость ее добродетели, все суживал огненный круг страсти, в который он ее за-

пер”. Лидия сопротивлялась — Летнев требовал и назначал срок.

“Накануне срочного дня Летнев явился к Звольской. Он был покоен и суров. Глаза его горели огнем сдержанной страсти и непреклонной решимости. Был полдень. Лидия сидела в глубокой задумчивости. Глаза ее были влажны от недавних слез; грудь дышала нервно и тяжело; легкая нервическая дрожь пробежала по временам по ее роскошному телу. Летнев тихо подошел к ней, встал перед ней на колени, вынул из кармана свои часы и, показывая их Лидии, сказал: — Теперь ровно полдень. Через 24 часа должен быть произнесен и исполнен мой приговор”.

Вот уже назначенные 24 часа подходят к концу. Пишет лежат наготове. Еще пятнадцать минут — и он в вечности! Но вот слышен звон колокольчика. В дверях кабинета показалась стройная фигура Лидии Александровны. Лицо ее окутано черной вуалью. Летнев бросился перед ней на колени.

«— Безумец! — тихо проговорила Лидия и откинула назад черную вуаль. Лицо ее преобразилось и сияло невыразимой прелестью; глаза горели непривычным огнем и вдохновением пробудившегося и нового для нее чувства.

Лидия подняла Летнева, покачала на него своей очаровательной головкой и, прошептав: “Мой победитель!”, в изнеможении упала в его объятия.

— Моя Лидия, — с восторгом отвечал Летнев, и уста их слились и замерли в длинном огненном поцелуе...

В эту минуту часы на камине начали бить полдень. Дверь в вечность перед Летневым заперлась, но перед ним открылась другая — в земное блаженство, за которое прощают природе множество ее глупых шуток...»

Замечательно! Салтыкову так никогда не написать. Да и Тургеневу тоже.

Но в печати “бывальщину” высмеяли. Дело ясное: Кокорев подкупил. Догадался, каналья, что Трехзвездочкин — это сам Николай Петрович. Да в самом деле: кто же еще в России может так написать?

Ну, подожди, самодур ты эдакий! Мы еще повоюем!

ГЛАВА XXXVIII

ДОЛОЙ ПОЭЗИЮ

Некрасов прав. Долой поэзию! Надо писать обличительные сатирические книги.

Некрасов — Ювенал в стихах, а он будет Ювеналом в прозе. Что Салтыков! Салтыков скучен, непонятен и робок.

Николай Петрович купил много бумаги, перьев и чернил и поехал писать в деревню. Писать лучше всего в деревне. Так пишет Лев Николаевич Толстой. А Иван Сергеевич Тургенев пишет за границей — это еще лучше. Счастливец Иван Сергеевич!

А у Николая Петровича и деревня-то на деревню не похожа. Знаете, как называется? Нельзя сказать: *Фуниково!*

И все-таки отлично пишется в деревне! Прошел месяц — и “сатирическая бывальщина” готова.

“Победа ягод самодурами и страдальческий крест”. Два тома, четыре части, около 50 печатных листов.

Николай Петрович сам так был поражен этой быстротой, что решил в назидание начинающим писателям рассказать, как он писал этот роман и как надо вообще писать. Вот этот любопытный документ:

“Когда я принимался за писание чего-либо серьезно, то писал всегда карандашом, которых чинилось у меня дюжина. Возьмусь за перо — и вся фантазия исчезает, я деревенею, замерзаю, ничего дельного не сходит с пера. Возьму карандаш — и мгновенно оживаю, откуда что берется! Понадобится сравнение — является три, четыре, *embarras de richesses!* опереться на авторитетную мысль, понадобится эпиграф — является несколько, в прозе и стихах, затрудняешься в выборе. Целый рой мыслей рождается в голове, не успеваю записывать на лоскутках бумаги, чтобы не забыть. Начиная большой труд, я пишу сперва туго: страничку, две в день, потом три, четыре, и так далее, все *accelerando* и дохожу до 30 и более страниц в день. Четыре части “Победы над самодурами” (610 страниц!) я написал ровно в четыре недели, взяв сюжет из подлинной жизни. Потерял я тогда и сон и

аппетит. Спал или, вернее, лежал в забытьи часа по четыре в сутки, ел менее восьмилетнего ребенка, не слышал, что мне говорили, самовар накрывал крышкой от чайника, а чайник — крышкой от самовара. Последнюю часть написал я в два дня. Я дремал над бумагой, писавши, глаза сжимались от бессонницы, а рука с карандашом, словно не зависящее от меня, живое, разумное существо, быстро бегала по бумаге. Я стал под конец скелетом. Много помогало мне то, что меня всякое утро окачивали несколькими ушатами холодной воды. Это освежало и голову, и тело. Советую это всем писателям.

Окончив роман, я поехал на неделю в Тулу: отдохнуть, развлечься и дать переписать с карандаша четвертую часть. Когда, по возвращении в деревню, я стал пробегать ее, то все написанное было для меня ново. Все дотла позабыл я за неделю отдыха. А как мне кажется, это лучшая часть романа, потому что в ней руководствовало мною вдохновение — без всякого участия рассудка или сознания.

Вот как надо писать. Вы, нынешние, ну-тка!”

Осенью 1861 г. Николай Петрович явился в “Современник” с готовой рукописью в руках. Одна страничка была написана специально для Некрасова. Кого может пощадить Ювенал? Только другого Ювенала. Ювеналы должны быть в союзе. Ювенал-сотрудник должен хвалить Ювенала-редактора. Эту страничку он прочитает вслух Некрасову:

“Это был человек средних лет, высокого роста, смуглолиц, с быстрыми ястребиными глазами и носом, словно клювом, и с тем вместе — умный стихотворец, философ, сатирик, моралист и глубокий мыслитель. У него не дремли, у него никому нет спуска. Как взмахнет своими могучими крыльями, да вззовется высоко-высоко и окинет оттуда своим ястребиным взором и всю землю русскую, и Петербург в особенности! И чуть воззрится и заметит где-нибудь и какую-нибудь нравственную грязь, язву, уродливость, будь *это* убогая или *нарядная*, будь *это* *папаша* и *его* красивая дочка, будь это важный барин, что *голодного от пьяного не умеет отличить*, — никому нет пощады. Как гром небесный налетит он на нравственную и общественную уродливость — и пошел долбить ее своим мощным

клювом, терзать своими острыми когтями. Горе его жертвам! Страшно изорвет, обезобразит их и потом бросит на посмешище и в назидание всему читающему люду. И многих заставит он призадумываться над своими не натянутыми, но не сладенькими, а умными, бойкими, едкими стихами...”

Но Николая Петровича принял, к сожалению, не Некрасов, а Добролюбов. Он был мрачен и молчалив. Разговора никакого не вышло. “Наведайтесь через неделку”, — сказал он и даже не протянул руки. Ох, уж эти русские критики!

Николай Петрович зашел через неделку, но Добролюбов лежал больной и приема в редакции не было. Прошла еще неделка — и Николай Петрович, вместо редакции, попал на похороны Добролюбова. Толпа слушала речи Некрасова и Чернышевского и плакала. Николай Петрович тоже плакал. Чернышевский сказал: “Он умер оттого, что был честен”. Вот так скажут и про него. И все будут плакать. Как жаль, что он не услышит и не увидит.

Но прочь мысли о смерти! Ему надо думать о бессмертии. В прошлом году ему стукнуло уже пятьдесят лет. Поздненько взялся он за литературу! Но тем более надо торопиться.

“Победа над самодурами” будет печататься, пожалуй, целых полгода, из номера в номер. А за это время он напишет еще одну бывальщину, уже начатую — “Поддельщики”. Это будет последнее слово о Кокореве. Враги должны будут замолчать. В литературе будет два имени, два Ювенала: Некрасов и Макаров.

Да, да! надо торопиться.

Николай Петрович быстро поднялся по лестнице и дернул колокольчик. Лакей взял его визитную карточку и прошел в кабинет. Через несколько минут он вышел: в руках у него была огромная рукопись.

— Николай Алексеевич больны, не принимают-с. А вот вам рукопись и записка-с.

В записке было: “Роман не пойдет”.

Николай Петрович повернул записку, прочитал ее еще раз и с изумлением посмотрел на лакея. Лакей протягивал ему рукопись и слегка улыбался.

— Как же так? — пробормотал Николай Петрович. — Не может быть. “Не пойдет” ... Почему же не пойдет?

— Да-с, сказали — не пойдет. И Николай Гаврилович смотрели. Плохо, говорят, написано-с. У нас строго! Вы попробуйте в другой журнал — к Краевскому, Андрею Александровичу. Самое лучшее-с!

Николай Петрович, совсем озадаченный, протянул лакею руку и медленно вышел из редакции.

Он отнес рукопись к Краевскому, в “Отечественные записки”, но через неделю получил ее обратно с отказом. Побывал он еще в двух-трех редакциях, но везде говорилось то же самое.

Ну, гг. редактора, достанется вам в “Победе над самодурами!”

ГЛАВА XXXIX

ПОБЕДА НАД САМОДУРАМИ

Что же теперь делать? С кем посоветоваться? Он вспомнил про своего старинного варшавского приятеля, полковника Одинцова, который когда-то очень одобрял его дневник и советовал заняться литературой.

Николай Петрович поднес ему “Банк тщеславия” и рассказал о своих мытарствах.

Одинцов сказал: “Издавай сам. Пусть ругают. А ты пиши и издавай. Пиши и издавай. Больше в наше время нечего делать”.

И не только сказал, но и денег дал в долг. Николай Петрович пересмотрел рукопись, вставил кое-что о редакторах (дифирамб Некрасову оставил — пусть угрызается!) и вписал посвящение другу Алексею Алексеичу Одинцову.

Скоро в петербургских книжных магазинах появился огромный роман в двух томах: “Победа над самодурами и страдальческий крест. Сатирическая бывальщина. Написана Гермогеном Трехзвездочкиным. Издана Н. Макаровым”. В первом томе было 244 страницы, во втором — 366. И за все это обширное, двухтомное удовольствие — только 2 руб. 50 коп.!

Героем первого тома был обедневший дворянин. Валерьян Николаич Шугаров; героем второго — его приятель, тоже дворянин, Владимир Васильевич Громилов. Шугаров побеждал самодуров, а Громилов нес свой страдальческий крест.

Победа Шугарова заключалась в том, что он, вопреки желанию купца Псоя Вафусьича Сермяжникова, женился на его дочери, Кикилии Псоевне.

Страдальческий крест Громилова — это была жизнь самого Николая Петровича. Он повторил здесь свою “Задушевную исповедь”, прибавив описание детства и затушевав некоторые факты и имена: Громилов, например, устраивает международный конкурс для усовершенствования дела книгопечатания и производит за границей фурор своим симпатическим тенором.

Сатирическая струя была главным образом во втором томе. По поводу тенора, например, говорилось: “Если бы он вздумал поступить на сцену оперы, то сделался бы одним из первых теноров своего времени. Но по своей врожденной застенчивости, он тщательно избегал случаев петь в публике. В особенности соблюдал он это музыкальное инкогнито на своей родине, где не только не любят отдавать полную справедливость своему родному таланту, а напротив: при каждом удобном случае готовы осмеять его, ошибать, освистать, опошлить и даже бросить в него несколько комьев самой черной грязи, словесной и печатной. Такое бросание грязи сделалось в последнее время специальностью, ремеслом некоторых бездарных писак и статьякропателей, вооруженных самыми тупыми перьями, обмокнутыми в ядовитую желчь вместо тонкой аттической соли, о которой они, писаки, не имеют даже понятия”.

Особенно много этой аттической соли было потрачено Николаем Петровичем на описание литературных мытарств своего героя. Это были страницы, написанные под свежим впечатлением собственных неудач — не столько сатира, сколько памфлет.

В главе “Путешествие на ломовых” были описаны 5 редакторов, которым Громилов носил свою рукопись. А вывод был следующий:

“Так вот что за господа эти журнальные редакторы, которых я представлял себе доселе такими умными, учеными, порядочными, справедливыми и даже необыкновенными людьми! Да это самые что ни на есть обыкновенные, чтобы не сказать, пошлые смертные! То молчаливый ипохондрик, то близорукий тяжелый педант, то миф, охраняемый наглым лакеем, вероятно подражавшим барину; или, наконец, посредственность в виде неглупого малого и ортографа. Но ведь неглупый малый находится ровно на половине дороги от дурака к умному человеку, а путь этот так длинен, что не только дураку, но и любому неглупому малому во всю жизнь его не переехать”.

Роман кончался тем, что Шугаров знакомит Псою Вафусыча с Громиловым и женит его на сестре Кикилии Псоевны, Пунехии Псоевне.

Купцы-самодуры укрощены и побеждены дворянами.
Цивилизация торжествует над невежеством.

Мировой порядок восстановлен.

Читатель! читайте и понимайте.

И вы, г. Кокорев, тоже!

ГЛАВА XL

СТРАДАЛЬЧЕСКИЙ КРЕСТ

Что теперь скажет критика?

Каждый день Николай Петрович просматривал газеты и журналы — ни звука. То о Тургеневе, то о Гончарове, то о Писемском, то о Толстом, то обо всех вместе, — а о нем ни слова!

Приходит он как-то к Алексею Алексевичу Одинцову и жалуется:

— Представь: нигде ни слова!

— Тем лучше, тем лучше! И ты пиши и издавай. Заговорят!

В это время принесли с почты новый номер “Русского слова”, сильно запоздавший выходом. Роман какой-то Кобяковой, стихи Кроля и Плещеева, статья о Меттернихе Д.И. Писарева.

— Все еще пишет этот меднолобый поноситель Пушкина! — восклицает Николай Петрович. — Ну, а в критике?

Статья того же Писарева о Писемском, Тургеневе и Гончарове; статья о стихотворениях Некрасова, статья... “Победа над самодурами и страдальческий крест”...

— Есть! — воскликнул Алексей Алексеевич. Статья была без подписи. Начиналась она изложением одного французского анекдота — о драматическом писателе, который написал комедию в двенадцать дней, а дирекция вернула ее с пометкой, что автору нужно употребить двенадцать месяцев, чтобы исправить свое произведение. Затем делался переход к роману Гермогена Трехзвездочкина:

“Эта книга снабжена введением, из которого мы узнали два любопытных факта о личности автора. Первый факт тот, что вся книга написана в четыре недели. Второй факт тот, что автор импровизации в продолжение тридцати лет питал постоянную дружбу к Алексею Алексеевичу Одинцову, которому и посвящается вся книга, написанная даже вследствие его совета. Мы, публика, имеем право вывести следующее заключение: г. Трехзвездочкин уже не молод, и притом одержим неистовую охоту писать”.

— Какое нахальство! — воскликнул Николай Петрович, краснея от гнева. — Это, конечно, Писарев!

“Г. Трехзвездочкин сам признал себя рекрутом в фланге писателей; но, воля ваша, чтобы в месяц написать целую книгу в 244 страницы...”

— 610, а не 244! Даже сосчитать не умеет!

“В 244 страницы надо обладать значительною беглостью пера, — такую беглостью, которая, сколько мне известно, недоступна самым плодовитым из наших журнальных писателей”.

— Ага! — произнес Алексей Алексеевич.

“Несмотря на эту беглость, которая сама по себе составляет немаловажное достоинство...”

— То-то! — восклицает Николай Петрович. — Но причем здесь “несмотря?”

— “Несмотря на эту беглость, которая сама по себе составляет немаловажное достоинство, я осмелюсь выра-

зить предположение, что г. Трехзвездочкин останется скромным рекрутом и что прием, который сделает публика его “импровизации”, больно растравит раны его оскорбленного самолюбия”.

— Вот тебе и “несмотря”! — сказал Одинцов.

Николай Петрович стоял около него — бледный, с сжатыми кулаками и стиснутыми зубами.

Дальше шли насмешки над избитостью темы и наивностью мыслей, а затем выводились нравоучения:

“Если ты, о читатель, находишься в затруднительном положении, ищи себе богатую невесту. Если ты задолжал, плати долги деньгами супруги; если у нее нет денег, продавай и закладывай ее вещи; если нет у нее вещей, стащи что-нибудь у ее тятеньки и, продав стащенную вещь, откупись от долгового отделения и спаси таким манером свою дворянскую честь. Если тятенька узнает об участии своей вещи, не робей; если он станет укорять тебя в посягательстве на чужую собственность, воспрянь в полном величии оскорбленной гордости, смелою рукой схвати тяжелый стул, взмахни им над головой обидчика и опять-таки заговори взволнованным голосом о долге и чести дворянина”.

А затем следовало практическое заключение: “Любезный читатель, если вас одолевают самодуры, то вы распорядитесь с ними так: сначала половчее надуйте их, потом шарахните их по голове каким-нибудь тяжелым дрекольем; повторяйте оба эти маневра как можно чаще и будьте уверены, что вы скоро избавитесь от самодуров и что они же сами придут вас благодарить за ваши заботы”.

— Превосходно! Спасибо за совет! — воскликнул Николай Петрович, еще крепче сжимая кулаки. — Я именно так и буду действовать с этим наглым щелкопером! О, я ему покажу!

Статья кончалась словами, которые привели в восторг Николая Петровича: “Любезный читатель, согласитесь, что все это ужасно нелепо и даже перестает быть смешным; я сам это сознаю и пишу только потому, что я сам лицо подначальное; что нам велят писать, то мы пишем; чего не велят писать, того не пишем; бьемся, как рыба об лед, пляшем, как карась на сковороде, смеемся, когда

кошки на сердце скребутся... Эх, уж и не говорил бы! Ну их совсем!”

— Это что же значит такое? Это, собственно, к чему же? — спросил удивленный Одинцов.

— А это к тому, что проговорился. Ну и здорово. Я, говорит, не сам так думаю, а мне велели — вот я и написал. Он меня боится — ей-Богу! Ха-ха-ха! Плясун на сковороде! Ну, я ему покажу, где раки зимуют! Он у меня запляшет, как карась!

Николай Петрович поднял кверху кулак и погрозил им. Вид у него был очень грозный.

— Я уничтожу всех этих нигилистов, зубоскалов проклятых! Они не знают, что я военный, что я...

Одинцов даже испугался:

— Нет, нет! Ты не стреляй. Ты успокойся. Ты сядь. Послушайся меня. Пусть они ругаются! А ты пиши и издавай, пиши и издавай.

Но Николай Петрович уже не слушал. Он бросился на улицу и понесся домой, размахивая кулаками и бормоча: “Плясун на сковороде! Ты у меня попляшешь! Я у тебя попляшу! Трусишка, зубоскал, бумагомаратель!”

ГЛАВА ХLI

ПЛЯСКИ НА СКОВОРОДЕ

В какой газете можно выступить дворянину и бывшему гвардейцу против нигилиста и щелкопера? Ясно: в “Русском инвалиде”.

Николай Петрович написал грозную статью, в которой высмеивал “плясуна на сковороде”, обличая его во лжи, несправедливости и прочих пороках. Статью эту он подписал именем не г. Трехзвездочкина, а “редактора литературных опытов г. Трехзвездочкина”. Автору не полагается защищать самого себя, а редактору не только можно, но и следует защищать поощряемого им автора. Статья, таким образом, вышла и не анонимной, а вместе с тем, на всякий случай, как бы безыменной.

Статья появилась в “Русском инвалиде”, а в одном из ближайших номеров появился и ответ, с подписью — *Дмитрий Писарев*.

Защищаясь от обвинений редактора литературных опытов г. Трехзвездочкина, Писарев заявляет: “Г. Ред. оправдывает книгу г. Трехзвездочкина, говоря, что “все события, рассказанные в ней, действительно случились и что все выведенные в ней лица по сие время здравствуют и живут. Это обстоятельство еще больше доказывает бездарность г. Трехзвездочкина: если под его пером действительный случай становится неправдоподобным и живые люди превращаются в куклы, это значит, что творчество ему не удалось и что ему надо положить перо, — тем более что Ред. его литературных опытов так сильно обижается отзывами критики и так неудачно защищает своего клиента”.

Что касается “плясуна” и “сковороды”, то Писарев ответил так: «Г. Ред. не понял смысла моих слов, хотя они написаны по-русски, и вследствие этого пустил в меня и в “Русское слово” очень желчную и очень неприятную диатрибу. Он, кажется, не знает того, что есть “обстоятельства, от редакции независящие” и что в отношении к этим обстоятельствам все пишущие люди — лица подначальные».

Статья кончалась приглашением г. Редактора пожаловать для личных объяснений в главную контору “Русского слова” — на Гагаринской, в доме графа Г.А. Кушелева-Безбородко, по вторникам, от 1 до 3 час. пополудни. “Я, с своей стороны, от души ему прощаю его грубые выходки. Он — человек раздраженный; это надо принимать в соображение”.

А в примечании было еще сказано, что в следующей книжке “Русского слова” будет помещена рецензия на второй том романа: “Критики, стоящие, по словам г. Редактора литературных опытов, ниже презрения, будут появляться в наших журналах до тех пор, пока в книжной торговле будут появляться произведения, стоящие ниже посредственности”.

И действительно, в декабрьской книжке “Русского слова” появилась вторая коротенькая рецензия на “Самодуров”. Она состояла из нескольких выписок, сопровождаемых итогом: “Судите сами, господа читатели, хороша ли книга г. Трехзвездочкина, который в статье, направлен-

ной против меня, с пеной у рта требует, чтобы критика относилась *мягко к начинающим дарованиям*. Мое убеждение насчет сатирической бывальщины таково. Первая часть плоха и скучна. Вторая часть составляет уже просто патологическое явление. Г. Трехзвездочкину нужна не критика, а медицинская помощь”.

Что делать? Идти на Гагаринскую стреляться или прибегнуть еще раз к “Русскому инвалиду” и уничтожить нигилиста словесными выстрелами?

Одинцов сказал: «Пиши в “Русский инвалид”, а сам уезжай в деревню и пиши новый роман».

Николай Петрович так и сделал. “Русский инвалид” отнесся очень благосклонно; ответная статья была напечатана даже дважды: в субботу 20 января 1862 г. — на первой странице “Прибавления”, а в воскресенье 21 января — на последней странице самой газеты. В первом случае она была названа “Еще об аккредитованной пляске на сковороде!”, а во втором — несколько иначе: “Последний ответ аккредитованному плясуну”. Текст обеих этих публикаций был одинаков.

Редактор литературных опытов г. Трехзвездочкина выражался с крайним презрением: «Сколь ни тошно порядочному человеку входить в словопрения с людьми, говорящими языком вышереченных критик, но из любви к правде мы решаемся это сделать и сделаем уже в последний раз, какая бы пена ни брызнула потом из редакции “Русского слова”, тем более что по некоторым делам мы должны вскоре уехать из Петербурга вдаль и надолго».

А далее следовало: «Нет, г. критик! Семинаристы былых времен были много счастливее и гораздо искуснее вас: посредством хрий и разных других диалектических хитросплетений и уловок им удавалось опровергать все, что угодно, или доказывать, например, что “добродушный человек может быть счастлив и во чреве быка Дионисия”. Тогда как вы, г. критик новых времен, нисколько не опровергнули факты неправды, заключающейся в вашем сказании, что будто бы г. Трехзвездочкин *написал книгу по совету своего друга*».

Затем было длинное рассуждение о том, что в книге не 244 страницы, а 610 и что 2 р. 50 к. — цена для такой книги совсем недорогая.

“Но самое интересное, но эс-букет, но квинт-эссенция г. Плясуна находится в объяснении, какое делает он происхождению своей знаменитой пляске на сковороде... Побойтесь Бога, г. критик и плясун новых времен! Вам, может быть, удастся уверить какого-нибудь китайца или японца, только что прибывшего в Европу, что будто бы во второй половине девятнадцатого столетия существуют еще в России какие бы то ни было *обстоятельства*, которые могут *велеть* вам писать что-нибудь. Случаются иногда обстоятельства, независящие ни от вас ни от редакции, которые *не позволяют вам написать, т.е. напечатать некоторых вещей*; но приказать, но велеть?!... Allons donc! Полноте сваливать с больной головы да на здоровую. Мы очень хорошо понимаем, кто приказал вам плясать, как карась на сковороде. Для чернорабочих важны не *обстоятельства*, а приказания тех, которые платят им жалованье за их поденщину”.

А кончалась эта ядовитая статья следующим заявлением: “Время, беспристрастие и справедливость читающей публики решат вопрос, точно ли г. Трехзвездочкин — бездарный писака, т.е. точно ли ни в одном из его литературных дебютов, ни в *Победе над самодурами*, ни в *Банке тщеславия* не видно даже ни малейшего признака дарования, нет ни одной удачной сцены, ни одного верного характера, ни одной дельной мысли, ни даже порядочного слога. С своей стороны мы могли бы уж и теперь представить несколько фактических документов ложности приговора “Русского слова”, доказательств, находящихся в живом, искреннем сочувствии множества образованных читателей к литературным опытам нашего клиента; но мы откладываем до времени наши дальнейшие протесты против критик, специальность которых состоит в злорадстве ко всему начинающему; откладываем до того, может быть, скорого времени, когда факты будут говорить сами за себя и лучше всяких плясок и прыжков на чьей бы то ни было сковороде”.

Покончив с этим делом, Николай Петрович в сознании одержанной победы покинул столицу и отправился в свою Тульскую деревню.

Но писать ему уже не хотелось. Он устал — и от работы, и от волнений, и от негодования, и от борьбы, и от

литературы. Деревня располагала к мечтам, но о чем ему мечтать?

Он стал мечтать о богатстве. Сделаться богатым, страшно богатым — таким, чтобы не только куры, но и все петухи, гуси и даже утки могли вволю клевать и не выклевывать. И было бы у него тогда много честных и гуманных секретарей и сотрудников, которые не только помогали бы писать книги, статьи и составлять энциклопедии ума, но и отыскивать на чердаках и в подвалах Петербурга и Москвы несчастных, голодных артистов, музыкантов, художников, начинающих писателей — в особенности несправедливо и зазорно обруганных журнальными шемьяками и плясунами на сковороде. И выстроил бы он несколько огромных домов, с многочисленными меблированными комнатами, которые отдавались бы бесплатно со столом, с медицинской помощью и разными удобствами для обоего пола. А чуть у кого плохое белье или одежда — и этим снабжались бы они даром из огромного магазина платья и белья. И устроил бы он огромное издательство для начинающих писателей и огромный концертный зал для выступлений непризнанных музыкантов (особенно — гитаристов), и театр, и мало ли еще чего не выстроил и не придумал бы он, если бы ему дали средств.

Но увы! И денег у него нет, и гитара высмеяна, и литература никому не нужна, и Россия гибнет, и Тула на Тулу непохожа.

О, Россия! О, Тула! О, литература!

ГЛАВА XIII

«КАК У ГРАФА Л.Н.ТОЛСТОГО, НАПРИМЕР»

А Тула вот почему и как стала на Тулу непохожа.

Николаю Петровичу надо было решить один сложный и трудный вопрос. Как ни как, а он все-таки помещик. Хоть и 124 души, а все-таки крестьяне. Пока все надежды были на гитару да на Европу, он не думал о них. Ну, а теперь дело другое.

Высочайший манифест обращен и к нему. Он — тульский помещик. Писатель и помещик — как и граф Л.Н. Толстой, например. Литература литературой, а Тула — Тулой. Надо, чтобы все было в порядке, чтобы все было как у настоящих тульских помещиков — у Сумарокова, у Шатилова, у графа Л.Н. Толстого, например.

Прежде всего, надо сговориться с крестьянами и ввести уставную грамоту.

Еще летом 1861 года Николай Петрович несколько раз собирал крестьян и предлагал им на выбор: перейти на оброк и потом на выкуп, или перейти просто на оброк, или остаться на барщине. Он не был каким-нибудь крепостником — отнюдь! Ему, как дворянину с фантазией и с очень небольшим имением, было, в сущности, безразлично: но он слышал, что приличные тульские помещики — Сумароков, Шатилов и даже сам граф Л.Н. Толстой, например, предлагают своим крестьянам перейти на оброк. Чем он хуже других? Предложил и он.

А крестьяне повели себя так, как они обычно вели себя в литературе того времени: почесывали в затылках, мяли шапки, переминались с ноги на ногу и повторяли: “Мы что ж? Мы — как у других”.

А у других дело шло неважно — даже у графа Л.Н. Толстого, например. Граф, говорят, не только предложил своим крестьянам освобождение от барщины без всякого выкупа, но и хотел подарить им по две десятины на душу. И что ж? — не обобрался хлопот и неприятностей. Крестьяне думали, потолковали и решили: раз барин сам предлагает такую выгодную для крестьян сделку — значит, хочет надуть. Отказались подписать уставную грамоту и пошли к мировому посреднику: нет ли тут, мол, какого обмана? Мы, мол, люди темные — нам, может, по закону больше следует, чем по две десятины?

Почти такая же история получилась и у Николая Петровича. Не добившись толку, он махнул рукой и поехал в Петербург — продавать “Победу над самодурами”.

Вернулся он только в феврале 1862 года (после победы над Писаревым) и снова занялся этим делом. Не собирая крестьян, он сам составил уставную грамоту и отправился к мировому посреднику — просить о проверке грамоты и о формальном введении ее в действие.

Посредником 1-го участка был тогда помещик Михаил Иванович Бибиков — большой сибарит, пьяница, ханжа и вымогатель. У него в имении были даже какие-то мощи, за прикладывание к которым он брал рублей по сто, а то и больше. Зато эти лица были уже застрахованы от всяких бед, потому что владелец мощей был приятелем тульского губернатора и родным братом любимого чиновника министра внутренних дел. Сам же он прикладывался не столько к мощам, сколько к бутылочкам — от обеда и до вечера.

Не прикладываясь к мощам, Николай Петрович поехал в Тулу и познакомился с Бибиковым. Прошло несколько дней (дело было в начале марта) — и Бибиков приехал к нему сам. Собрал в прихожей выборных крестьян и в полчаса все устроил: крестьяне согласились перейти на оброк и на выкуп и подписали грамоту.

Но дело этим не кончалось: после утверждения грамоты мировым съездом посредник должен был приехать еще раз для вторичного ее прочтения и для показания границ крестьянской земли. Это требовалось статьями 68, 69 и 70 “Правил о порядке приведения в действие положения о крестьянах”.

Мало того. Было еще одно обстоятельство, в правилах, конечно, не указанное, но естественно подразумеваемое: мирового посредника надо хорошо угостить и в картишки с ним сыграть (да так, конечно, чтобы он выиграл) — особенно если подписание благополучно состоялось. Ради чего же иначе и с какой стати посреднику мотаться по чужим имениям и возиться с мужиками?

А вот эта-то простая мысль Николаю Петровичу, несмотря на его начитанность или именно по ее причине, не пришла в голову. Человек он холостой, в карты не играет, вызывает посредника не по личному, а по общественному, по государственному делу, предписанному высочайшим манифестом — при чем тут угощение?

А Михаил Иванович кончил с мужиками, поздравил Николая Петровича — и по привычке идет прямо в столовую. А в столовой — пусто: ни водки, ни самовара. Он помялся, поморщился, а Николай Петрович ему вежливенько так, шепотком говорит:

— Вам, Михаил Иванович, в нужное место?

— Соболаговолите! В дороге растрясло.

Николай Петрович его проводил, а потом сам шубу ему подал и на крыльцо вышел. Только лицо у Михаила Ивановича было очень сумрачное. Он даже головой едва кивнул на прощанье.

Николай Петрович подумал: “Верно у соседа-исправника обкушался — балычка поел или икорки зернистой”.

А Михаил Иванович ехал и ругался: «Ну и свинья! Ну и нахал! Я к нему, малодушному помещику, в этакую распутицу потащился — а он хоть бы рюмку водки предложил! Я тебе покажу “нужное место!” Подождешь ты теперь моего вторичного приезда! Я тебя научу, как с Бибиковым дело иметь!»

Прошел март с распутицей, прошел апрель. Дороги просохли, а Бибиков не едет.

Настал май. Деревья позеленели. А Бибикова все нет. Что тут делать? Без вторичного прочтения и подписей грамота недействительна. Он посылает нарочного с запиской, а в ответ получает приглашение: пожаловать к Бибикову 21 мая — откушать хлеба-соли по случаю тезоименитства.

Николай Петрович поехал — не столько ради хлеба-соли, сколько, чтобы сговориться о вторичном приезде.

Гостей много — все окружные помещики. День ясный, обед прекрасный — в тенистой аллее сада. Пития тонкие, заморские: и клод-вужуо, и дюфур, дюбар, и шато-икем, и портер, и эль — чего хочешь, того просишь. О вдовушке Клико и говорить нечего: лилась рекой.

Но вот странность какая: Михаил Иванович провозглашал тосты за здоровье всех тульских помещиков вместе и за каждого присутствовавшего в отдельности — кроме Николая Петровича. А когда все несколько подпили и пошел общий разговор о том, о сем, Бибиков вдруг обвел глазами всех сидевших и, остановившись на Николае Петровиче, громко сказал:

— Да. А помещики тоже разные у нас есть. Есть хорошие, в Бога верующие и ближнего уважающие, а есть и такие, что...

И махнул рукой. А соседу на ухо зашептал что-то, показывая глазами на Николая Петровича.

Николай Петрович смутился, допил бокал с вином, помялся и встал из-за стола. Следом за ним поднялся и Бибииков.

— Вы что ж это?

— Да пора.

Бибииков отвел его в сторонку и, слегка улыбаясь, вежливым шепотом спросил:

— А не нужно ли вам в нужник?

Николай Петрович даже отшатнулся. Что за насмешки и что за выражения!

— Благодарствуйте. Мне очень нужно, чтобы вы приехали для вторичного прочтения. Соблаговолите!

— В самоскорейшем времени! В са-мо-ско-рейшем! — отвечал с полным благодушием Бибииков. — Вот поеду на днях к исправнику обедать, а оттуда, по соседству, прямо к вам... в Фуниково, в *нужное место*, — прибавил он шепотом и весело расхохотался.

Что поделаешь с таким странным субъектом! Не то он шутит, не то оскорбляет. Но за что?

Ждет Николай Петрович весь июнь, ждет весь июль — Бибииков не едет. Тогда он собрал крестьян и, предложив им в подарок несколько десятин лишней земли (как это и граф Л.Н. Толстой, например, сделал), просил окончательно подписать условие, не дожидаясь посредника. А крестьяне отказались: “Посредственник даже не хочет ехать — дело-то, стало быть, не тово”, — толковали они, переминаясь с ноги на ногу.

А уже и август в исходе, дело совсем дрянь! Не то в Тулу ехать, не то в Петербург, не то обличительный роман опять писать?

ГЛАВА XLIII

ПОБЕДА НАД ТУЛОЙ

Наступил сентябрь. Листья на деревьях стали желтеть. А о Бибиикове ни слуху, ни духу.

Николай Петрович кинулся в Тулу, к кандидату посредника — просить его принять на себя окончательное введение уставной грамоты. Кандидат не отказался, но необходимо согласие посредника и формальная передача дела. Удалось и это устроить.

Вернулся Николай Петрович в деревню — ждет кандидата. Проходит неделя, проходит другая — нет кандидата.

Он опять в Тулу:

— Что же вы, батюшка? Так же нельзя!

— Сейчас бы поехал, да видите ли: Михаил Иванович прислал мне вашу грамоту с копиями, а печати не приложил. Жду от него печати. Как получу — сейчас к вам.

“Ну, — думает Николай Иванович, — дело теперь в шляпе: печать-то он уж не задержит”.

Но прошла еще неделя, прошла другая, прошел месяц — кандидата нет.

Николай Петрович решил уже ехать жалобу подавать — вдруг является волостной старшина с волостным писарем и протягивает бумагу.

— Это что?

— Уставная грамота.

— А когда же она будет введена?

— Да она уже введена-с. Посредник велел передать. Тут и печать и подписи.

Смотрит Николай Петрович — и в самом деле: и печать есть, и подписи посредника. Наконец-то!

Но на предпоследней странице оказалось нечто совершенно недопустимое и скандальное. Вот что было там написано: “1862 года 23 марта уставная грамота прочтена на сходке при таких-то (имена выборных крестьян) и введена в действие мировым посредником I участка”.

— Этого же не было! Это же официальная, общественная, государственная ложь!

И получилось вот что: уставная грамота введена, срок платежа оброков настал еще 1 октября, на дворе уже декабрь, а крестьяне и не думают платить. “Посредственник не приезжал — стало и платить не будем”.

А между тем деньги дозарезу нужны: и в опекунский совет деньги платить, и на вольнонаемный труд (черт бы его побрал!).

“Ну, коли так, так вот тебе! — решил Николай Петрович. — Буду действовать по-своему, не как граф Л.Н. Толстой. У того и имя большое, и имение большое, и титул большой. Он может ждать, а мне уже невтерпеж. Обличительный роман писать слишком долго, а напишу-ка я обличительную корреспонденцию, да pošлю-ка я ее в “Голос”. Вот тогда ты у меня попляшешь на сковороде!”

Сел, написал и послал. А сверх того, подал жалобу в тульское по крестьянским делам присутствие. Здесь была почти целиком повторена вся корреспонденция, а заключение было такое:

“Закрываю мою жалобу на г. посредника Бибикова обвинением, что вследствие его постоянного и долговременного бездействия в 1-ом участке господствует полнейшая анархия, совершенный хаос, так что если это продолжится еще несколько времени, то следует ожидать величайших беспорядков и неурядицы в отношениях между землевладельцами и бывшими их крестьянами, о чем, имея честь донести тульскому губернскому присутствию, прошу у него защиты и правосудия”.

Жалобу эту Николай Петрович привез в Тулу 14 февраля, а накануне в Тулу пришел 36-й номер “Голоса” с большой обличительной корреспонденцией, напечатанной без всяких сокращений и изменений.

Это была бомба, упавшая среди большого города (58 тысяч населения). Шумело присутствие, шумел мировой съезд, шумели посредники, шумели помещики, шумел клуб. Посредники думали, думали и решили: отвечать не будем. Во-первых, дело касается одного Бибикова — пусть он и отвечает; а во-вторых, одно дело Тула, а другое — литература. Корреспонденция есть факт литературный, а мы литературой не занимаемся.

Но кроме корреспонденции была ведь и жалоба, требовавшая ответа. Недели через две Николай Петрович приехал в Тулу — узнать, как дела. А ему вдруг говорят:

— Дело-то вы проиграете. Посредник, оказывается, приезжал к вам вторично 23 марта и ввел грамоту, что и засвидетельствовано вашей собственноручной подписью.

— То есть как же это может быть? Во-первых, я еще не сошел с ума, а во-вторых — после первого приезда по-

средника началась такая распутица, что весь март ни пройти, ни проехать нельзя было. Вся деревня об этом знает...

А ему отвечают: “Была распутица или нет — это нас не касается, а вот извольте сами взглянуть”. И показывают уставную грамоту, на которой его рукой, правда дрожащей, вроде каракуль, написано: *“К сей уставной грамоте отставной майор Николай Петрович Макаров руку приложил”*. Что за чудеса! Уж не мощи ли бибиковские вмешались в это дело?

Николай Петрович стал вспоминать — и вдруг вспомнил. Но это была уже не ложь, а уголовное преступление — подлог!

10 июля 1862 г., в теплый летний вечер он возвращался с покоса домой в пролетке. У самой деревни лошадь вдруг взбесилась и понесла прямо в овраг. Кучер повернул ее назад, но так круто, что она взвилась на дыбы и брякнулась со всех ног. Пролетка перевернулась кверху колесами, а Николай Петрович вылетел и ударился о землю. Крестьяне думали, что он убится до смерти. На разостланном холсте принесли его в дом, положили на диван.

Через неделю после этого лежит он на диване чуть живой, едва-едва в сознании. Вдруг является волостной писарь и требует подписи на грамоте. Ему говорят, что помещик при смерти, а он не уходит и твердит одно: посредник приказал. Кончилось тем, что Николаю Петровичу дали перо, приставили к груди в виде пюпитра нотную тетрадь в переплете и заставили нацарапать свою подпись. Писарь ушел, а Николай Петрович обессилел и впал в беспамятство.

Как бывает в таких случаях, он, поправившись, совсем забыл об этом факте. А Бибиков между тем, пользуясь подписью, вписал задним числом протокол небывалого введения грамоты и сдал в губернское присутствие.

Вспомнив все это, Николай Петрович сел и написал вторую обличительную корреспонденцию, которая и была напечатана в № 69 “Толоса”. Кончалась она так: *“В какой бы инстанции ни решилось окончательно это дело, из него вытекают два неизбежные вывода: или 2. Бибиков должен быть судим за совершение им подлога, если я докажу это, — или если я не сумею доказать, то я сам должен быть судим за ложное обвинение”*.

Победа была полная. Губернатор позвал Бибикова и сказал ему:

— Подавайте в отставку и поскорее, а не то вас под суд, под суд, под суд.

Бибиков подал в отставку, а Николай Петрович прославился по всей Тульской губернии. При одном его имени посредники и чиновники бледнели, а помещики говорили:

— Да сохранит вас Бог иметь дело с Макаровым! Это такой скандалист, что с ним и встречаться опасно.

И остался Николай Петрович совсем один — никто к нему ни ногой. Он всю Тулу победил, а теперь сидит, как Наполеон на острове Св. Елены.

Корреспонденций писать больше не о чем. Романы писать — не для кого. Граф Л.Н. Толстой — и тот, говорят, бросил литературу. Что ни напишешь — ругают. Взял Николай Петрович географическую карту и смотрит: вот, примерно, та точка земного шара, в которой находится его кабинет. Кругом этой точки — Тульская губерния, кругом губернии — Российская империя.

А что ему теперь делать в этой обширной Российской империи? Что ему в ней делать?

ГЛАВА XLIV

ПОСЛЕДНИЙ ПОДВИГ

Положение Николая Петровича в его тульском имении было даже хуже, чем Наполеона на острове Св. Елены. Наполеона кормили и одевали на государственный счет, а Николаю Петровичу надо самому о себе заботиться.

Доходы его при вольнонаемном труде (черт бы его побрал!) сократились втрое. А между тем надо в Петербург сыну-студенту посылать, надо кредиторам платить и надо самому существовать.

О, славяно-скифская, о, скифо-татарская страна! После стольких трудов и подвигов русский столбовой дворянин, помещик и пострадавший при польском восстании

отставной майор, известный во всей Европе гитарист и автор нашумевших обличительных романов и корреспонденций — Николай Петрович Макаров, достигши старости (53 года!), должен, как вступающий в жизнь юноша, искать средств для пропитания себя и своей семьи!..

Живи он в Европе — в Испании, например, — его бы на руках носили. 53 года! Да это в Европе самый лучший, самый классический возраст — момент полного расцвета всех умственных и физических сил. Он, пожалуй, женился бы там заново на какой-нибудь красавице и жил бы себе припеваючи да на гитаре играючи.

А здесь? Здесь он должен сокращаться. Вот он уже отпустил своего человека, потом повара — осталась одна старуха, исполнявшая должность и лакея, и кухарки, и прачки. Вот тебе и столбовой дворянин. Вот тебе и тульский помещик! Клади зубы на полку и помирай.

Ходит Николай Петрович по комнатам и вспоминает свою жизнь. А старуха убирает со стола посуду и охает, глядя на барина.

Ровно сорок лет прошло с тех пор как он выехал — из Чухломы в Варшаву. Чего только он не делал за эти сорок лет! И язык собственный придумал (помните сцену с учителем Петерсом), и русско-французский словарь составил, и шахматы из пеклеванного хлеба сделал, и фехтованью научился, и стихи писал, и плавал отлично, и по системе Франклина себя воспитывал, и откупам занимался, и два раза женат был, и на гитаре достиг совершенства, и известку обжигал, и романы писал. Это же не одна, а десять жизней! Это “Жиль Блаз” и “Дон Кихот” вместе!

И все пошло прахом. Гитара неподвижно висит на стене, романы неподвижно лежат на книжном складе, а его известку обжигают Кокорев и К°. Сатана Кокорев живет и благоденствует, а ему вынесен смертный приговор! Его похерили, объявили бездарным, ненужным, вредным.

Да, царят купцы и нигилисты: Кокоревы и Писаревы. А дворянин гибнет. Живи он при Пушкине — он был бы Гоголем. А теперь даже графу Л.Н. Толстому трудно.

Что же делать? Не к Кокореву же возвращаться?!

Перебирая свою жизнь, Николай Петрович вернулся к самому ее началу — к периоду юношескому, до-лите-

ратурному, до-гитарному, до-откупному: к периоду, когда он придумывал собственный язык и составлял русско-французский словарь. Он вспомнил пророческие слова Петерса: “Советую вам обратить ваши способности и вашу настойчивость на изучение французского языка”.

Да, старик-учитель был прав! Французский язык! Это именно то, чем дворянин отличается и от купца и от нигилиста. Кто в России знает теперь французский язык? Не Кокорев же и, конечно, не Писарев, а он — Николай Петрович Макаров, да разве еще граф Л.Н. Толстой.

Он побывал в лучшем французском обществе, он слышал речи депутатов во французском парламенте, он говорил (правда недолго) с известным французским писателем Леоном Гозланом, он беседовал с бароном Даннетаном, он произносил речи на гитарном конкурсе, он кричал из окна “Vive l’empereur”, у него хранится парижская пуля, чуть не убившая его наповал 4 декабря 1851 года, он, наконец, автор “Роème d’amour”, чуть не напечатанной в парижской газете. Вообще он гораздо больше французский гражданин, чем русский. Если бы он женился на Софи Гемар, он, конечно, остался бы в Париже и добился бы славы мирового гитариста. А добившись этой славы, он поехал бы в Испанию, где его носили бы на руках с одного конца до другого и обратно.

Но что вспоминать о гитаре! Теперь дело идет о французском языке. Он должен доказать России, этой темной славяно-скифской стране, в которой он имел несчастье родиться, — он должен доказать этой стране, что он имеет право на жизнь и на славу, что он — человек международный, что он, если захочет, может написать французский роман не хуже Леона Гозлана, что он, одним словом, жив и действует, несмотря на Кокорева и Писарева.

Да!

Он возьмет те же русские слова, которыми написаны его романы, расположит их в алфавитном порядке и против каждого напишет его французское значение. В виде примеров к словам будут стоять фразы из его же романов. В них, в этих примерах, он отомстит всем своим врагам.

Это будет словарь, заключающий в себе все его мысли и литературные замыслы. Это будет книга, заключа-

ющая в себе 10, 20, 100 романов! Стоит только те же самые слова расположить не в алфавитном, а в каком-нибудь другом порядке. Это будет полное собрание всех его романов, корреспонденций и статей — изданных и не изданных, написанных и не написанных.

Да, да! Враги не догадаются, что это такое. Им и в голову не придет, что это не просто словарь, а полное собрание сочинений, полный итог жизни, последняя и окончательная месть за все гонения, оскорбления, несправедливости, издевательства и пр. Туда попадет кокоревский откуп (*la ferme*), и писаревская сковорода (*la poêle*), и бибиковский нужник (*les commodités, les lieux d'aisance*). Тайну этого словаря будет знать один он, Николай Петрович Макаров.

Да! Такой словарь — это высшая мудрость, поглощающая в себе все, что человек может придумать и сказать. Здесь будут все слова, а значит, и все мысли.

Мало того! Этим словарем он докажет русским, насколько французский язык выше, изящнее, тоньше, звучнее. Попробовал бы Писарев написать свою рецензию на французском языке! Ничего бы не вышло. Во Франции Писаревы невозможны, потому что для их грубых мыслей на французском языке нет подходящих слов.

Мало этого! Этим словарем — русско-французским, а не французско-русским — он поможет французам перевести некоторые, достойные этого, произведения русской литературы — например: “Банк тщеславия”, “*La Banque devanité*”.

Да! И сверх всего этого, он докажет и Кокореву, и Писареву, и всем редакторам, купцам и нигилистам, что он знает не только ихний русский язык, на котором они так смело изъясняются, но и французский, на котором они двух слов связать не умеют. Он докажет этим словарем, что без дворян России не обойтись, что русский дворянин даже в возрасте 53 лет может сделать то, чего не может сделать все молодое поколение нигилистов, взятое в целом!

Ну, старуха, убирай скорее со стола посуду и иди на кухню. Нечего тебе здесь топтаться да охать! Барину нужна тишина. Барин приступает к новому подвигу. Барин будет составлять русско-французский словарь.

Тишина. Николай Петрович приступил к осуществлению последнего подвига своей жизни.

ГЛАВА XLV

СОН МАКАРОВА

Началась новая жизнь — жизнь почти фантастическая по напряженности, настойчивости, сосредоточенности и упорству.

Жизнь эта начиналась ежедневно в 6 часов утра и кончалась в 11 вечера. Из этих 17 часов только два с половиной полагались на отдых. Да и отдых был относительный: полчаса упражнений на гитаре (на всякий случай — чтобы не потерять с таким трудом завоеванных трелей) и два часа — чтение газеты “Journal de St.-Pétersbourg”. Николай Петрович читал ее с напряженным вниманием в отношении французской терминологии и фразеологии.

Праздников не было: и в Рождество, и в Новый год, и в Светлое Воскресенье, и в день собственных именин работа шла так же — от 6 часов утра до 11 вечера. Ночью работа эта, в сущности говоря, тоже не прекращалась: то приходило в голову какое-нибудь пропущенное слово или какой-нибудь пример, то являлись какие-то странные лексикографические сны, продолжавшие дневную работу. Эти сны были самые разнообразные, но один из них, самый жуткий, повторялся и доводил Николая Петровича до холодного пота.

Он сидит в огромном зале европейского международного суда за решеткой: председатель — сам Наполеон III; обвинители — Писарев, Кокорев и Леон Гозлан; защитники — дон Навале и дон Пасквале. Его судят за незнание французского и русского языков, за шарлатанство, за злые намеки и личные оскорбления, за протаскивание революционных идей, за рекламирование собственных произведений, за клевету, за обман и т.д., и т.д.

Огромный, уже отпечатанный словарь лежит на особых подмостках, как на пюпитре. Он так велик, что занимает целую половину зала.

Встает Кокорев, открывает словарь и, показывая пальцем, кричит: «Полюбуйтесь, ваше величество! Вот целая страница занята одними восклицательными и вопросительными знаками. А следующая вся покрыта таинственными многоточиями. И это называется “Русско-французский словарь”! К слову “если” многоуважаемый Николай Петрович, в виде примера, печатает свою идиотскую поэму в прозе, посвященную его невесте. Это такая глупость, которая превосходит даже персидскую поэзию! А как вам нравится слово “взбу-до-ра-жи-ва-тель-ность”? Тьфу! Такого слова в русском языке нет. А между тем многоуважаемый Николай Петрович уверяет, что это слово я употребил в письме к веку. Видали такую картину? А неужгодно ли заглянуть в слово “откуп”! Там, в виде примера, приведено стихотворение китайского поэта, которое будто бы относится ко мне и в котором я назван “исчадием ада”, “рябым сатаной” и “губителем Китая”. Видали картину?»

Суд завыл от негодования. Кокорев плюнул в словарь и, показывая пальцем на Николая Петровича, закричал: “Это сумасшедший дворянин, который губит Россию. Ему надо положить на живот фланель, на ноги надеть теплые чулки, а голову отрубить и опустить в водку”.

Наполеон III покрутил ниточки своих усов и сказал: “C'est juste!”

А дон Навале и дон Пасквале не сказали ни слова.

Тогда встал Писарев и спокойным, но звучащим на весь зал голосом заявил: “Этот субъект вставил в словарь не только свой роман “Победа над самодурами”, самое позорное и нелепое произведение современной русской литературы, но и другие свои романы и статьи. Таким способом он довёл словарь до невероятных размеров и сделал его неслыханным по дороговизне: 2500 рублей! Кто может платить такие деньги? Прошу, кроме того, обратить внимание на некоторые примеры. К слову “сковорода” приводится выражение “аккредитованный плясун на сковороде”. Это намек на меня. Вот номер “Русского инвалида”, в котором под таким заглавием напечатана статья г. Макарова. Гражданин Наполеон! Я требую для этого субъекта медицинской помощи и смертной казни. Приговор можно

привести в исполнение на Гагаринской, в доме графа Кушелева-Безбородко, от 1 до 3 час. пополудни”.

Наполеон III пригладил эспаньолку, опять покрутил свои ниточки и сказал: “Très bien!”

А дон Навале и дон Пасквале ничего не сказали.

Тогда встал Леон Гозлан и, низко поклонившись Наполеону, замахал руками, а потом начал речь: «Ваше императорское величество! Этот гражданин заявляет в своем безграмотном словаре, что мой роман “Aristide Froissard” — вредная и негодная книга. А вы, вероятно, изволите помнить, что эта книга был написана по предложению французского правительства. Этот же гражданин заявляет, что самое лучшее произведение французской литературы — его “Роёте d’amour”, оставшееся ненапечатанным. Этот же гражданин, ваше величество, приводит к слову “шампанское” пример: “Когда лопаются бутылки с шампанским — остается одно: заняться литературой”. Это намек на меня. Это клевета и оскорбление личности. Ваше императорское величество! Этот гражданин, явившись в наш парламент, кричал: “A-bas” Léon Cozlan! A-bas Louis Napoléon!” Я ему заткнул рот, а он в своем словаре повторил то же самое. Ваше императорское величество! Этому гражданину надо навсегда заткнуть рот, а лучшее для этого средство — наша гильотина!»

Наполеон III чихнул и, ударив кулаком по столу, закричал: “C’est juste! Très bien! Tuez, massacrez tout!!”

А дон Навале и дон Пасквале тоже чихнули и исчезли. Наступила тишина.

И вдруг в зал ворвалась целая толпа людей — и каких людей! В этой толпе Николай Петрович узнал и майора Зеленко, которого он задел когда-то можжевеловой палкой, и солигаличского доктора, которому разбил нос, и немку, которую отщелкал хлыстом, и пьяницу Бахтурина, и старика Сихру, и полковницу Елизавету Карловну с ее камеристкой Леночкой, и гражданку У-р-арк, и даже ящика, который вез его из Солигалича, и многих, многих других. Толпа эта орала, визжала, плевала на словарь, рвала его на куски, мяла и бросала на Николая Петровича. Позади всех вбежал Михаил Иванович Бибииков и закричал:

“Я покажу ему нужное место! Я покажу ему, как писать обличительные корреспонденции!” А за ним медленно двигались обе его жены — покойницы — два ангела во плоти. Они молчали, но смотрели на него такими глазами, что он зажмурился...

Вдруг распахнулась дверь — и в зал вступило огромное чудовище, вроде гориллы, с топором в руке. Толпа затихла и отхлынула к стенам. Чудовище остановилось посередине, прокричало страшным голосом: “Я — Гермоген Трехзвездочкин!” и, откинув в сторону решетку, за которой сидел Николай Петрович, размахнулось на него топором...

В этом месте сон прерывался, потому что Николай Петрович просыпался от собственного крика.

В комнату вползала испуганная старуха, зажигала свечу и крестила его, шепча какие-то молитвы.

Он бросался к словарю. Словарь цел и ничего подобного в нем нет! Это — кошмары, происходящие от усиленных занятий и от сидячей одинокой жизни. Надо кончить словарь и жениться.

Ну, старуха, туши свечу и убирайся к себе на кухню. Тут дело не в черте, а в... Да тебе этого не понять! Иди, иди на кухню! Барин будет работать над словарем.

Усиленные занятия и одинокая сидячая жизнь отразились наконец и на здоровье Николая Петровича. Сначала появились болезненные схватки в пояснице, потом — сильнейшие головные боли. Наконец произошел взрыв болезни. Он поспешил в Тулу: оказалось сильнейшее воспаление, поставили множество пьавок.

Оправившись, он вернулся в деревню и, сгорбленный, сморщенный, опять засел за свой геркулесовский труд, невзирая уже ни на какие боли и недуги. От мелкого шрифта некоторых словарей, которыми он пользовался, пострадало зрение. Очков уже было мало: он стал употреблять лорнетку. Потом и этого было недостаточно — пришлось вооружиться большим увеличительным стеклом.

Только бы кончить, а там — хоть в могилу. Приходи тогда неблагодарный Гермоген Трехзвездочкин и руби голову топором!

А можно, в конце концов, и не дожидаться Гермогена:

Взявши в руки пистолет
И нащупав печень,
Нажимай курок — билет
В вечность обеспечен.
А не то другой маршрут
Есть, еще короче...
Прямо в сердце — сразу мрут.
Выбирай как хочешь.

ГЛАВА XLVI

МАРШРУТ В БЕССМЕРТИЕ

Нет, нет! Его маршрут — не к смерти, а к бессмертию.

Геркулесовский труд кончен. Уложив его в чемодан, Николай Петрович двинулся в Петербург опять искать издателя.

Началось обычное хождение по мукам. Один взял на неделю и вернул через две “без последствий”; другой удивился, зачем новый словарь, когда есть Татищев, Шмит, Рейф; третий, надев очки с веревочкой, долго листовал рукопись, потом почмокал губами и, сняв очки, сказал сухим голосом: “не подойдет”.

Один словоохотливый бумажный туз, известный книгопродавец Лисенков, выслушав Николая Петровича, вскинул очки на лоб и заявил:

— Эка мысль вам в голову пришла! Да разве кто станет читать этакую книгу? Вот мы какие книжицы издаем — полюбуйте: *“Сокровище для пожилых людей”*, или наука прожить долго и без болезней. Сочинение знаменитого французского врача, которого сочинения печатаются многими изданиями. Книга миниатюрного карманного формата, который любит видеть французский народ. А вот другая: *“Советы молодым дамам и девицам”*, касательно сохранения красоты, сбережения здоровья, умения одеваться и образования себя. Необходимая книжка для дамского туалета. С присовокуплением стихотворения известного нашего поэта Бенедиктова, которым превосходно

изображено радужными красками положение женщины в свете, оно начинается так: “Жемчужина в венке творений!” А вот, ежели интересуетесь, третья: “*Искусство наживать деньги*”. Способом простым, приятным и доступным каждому. Сочинение знаменитого европейского банкира Ротшильда. Перевод с французского. В предисловии этой книжки сказано, что в течение одного месяца во Франции распродано сто тысяч экземпляров этого сочинения, и публика осталась довольна им.

Лисенков опустил очки на нос и взглянул на Николая Петровича.

— Вот, батюшка, предложите нам такую книжечку — сейчас издадим. У нас публика любит полезное чтение. А какая же польза от вашего словаря? Нешто для ученых — так это дело для Академии наук. Туда и обратитесь.

А не то — другой маршрут
Есть, еще короче...

В конце концов издатель нашелся: Н.А. Неклюдов, просвещенный человек, владелец типографии бывшей Тиблена. Геркулесовский труд пошел в печать, а Николай Петрович поселился на Васильевском острове, недалеко от типографии.

Страшные сны прекратились, а что касается действительности, то она стала складываться самым благоприятным для Николая Петровича образом. Судьба, видимо, устала его преследовать.

Не успел он перебраться в Петербург, как запретили “Русское слово”, а немного погодя закрыли и “Современник”. Сон-то, значит, был в руку — да только наоборот!

Это было в 1866 г., а в 1867 вышел “Полный русско-французский словарь”. Николай Петрович получил разрешение посвятить его цесаревне.

Сидит он на своей квартире, в раздумье, и перелистывает словарь: как-то пойдет он в продаже и что о нем скажут?

Вдруг входит пожилой господин симпатичной наружности, с Владимиром на шее:

— Я пришел познакомиться с автором превосходного русско-французского словаря.

— Это я. С кем имею честь говорить?

— Виктор Яковлевич Буняковский.

Разговор был очень приятный и любезный, с частым упоминанием об Академии наук. По уходе гостя Николай Петрович посмотрел в адрес-календаре. Буняковский, В.Я., вице-президент императорской Академии наук. Вот оно что!

А Буняковский сказал, что с ним хочет познакомиться Измаил Измаилович Срезневский. Посмотрел в адрес-календарь — тоже академик.

Итак, он признан императорской Академией наук. Здорово!

Дальше — больше. Явился курьер с известием, что ее высочество государыня цесаревна дарит Николаю Петровичу бриллиантовый перстень.

Ну, гражданин Писарев! Теперь дайте дорогу Николаю Петровичу Макарову, а медицинскую помощь оставьте для себя.

Не успел он мысленно произнести эти слова, как в газетах появилось известие: Дмитрий Иванович Писарев утонул.

Ну, г. Кокорев, а вы как поживаете?

И вдруг — известие: Кокорев потерпел крушение на торгах и потерял чуть не все свое состояние.

И затрещали миллионы,
И в ход пошли аукционы,
И нет картинных галерей,
И барских нет уже затей.
Исчезли гимнов запевалы,
И дали тягу подлипалы,
И вот в халдеи возвращен
Из меценатов хам Андрон.

Ну, а как ваши дела, французское императорское величество, председатель международного суда г. Наполеон III?

Неважно. Империя трещала по всем швам, а вместе с империей — и мундир императора, и его брюки. Не прошло двух лет — брюки лопнули, и его величество остался ни при чем.

Итак, Николай Петрович, дорога вам расчищена. Действуйте!

В газетах, кроме похвал русско-французскому словарю, появились заявления такого рода: пусть, мол, г. Макаров потрудится еще и составит полный французско-русский словарь.

Французско-русский? Пожалуйста! Только для этого надо вернуться в деревню, взять человека, повара, а старуху прогнать.

Сказано — сделано. Появился человек, вернулся повар, а вместо старухи стала убирать комнаты молодая девушка, Ефросинья Трофимова — красивая, сильная и веселая.

Жизнь пошла отличная. Николай Петрович играет на гитаре, а Ефросинья поет казацкие песни. Николай Петрович кладет гитару и играет с Ефросиньей, а она смеется. Николай Петрович обнимает Ефросинью, а она не сопротивляется.

А словарь? Словарь составляет сын, нарочно для этого выписанный из Петербурга. Пора же ему иметь помощника!

Одно плохо: во-первых в Туле начали поговаривать разное насчет Ефросиньи, а во-вторых сын вздумал, по-видимому, помогать отцу не только в словарной работе (по правде сказать, очень скучной), но и в другой, более веселой. А между тем для этой последней работы Николай Петрович совсем не нуждался в помощниках. Недуги его давно все прошли, а что он пользуется увеличительным стеклом при чтении мелкого шрифта, так это ровно ничего не значит. Одно дело зрение, а совсем другое, например, осязанье!

А отчего бы ему не жениться на Ефросинье? Покойницы были ангелы во плоти, а эта — сама плоть. Покойницы были дворянки, а эта — внучка вольного донского казака. Самое подходящее для человека его лет!

Сказано — сделано. Пусть туляки думают, что он уронил свое дворянское звание! Во-первых, все равно о нем толкуют, а во-вторых, — Тула для него уже давно не существует. Что ему Тула, когда он международный лексикограф? Пусть Ефросинья будет лексикографиня. Имя неподходящее? Николай Петрович решил назвать ее Ольгой.

Все устроилось прекрасно, кабы не сын. Не то от ревности, не то от напряженной работы над словарем молодой человек стал выказывать признаки нервного расстройства. Вдруг нальется весь кровью и начнет стучать кулаками по столу, а по ночам кричит. Кончилось тем, что он бросился на мачеху, уже беременную. Его схватили и отправили в тульский желтый дом, где он скоро и умер.

Тула шумела и обвиняла Николая Петровича чуть не в сыноубийстве. Но какое ему дело до Тулы?

Похоронив сына, он записал в дневнике: “Сдерживаю рыдания, но они вырываются. Лейтесь, лейтесь, слезы, выливайтесь и облегчайте мою измученную грудь! Может быть, несколько этих слез капнут в могилу сына и облегчат тяжесть толстого слоя земли, придавившего его прах”.

Сколько вокруг него накопилось могил.

Но он жив, и его маршрут — в бессмертие!

ГЛАВА XLVII

МАКАРОВ СМЕРТНЫЙ И МАКАРОВ БЕССМЕРТНЫЙ

Николай Петрович полагал, что все его удачи произошли от особого покровительства судьбы. Судьба признала наконец его право на славу и бессмертие.

А на самом деле причина была другая, совсем другая.

Судьбе стало не до Макарова и не до его бессмертия. Она просто махнула на него рукой — и вот почему.

До сих пор она была владычицей мира — так, по крайней мере, ей казалось. Легкомысленная, развратная, любящая капризы и случайности, она играла людьми и их жизнью. Главное свое внимание она отдавала высшему свету, но не гнушалась и такими курьезными субъектами, как Макаров.

И вдруг все изменилось.

У судьбы оказалась соперница — суровая, мощная, неумолимая и страшная своей логикой сила: история.

Она поднялась откуда-то снизу — как гул моря, как ропот толпы. Она вела за собой огромные массы людей —

тех самых, которыми судьба никогда не интересовалась. Эти люди не признавали никакой судьбы, никакой власти, никакого Бога. Они были вооружены разумом и ненавистью. У них были стальные мускулы и железные нервы. И их вела история. Она шла медленными, но твердыми шагами. От этих шагов гул шел по всей земле.

Судьба пробовала бороться и спасать свою власть. Но положение ее было так серьезно, что о Николае Петровиче нечего было и думать. Пусть живет как хочет! Бессмертие — так бессмертие.

Когда Николай Петрович кончил работу над французско-русским словарем, ему сообщили, что русско-французский идет в продаже очень плохо: за полгода продано всего 60 экземпляров.

О, скифо-татарская страна!

Он поехал в Петербург и при помощи своего бриллиантового перстня добрался до высших сфер. И дело сразу поправилось: по ходатайству цесаревны 500 экземпляров было приобретено для женских учебных заведений, а по предложению обер-прокурора Св. Синода 100 экземпляров было куплено для духовных учебных заведений. Мало того, все служащие IV отделения собственной его величества канцелярии моментально и добровольно подписались на 100 экземпляров, а за IV отделением потянулись и I, и II, и III.

Дальше — больше. В конце 1869 г. Николай Петрович приступил к печатанию французско-русского словаря, но не хватило денег на бумагу. Узнав об этом, Академия наук и Ученый комитет сделали представление министру народного просвещения, а министр народного просвещения — министру финансов, а министр финансов — самому императору. Глядь — субсидия в 4000 рублей! А когда словарь вышел с посвящением наследнику цесаревичу, Николай Петрович получил в подарок золотые часы с цепочкой.

Тогда он решил увенчать здание рациональной двуязычной лексикографии и издать краткие “международные словари” для учебных заведений: не только французские, но и немецкие. Правда, немецкий язык он знал плохо, но знание не всегда обязательно: оно иногда с успехом заменяется ловкостью, техникой.

И все вышло прекрасно. Ученый комитет поддержал, статс-секретарь Михаил Христофорович Рейтерн сделал представление министру народного просвещения, графу Дмитрию Андреевичу Толстому, министр народного просвещения — министру финансов, а министр финансов — самому императору. Глядь — новая субсидия в 4000 рублей! А потом еще субсидия в 6000 рублей и орден Станислава 2-й степени.

Вот что значит рационально поставленная двуязычная лексикография!

Ну, а уж раз в дело замешаны учебные заведения — и мужские и женские, и светские и духовные, то бессмертие обеспечено.

И верно! Николай Петрович собственными ушами слышал, как в книжных магазинах просили: “Дайте мне французско-русского Макарова”, или: “Дайте мне русско-французского Макарова”, или: “Дайте мне международного немецкого Макарова”.

Чего же больше? Это же и есть слава! Это же и есть бессмертие!

Да, но это какое-то ненастоящее бессмертие — не то, что у Тургенева или у графа Л.Н. Толстого, например. “Война и мир” Л.Н. Толстого — это звучит как-то совсем не так, как “Французско-русский Макаров”. Есть даже что-то обидное, что-то пренебрежительное в этом выражении — какое-то совершенное безразличие к автору: как будто этот “Макаров” — не человек, а простое название книги. Никому не интересно — что же это за Макаров такой: сколько ему лет, где он живет, как выглядит, женат или холост, любит ли выпить, играет ли в карты и т.д., и т.д.

Да, это не настоящая слава и не настоящее бессмертие!

Пока у него еще есть силы и нет врагов, он должен сказать человечеству несколько горьких и сильных истин, которые дадут ему настоящее бессмертие; он должен нагнать те годы молчания, которые, по милости Писарева, он провел в работе над словарями вместо того, чтобы писать романы, трактаты, статьи, сатиры.

Писать романы теперь не стоит — даже граф Л.Н. Толстой не пишет. А он напишет несколько трактатов и бичу-

ющих сатир, с эпиграфом из Ювенала: *Si natura negat, facit indignatio versum*.

В этих сатирах он отомстит истории — той слепой жестокой истории, которая, помимо врагов, преследовала его всю жизнь: испортила карьеру в Варшаве, помешала стать мировым гитаристом, унесла в могилу прелестную Софи Гемар.

В этих сатирах, с другой стороны, он выразит свои твердые дворянские убеждения и отблагодарит таким образом тех, кто помог ему издать словари: статс-секретаря Михаила Христофоровича Рейтерна, министра народного просвещения графа Дмитрия Андреевича Толстого, министра финансов, государыню цесаревну, государя цесаревича и, наконец, самого Державного мецената — императора Александра II.

5 июня 1874 года Николай Петрович написал первую бичующую сатиру: “Господину Тьеру, благородному спасителю Франции. *Кровавый призрак*”. Он сам перевел ее на французский язык и издал по методу рациональной двуязычной лексикографии: слева — французский текст, справа — русский.

Эта сатира была написана против Парижской Коммуны и Интернационала. В ней язык Ювенала был усилен языком чухломского дворянина. Николай Петрович, из глубины своего северного отечества, обращался здесь “ко всем вам, сколько вас ни есть там, на Западе или в других странах, и какая ни была бы там ваша кличка: демагоги, радикалы, анархисты, хартисты, памфлетисты, социалисты, коммунисты, интрансигенты, а более всего вы, коммунары и интернационалисты”. Затем следовал подбор ювеналовских и чухломских ругательств, которые прерывались на 69-й странице заключением: “Грозная и постоянная опасность угрожает и не перестанет угрожать всему образованному обществу европейского материка; благосостоянию, имуществам и самой жизни его честных, нравственных и религиозных обитателей; не перестанет угрожать всей цивилизации до тех пор, пока исчадия адского интернационализма не будут поставлены вне закона, так чтобы уже нигде не могли найти себе безопасного приюта. И потому всеобщее спасение требует, чтобы как можно чаще, и

громче, и дружнее раздавались слова: *Annibal ad portas! Delenda Carthago!*”

Вторую бичующую сатиру Николай Петрович написал 20 июня 1874 года тоже на двух языках — “Любителям истинной музыки, музыки прошедшего. *Пигмеи на ходулях*, или апофеоза музыкального безобразия”. Здесь тем же ювеналовски-чухломским языком был обруган и высмеян Вагнер и вагнеризм. Сатира начиналась так: “Музыкальному миру угрожает опасность — потонуть в неистовых и мутных волнах будущей музыки (вагнеризма тож), которая, отвергая мелодию, т. е. вдохновение и изящный вкус, заменяет их грохотом и треском словно с цепи сорвавшихся звуков, да выкладками музыкальной математики, холодными и безжизненными. Таким образом она силится обратить в развалины самое симпатическое из искусств для того, чтобы на этих святых развалинах учредить царство музыкального радикализма и необузданной анархии”.

Третью бичующую сатиру Николай Петрович написал 10 июля 1874 года: “*Пиф-паф!* или чрезвычайное заседание представителей желтых домов”. Это было нечто вроде страшного сна — на ту же тему о социалистах, коммунистах, интернационалистах и др. Тут досталось и французам и немцам: и Прудону, и Ледрю-Роллену, и Бебелю, и Газенклевелу, и Гассельману. Тут были даже стишки, вложенные в уста оратора:

Спустим ветры бурные,
Небеса лазурные
Мы застелем тучами.
Дланиями могучими
Потрясем все здание
Мира в основании.
Рухнет свод вселенная;
И, одни нетленные,
Мы рукой могучею,
Думою кипучею
Создадим вселенную,
Новую, нетленную!

Все эти три бичующие сатиры вышли одновременно в пользу общества подания помощи при кораблекрушениях. А к ним он присоединил одну книжечку, написанную еще в 1869 году и оставшуюся на письменном столе: *“Ум и остроумие. Тактика войны на словах”*. Это был хороший комментарий к трем бичующим сатирам.

Ну, теперь ему обеспечено настоящее бессмертие!

Но увы! Хотя сатиры были бичующие, хотя изданы они были в пользу общества подания помощи при кораблекрушениях, хотя стоили они всего 30 копеек каждая, — но никто их не покупал. Они лежали неподвижно в магазине Цвылева на Малой Садовой и не оказывали помощи ни человечеству, ни обществу подания помощи при кораблекрушениях.

“Кровавый призрак” ходил по Европе и показывался даже в северном отечестве, “пигмеи на ходулях” продолжали восхвалять музыку будущего, в разных концах мира и северного отечества раздавалось “пиф-паф!”, всему миру грозила опасность кораблекрушения — и никто не обращал никакого внимания на “ум и остроумие” бессмертного французско-русского и русско-французского Макарова!

Однако бичующие сатиры явились все-таки недаром: Николай Петрович получил августейшую благодарность от государыни цесаревны.

Мало того. Прошло некоторое время — и Николай Петрович получил приглашение пожаловать в III отделение собственной его императорского величества канцелярии — того самого III отделения, которое вместе с IV добровольно подписалось на его русско-французский словарь.

Он пожаловал — и не напрасно.

Чухломской дворянин и международный лексикограф нашел себе достойное место.

Трепещите все вы — сколько вас ни есть там, на Западе или в других странах!

Annibal ad portas!

Delenda Carthago!

ЭПИЛОГ

В книжных магазинах по-прежнему просили: “Дайте русско-французского Макарова” или “Дайте французско-русского Макарова”, нисколько не интересуясь, кто такой этот международный Макаров, жив ли он, женат или холост, блондин или брюнет и пр.

А Николай Петрович все еще был жив, носил орден Станислава 2-й степени и, гуляя, заходил в III отделение, чтобы бороться с врагами — радикалами, анархистами, социалистами, коммунистами и интернационалистами. Их становилось все больше. Всюду ходили слухи о заговорах и покушениях. Держи ухо остро — прислушивайся да приглядывайся!

Но еще не все было сделано для славы и для бессмертия. Николай Петрович осуществил наконец давнишний свой замысел: собрал афоризмы всяких бессмертных авторов, вставил несколько своих (обозначив их тремя звездочками) и издал все это под заглавием “Энциклопедия ума”, в переплете с золотым тиснением. Только каналья переплетчик вместо слова “энциклопедия” напечатал “энциклопетия”. Ну и влетело же ему!

Влетело, однако, и Николаю Петровичу. В “Отечественных записках” некий наглый рецензент (Николай Петрович не знал, что рецензентом этим был сам... Михаил Евграфович Салтыков) заявил, что книга эта “человеку вполне невежественному несомненно поможет приобрести репутацию мудреца в глазах другого столь же невежественного человека”.

Николай Петрович сообщил об этой рецензии в III отделение, а сам, пересмотрев свои старые книги (“Задушевная исповедь”, “Банк тщеславия”, “Победа над самодурами”), быстро состряпал из них новую: “*Мои семидесятилетние воспоминания* и с тем вместе моя полная предсмертная исповедь”. Здесь были подведены итоги жизни, подробно описаны все подвиги и достижения (о III отделении, конечно, ни слова) и заявлено о своем праве на славу и на бессмертие.

И было в этой книге несколько “ювеналовских” страниц, обращенных к врагам — “сколько вас ни есть там, на Западе и в других странах”.

И были в этой книге горькие и гневные жалобы на то, что его не поняли, не оценили, забыли, похерили.

И была в этой книге речь над собственной могилой — речь бессмертного Макарова над Макаровым смертным:

“Чу! стукнул о камень заступ, роющий для меня могилу... Скоро застучит и молот, заколачивающий гвоздями крышку моего последнего, досчатого, тесного и темного жилища. И опустят в свежую могилу, и засыпят сырой землей это досчатое, тесное жилище, мое верное, надежное убежище... Acta est fabula!”

Надо полагать, что Николай Петрович на этот раз не ошибся: все произошло, вероятно, именно так и именно в такой последовательности.

Но недаром он так хлопотал о бессмертии.

В одном из киосков “старой книги” я купил экземпляр “семидесятилетних воспоминаний”; на оборотной стороне переплета оказалось стихотворение, написанное кем-то из современных читателей. В нем изображается визит Николая Петровича к Богу. По всему видно, что действие происходит хотя и на небе, но в наши дни.

Макаров отъявился к Богу
И говорит: “О всеблагодь!
Дашь в бессмертье дорожку!
Я — лексикограф и герой”.
А Бог сказал: “Какого черта?
Тебя откуда принесло?
Дела мои такого сорта,
Что я бросаю ремесло.
Народ ваш стал совсем бесстыжий,
Где уваженье к небесам?
Я эмигрантом стану — ты же
ищи маршрут в бессмертье сам”.
И Боженька, раскинув длани,
В изящном фраке вместо риз,
На маленьком аэроплане
Покинул бывший парадиз.
Макаров завопил: “Куда же?
Зачем меня с собой не взял?”
И прынул в даль, в какую даже
Макар телят не загонял.

Итак, Николай Петрович дожил до современности.
Дух его витает в небесном пространстве...
Ну и пусть себе витает!

СОДЕРЖАНИЕ

Писатель Борис Эйхенбаум	5
--------------------------------	---

МОЙ ВРЕМЕННОК

Словесность

По мостам и проспектам

(Из автобиографии)

«Гакраб» <i>(отрывки из родословной)</i>	13
Побег	20
Волшебная анатомия	25
Романтические неудачи	29
Путешествие по Европе	34
Стихи и стихия	41

Наука

Литературоведение

Литературный быт	49
Литература и писатель	59
Литературная домашность	83

Критика

Дело литературы

Гоголь и «дело литературы»	88
Артистизм Тургенева	92
Журнализм Некрасова	99
Лесков и литературное народничество	103
Литературная карьера Л.Толстого	107
Писательский облик М. Горького	112

Смесь

Вместо «резкой критики»	119
Декорация эпохи	122
С. Цвейг о Толстом	125
О Викторе Шкловском	128
Заметки и размышления	131

МАРШРУТ В БЕССМЕРТИЕ

<i>Необходимое объяснение</i>	137
Замогильное предисловие Н.П. Макарова	140

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Чухлома и Варшава

Глава I	Н.П. Макаров в детстве	142
Глава II	Чухломской декамерон	148
	Привилегированный шут	151
	Котлета из рукавицы	153
	Жестокий мистификатор	154
	Разочарованная сряпчиха и наказанный стряпчий	155
	Coup de théâtre	157
Глава III	Прощай, Чухлома!	158
Глава IV	Варшавский пейзаж и жанр	163
Глава V	Музыка и лингвистика	170
Глава VI	Система Франклина	178
Глава VII	Варшавские люди и анекдоты	181
	Рассеянный	182
	Варшавский Лукин	182
	Гений остроумия	183
	Лирик-сибарит	186
	Находчивый сенатор	187
	Пукаловский цикл	188
Глава VIII	Прощай, Варшава!	191
Глава IX	Плен	197
Глава X	Освобождение	202

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Действительность и мечта

Глава XI	Локомотив сердца	207
Глава XII	Николай Петрович на конце света	212
Глава XIII	Опыт дружбы	217
Глава XIV	Николай Петрович в дороге	221
Глава XV	Шпага и стихи	223
Глава XVI	Светская повесть	229
Глава XVII	Нижегородская действительность	233

Глава XVIII	Два природных инстинкта	237
Глава XIX	Музыкальные победы	241
Глава XX	Теория и практика	246
Глава XXI	Пьяное царство	250
Глава XXII	Дворянин и купец	255
Глава XXIII	Крымское бордо	260
Глава XXIV	Переписка	262
Глава XXV	“Коли ты так, так вот тебе!”	267
Глава XXVI	Конец действительности	271

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Гитара и любовь

Глава XXVII	Здравствуй, Европа!	276
Глава XXVIII	Н.П. Макаров и Луи Бонапарт	280
Глава XXIX	Европа с гитарной точки зрения	286
Глава XXX	Дым отечества	289
Глава XXXI	Сказано — сделано	294
Глава XXXII	Брюссельское головокружение	298
Глава XXXIII	Международный конкурс	303
Глава XXXIV	Любовная интермедия	308
Глава XXXV	“Когда лопаются бутылки с шампанским...”	319

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Тула и литература

Глава XXXVI	Поэма ненависти	324
Глава XXXVII	Как надо писать	328
Глава XXXVIII	Долой поэзию	333
Глава XXXIX	Победа над самодурами	336
Глава XL	Страдальческий крест	338
Глава XLI	Пляски на сковороде	341
Глава XLII	“Как у графа Л.Н. Толстого, например” ...	345
Глава XLIII	Победа над Тулой	349
Глава XLIV	Последний подвиг	353
Глава XLV	Сон Макарова	357
Глава XLVI	Маршрут в бессмертие	361
Глава XLVII	Макаров смертный и Макаров бессмертный	365
Эпилог		371

Борис Михайлович Эйхенбаум

Мой временник Маршрут в бессмертие

Серия «Символы времени»

В оформлении обложки и титульного листа использованы:
“Композиция. Красное с черным” художника В.В.Кандинского (1920),
“Проун 6” художника Л.М.Лисицкого (1919-1921)

*Редакция выражает благодарность ВАШирокову
за предоставление оригинала книги.*

Редактор *О.Булаева*
Компьютерная верстка,
техническое редактирование *К.Рязанов*

Книга подготовлена при участии *Э.Гаревой*

ЛР № 064478 от 26.02.96 г.

Подписано в печать 20.10.2000. Формат 84х108/32
Гарнитура «Гарамонд». Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 20,16. Тираж 2000. Заказ № 3344.

Издательство «Аграф»
129344, Москва, Енисейская ул., 2
тел.: (095) 189-17-22, 189-17-35
E-mail: agraf.ltd@g23/relcom.ru
<http://www.infoline.ru/g23/5711>

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленных диапозитивов в ГИПП «Вятка»
610033, г. Киров, Московская ул., 122

Книги

издательства //АГРАФ

Энциклопедии, словари, справочники:

Душенко К.В. **Словарь современных цитат**

Руднев В.П. **Словарь культуры XX века**

Соловьев О.Ф. **Масонство. Словарь-справочник**

Энциклопедия литературных героев

Художественная литература:

Гроссман В.С. **Собрание сочинений. В 4-х томах**

Каверин В.А. **Пурпурный палимпсест. Эпилог.**

В 2-х томах

Конецкий В.В. **Разные люди. Вырезатель мифов. В 2-х томах**

Липкин С.И. **Квадрига (проза, мемуары)**

Нагибин Ю.М. **Собрание сочинений. В 3-х томах**

Ефимов Б.Е. **Мой век**

Сарнов Б.М. **Перестаньте удивляться!**

Кафка Ф. **Дневники**

Кузмин М. **Проза 1906–1912 гг.**

Кузмин М. **Проза 1912–1915 гг.**

Кузмин М. **Критические статьи и эссе**

Маковский С. **Портреты современников**

Бродская Г. **Алексеев-Станиславский, Чехов и другие. Вишневоградская эпопея. В 2-х томах**

Коклюшкин В. **Блеск**

Пи Оливье. **Лицо Орфея**
Кортасар Х. **Игра в классики**
Кортасар Х. **Счастливики (Выигрыши)**
Гаспаров Б.М. **Поэтика “Слово о полку
Игореве”**
Александрова Т.С. **Из Гёте: Крылатые слова**
Жан Кокто В трех томах с рисунками автора.
Т.1. Проза. Поэзия. Сценарии
Смирнов И.П. **Мегаистория. К исторической
типологии культуры**
Дон Жуан русский: Сборник

Книги по психологии, педагогике и медицине:

Вачков И.В. **Психология для малышей,
или Сказка о самой «душевной»
науке**

Вайзман Н.П. **Психомоторика умственно
отсталых детей**

Вайзман Н.П. **Реабилитационная педагогика**

Гобова Е.С. **Понимать детей – дело
интересное**

Гобова Е.С. **Чтение, словесность,
письменность**

Иванов В.И. **Акупунктура и медикаментозная
терапия**

Иванов В.И. **Управление самочувствием**

Алексеев Н.Н. **Русский народ и
государство**

Вернадский Г.В. **Древняя Русь**

Вернадский Г.В. **Киевская Русь**

Вернадский Г.В. **Монголы и Русь**

Вернадский Г.В. **Россия в средние века**

Вернадский Г.В. **Московское царство. В 2-х кн.**

Вернадский Г.В. **Русская История. Учебник**

Вернадский Г.В. **Русская историография**

Вернадский Г.В. **Ленин – красный диктатор**

Савицкий П.Н. **Континент Евразия**

Шмурло Е.Ф. **История России**

Платонов С.Ф. **Борис Годунов**

Трубецкой Н.С. **Наследие Чингисхана**

Забелин И.Е. **Минин и Пожарский**

Прямые и кривые в Смутное время

Леонтьев К.Н. **Поздняя осень России**

Никитин А.Л. **Мистики, розенкрейцеры и**

тамплиеры в советской России

ПУТЬ К ОЧЕВИДНОСТИ

Гиренок Ф.И. **Пато-логия русского ума**

Мамардашвили М.К. **Лекции по античной
философии**

Мамардашвили М.К. **Кантианские вариации**

Флоровский Г.В. **Из прошлого русской**

мысли

Степун Ф.А. **Встречи**

Моисеев Н.Н. **Расставание с простотой**



- Ахмадулина Б.А. **Миг бытия**
- Бодлер Ш. **Искусственный рай;**
Готье Т. **Клуб любителей гашиша**
- Парамонов Б. **Конец стиля**
- Раушенбах Б.В. **Пристрастие**
- Уайльд Оскар. **Письма**
- Черубина де Габриак. **Исповедь**
- Сарнов Б. **Если бы Пушкин жил в наше
время**
- Зиновьева-Аннибал Л. **Тридцать три урожая**
- Покровский Б. **Моя жизнь – опера**
- Достоевский А.М. **Воспоминания**
- Волошин М. **История моей души:**
Дневники
- Крохин Ю.Ю. **Души высокая свобода:**
Вадим Делоне
- Чегодаева М.А. **Два лика времени. 1939:**
Один год сталинской эпохи.
- Залкинд А.Б. **Педология: Утопия и
реальность**
- Дети эмиграции. Воспоминания**
- Баранов В.И. **Горький без грима. Тайна
смерти**

ЛИТЕРАТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ

Немеровская О., Вольпе Ц. **Судьба Блока**

Островский А. **Молодой Толстой**

Островский А. **Тургенев в записях
современников**

Щеголев П. **Лермонтов**

Гиппиус В. **Гоголь**

Модзалевский Б. **Пушкин**

Антон Крайний (З.Гиппиус). **Литературный
дневник (1899–1907)**

Александров Н. **Силуэты пушкинской
эпохи**

Митфорд Н. **Влюбленный Вольтер:**
Биографический роман

Гнедич П. **Книга жизни.** Воспоминания
(1855–1918)

Розанов В. **Литературные изгнанники**

Громова Н. **Достоевский**

Утевский Л. **Жизнь Гончарова**

Гроссман Л. **Цех пера**

Гриц Т. и др. **Словесность и коммерция**
(Книжная лавка А.Ф.Смирдина)

В О Л Ш Е Б Н А Я
Ф Л Е И Т А



Нуреев Р. **Автобиография**
Хонолка К. **Великие примадонны**
Золотницкий Д. **Мейерхольд. Роман с советской властью**
Красовская В. **Павлова. Нижинский. Ваганова**
Парин А. **Хождение в невидимый град**
Стендаль. **Жизнь Россини**
Кракауэр Э. **Оффенбах и Париж его времени**
Ла Мюр П. **Лунный свет: Роман о Дебюсси**
Шоу Б. **О музыке**
Моцарт В.-А. **Письма**

Speculum mundi (Зеркало мира)

Бахман И. **Мáлина**
Дадзай О. **Исповедь «неполноценного» человека**
Ландольфи Т. **Жена Гоголя и другие истории**
Малапарте К. **Техника государственного переворота**
Хиггинс К. **Гарольд и Мод**
Энрайт Э. **Парик моего отца**
Акройд П. **Чаттертон**
Макьюэн И. **Дитя во времени**
Рубо Ж. **Прекрасная Гортензия. Похищение Гортензии**
Лиспектор К. **Час звезды;**
Мигейс Ж.-Р. **Николай! Николай!**
Рассказы

Руднев В. **Прочь от реальности**
Фрер Ж.-К. **Сообщества Зла, или Дьявол**
вчера и сегодня

Руднев В. **Винни Пух и философия**
обыденного языка

Носов Н. **Виртуальная психология**
Волков П. **Разнообразие человеческих**
миров

Данн Д.У. **Эксперимент со временем**

Спивак М. **Посмертная диагностика**
гениальности: Эдуард Багрицкий. Андрей
Белый. Владимир Маяковский

Книги издательства «АГРАФ» оптом и в розницу
можно приобрести в издательстве, а также
заказать наложенным платежом по адресу:

129344, Москва, Енисейская ул., 2

E-mail: agraf.ltd@g23.relcom.ru
<http://www.infoline.ru/g23/5711>

т./ф. 189-17-35

т. 189-17-22